Когда Нина знала

РОМАН



ОТ ЛАУРЕАТА
МЕЖДУНАРОДНОГО БУКЕРА

ДАВИД ГРОССМАН

Когда Нина знала
Давид Гроссман

Аннотация
Давид Гроссман. Когда Нина знала

Аннотация

Новый роман от лауреата Международной Букеровской премии Давида Гроссмана.

История женщин, чьи судьбы могли сложиться иначе.

Вера. Нина. Гили. Три поколения женщин, которые связаны общей болью.

Они собираются вместе впервые за долгие годы, чтобы отпраздновать девяностолетие Веры. Ее внучка Гили решает снять фильм о бабушке, и семья отправляется в Хорватию, на бывший тюремный остров Голи-Оток.

Именно там впервые Вера рассказывает всю историю своей жизни.

Много лет назад она сделала трудный выбор, за которым последовало заключение в тюрьму. Вера знала, на что идет, как знала и то, что ее шестилетняя дочь Нина останется одна.

Почему она так поступила?

Есть ли этому оправдание?

И, наконец, как этот выбор изменил жизнь всей семьи?

«Гроссман не только мировая суперзвезда,

но и один из по-настоящему выдающихся писателей современности». – Галина Юзефович

«Эта книга основана на истории одной хорватской женщины. Она мне ее рассказала, и эта история так меня поразила, что я три года писал книгу». – Давид Гроссман в интервью для Lenta.ru

«Гроссман – великий механик души». – Haaretz

«Давид Гроссман провел потрясающее исследование, как одна трагедия влияет на последующие поколения». – Kristine Huntley, Booklist

Давид Гроссман
Когда Нина знала

David Grossman
WHEN NINA KNEW (LIFE PLAYS WITH ME)
Copyright © David Grossman, 2019
This edition published by arrangement with The Deborah Harris Agency and Synopsis Literary Agency

© Сегаль Г., перевод на русский язык, 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *

Рафаэлю было пятнадцать, когда мать умерла, избавив его от собственных страданий. Шел дождь, поливая кибуцников[1], сгрудившихся под зонтиками на маленьком кладбище. Тувия, отец Рафаэля, убивался и плакал. Он много лет преданно ухаживал за женой и теперь стоял, потерянный и осиротевший. Рафаэль, одетый в шорты, держался особняком, глаза и голову прятал под капюшон, чтобы не заглядывали в его сухие глаза. «Теперь, когда она умерла, — думал он, — пусть видит все, что я про нее думаю».

Это случилось зимой 1962 года. Через год его отец повстречал Веру Новак, приехавшую в Израиль из Югославии, и они стали парой. Вера приехала в Израиль с единственной дочкой Ниной, семнадцатилетней девчонкой, высокой и белокурой, удлиненное лицо которой, очень бледное и красивое, было лишено всякого выражения.

Мальчишки из класса Рафаэля прозвали Нину Сфинксом; им нравилось подкрадываться к ней сзади и дразнить именно в те моменты, когда она сидела, обхватив себя руками и уставившись в

[1] Примечания: 1

Кибуц — сельскохозяйственная коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью имущества и равенством в труде и потреблении. *Кибуцники* — члены этой коммуны.

одну точку. Пока однажды девочка один раз не схватила двух задир, которые ее изображали, и не расквасила им физиономии. Таких тумаков в кибуце еще не видывали. Трудно поверить, сколько силы и ярости вдруг выявилось в ее тонких руках и ногах. Поползли слухи. Говорили, что, когда ее мать сослали в ГУЛАГ, Нина еще девчушкой оказалась на улице. Произнося слова «на улице», люди сопровождали их многозначительными взглядами. Говорили, что в Белграде она связалась с бандитской шайкой, похищала детей, чтобы получать за них выкуп. Говорили… Люди охочи до разговоров. Ни рассказы про это избиение, ни другие сплетни и слухи не пробивались сквозь туман, в котором Рафаэль жил после маминой смерти. Долгие месяцы он пребывал в каком-то внутреннем забытьи. Два раза в день, утром и вечером, глотал по таблетке сильного снотворного, которое брал из маминой аптечки. И Нину, когда случайно сталкивался с ней в кибуце, даже не замечал.

Но как-то вечером, примерно через полгода после маминой смерти, он, срезая путь, шел к спортзалу через плантацию авокадо, и навстречу ему шла Нина. Шла с опущенной головой, обхватив себя руками, будто на улице сильная стужа.

И Рафаэль вдруг обмер, внутри все взмыло, как струна, почему — он и сам не знал. Нина была погружена в себя, его не замечала. Он увидел ее шаг. Первое — это шаг. Легкий, сдержанный. Высокий и ясный лоб. И платье, голубое, простое и легкое, развевающееся где-то чуть выше колен.

С каким выражением на лице он это рассказывал…

Только когда она подошла совсем близко, Рафаэль увидел, что девочка плачет тихими, придушенными слезами. И тут и она его заметила и остановилась. И вся съежилась. На пару секунд их взгляды пересеклись, и можно сказать, что, увы, до дня последнего. «Небо, земля, деревья, — сказал мне Рафаэль. — Не знаю… Я почувствовал, будто вся природа вдруг изменилась».

Нина первая пришла в себя. Она сердито фыркнула и быстро удалилась. Он еще успел окинуть взглядом ее лицо, которое тут же утратило всякое выражение, и что-то в нем всколыхнулось. Рафаэль протянул руку ей вслед — ну прямо вижу его там, как он стоит, вытянув руку.

И так вот и застыл с протянутой рукой на сорок пять лет.

Но тогда, на той плантации авокадо, еще не подумав и не заколебавшись, и не запутавшись в

собственных комплексах, он вскочил и кинулся вслед за ней, чтобы сказать ей, что все понял, как только ее увидел. «Все пробудилось к жизни», — сказал он мне. Я попросила объяснить. Он как-то смешался, забормотал, как все в нем угасло за годы материнской болезни и еще сильней после ее смерти. А тут все внезапно стало неотложным и судьбоносным и возникла уверенность, что и она ответит тем же.

Нина услышала, что его шаги преследуют ее, остановилась, развернулась и оглядела его медленным взглядом. «Чего надо?» — внезапно пролаяла она ему в лицо. Рафаэль отпрянул, оторопев от ее красоты и, наверно, от ее грубости — в основном, боюсь, от смеси красоты с грубостью. В нем и по сей день это есть: слабость к женщинам, у которых имеется капелька, щепотка мужицкой наглости, даже хамства, этакая перчинка. Рафаэль, Рафи…

Нина встала, уперев руки в бока, из нее «выпрыгнула» жесткая уличная девчонка, дикий зверек. Раздув ноздри, она его обнюхала, и Рафаэль увидел жилку, пульсирующую на ее шее, и вдруг ощутил боль в губах — так он мне рассказал — прямо жжение и жажду.

«Ясно, поняли, — подумала я, — ты не обязан

излагать все подробности».

На щеках у Нины еще блестели слезы, но глаза холодные, почти змеиные. «Катись отсюда, козел!» — сказала она, и он потряс головой, мол, ни за что, и Нина медленно приблизила к его голове свой лоб, приблизила и отодвинула, будто в поисках верной точки, а он зажмурился, она ударила со всей дури, и Рафаэль отлетел назад и свалился в дупло дерева авокадо.

«Сорт Эттингер», — поспешил он уточнить, чтобы я, не приведи господь, не забыла, как важен каждый штрих этой сцены, ибо именно так и строятся мифы.

Ошарашенный, он влетел в дупло, потрогал вздувающуюся на лбу шишку, встал на ноги, и все вокруг закружилось. С тех пор как умерла мама, Рафаэль ни к кому не прикасался и никто не прикасался к нему, кроме тех, с кем случалось драться. Но тут было что-то другое, так он это ощущал, она пришла, чтобы наконец-то вскрыть ему мозг, вызволить его из страданий. И, ослепнув от боли, он выкрикнул ей то, что ему открылось только что, в тот миг, как ее увидел, и он сам был потрясен, когда изо рта полилась грязь, срамота. «Язык отморозков, — сказал он мне, — хочу тебя трахнуть, типа этого. Но в какие-то полсекунды

я по ее лицу увидел, что, несмотря на всю эту мерзость, она меня поняла».

Может, все так и было, откуда мне знать, почему бы не подобреть к ней и не подумать, что девчушка, родившаяся в Югославии и несколько лет (как это выяснилось позже) мотавшаяся брошенным ребенком, без папы и без мамы, что эта девчушка, несмотря на подобное вступление, а может, именно из-за него, и правда на секунду прониклась состраданием к этому мальчишке из израильского кибуца, мальчишке замкнутому — таким я себе представляю его в шестнадцать лет — одинокому, с башкой, полной тайн, и фантазий и стремлений к подвигам, о которых никто на свете не знает. Мальчишке печальному и мрачному, но красивому, хоть плачь.

Рафаэль, мой отец.

Есть известный фильм, не вспомню сейчас, как он называется (не стоит тратить время на «Гугл»), в котором герой возвращается в прошлое, чтобы что-то в нем исправить или предотвратить какую-то мировую войну или что-то еще. Вот и я, все бы я отдала за возвращение в прошлое, но только для того, чтобы не дать встретиться этой парочке!

Все дни, а главным образом ночи, что после-

довали дальше, он будет грызть себя за то, что проморгал этот дивный миг. Он перестал глотать мамино снотворное, чтобы не затмевало яркость любви. В кибуце он искал ее повсюду и не находил. В те дни Рафаэль почти ни с кем не общался и потому не знал, что Нина ушла из квартала холостяков, в котором проживала вместе с матерью, и раздобыла себе комнатушку в старом заброшенном строении времен отцов-основателей кибуца. Строение это было чем-то вроде поезда с крошечными отсеками, и стояло оно за фруктовыми плантациями, в том месте, которое кибуцники с присущим им великодушием называли «Лепрозорием». Там жила небольшая группа мужчин и женщин, в большинстве своем волонтеры из-за границы, которые, не найдя себе применения, так здесь и застряли, и никто не знал, что с ними делать.

Тем временем страсть, родившаяся у него в тот час, когда Нина встретилась ему на плантации авокадо, ничуть не растеряла своего огня, напротив, с каждым днем она все сильнее распаляла его душу. «Если Нина согласится хоть раз со мной переспать, ее мимика точно к ней вернется», — абсолютно серьезно думал он.

Про эту свою идею он рассказал мне во время

разговора, который мы засняли тысячу лет назад, когда ему было тридцать семь. Это был мой дебютный фильм, и утром, через двадцать четыре года после того, как он был заснят, мы с Рафаэлем в приступе внезапной ностальгии решили его посмотреть. В этом месте фильма мы видим, как он кашляет, чуть не задыхается, скребет свою растрепанную бороду, снимает, надевает и снова снимает кожаный ремешок часов и — что главное — не поднимает глаз на свою молодую интервьюершу, то есть на меня.

«Знаешь, а у тебя в шестнадцать лет было полно самоуверенности!» — слышу я, как говорю в картине льстивым голосом. «Это у меня-то? — удивляется Рафаэль в картине. — Самоуверенности? Да я был как листок на ветру». — «А я вот как раз считаю, — отвечает интервьюерша дико фальшивым голосом, — что это самое оригинальное признание в любви, какое я только слышала».

Когда я брала у него это интервью, мне было пятнадцать лет, и сказать по совести, я до того момента не слышала ни единого признания в любви, ни своеобразного, ни банального, из уст кого-то, кто не я-сама-перед-зеркалом в черной беретке и загадочной косынке, скрывающей мне пол-лица.

Видеокассета, маленький штатив, микрофон, прикрытый серой губкой, которая уже и заворсилась. На этой неделе, в октябре 2008 года, их нашла моя бабушка Вера в картонной коробке на своих антресолях вместе со старенькой камерой «Сони», через глазок которой я в те годы познавала мир.

Конечно, назвать эту штуку фильмом — малость преувеличение. Речь идет о нескольких эпизодах, воспоминаниях о юности моего отца, разбросанных и не до конца обработанных. Звук жуткий и изображение нечеткое и зернистое. Но в основном можно понять, что там происходит. На коробке Вера черной тушью написала: «ГИЛИ — ВСЯКОЕ/РАЗНОЕ». У меня нет слов описать, что этот фильм со мной делает, как мое сердце выпрыгивает при виде той девчушки, какой была я, девчушки, которая выглядит здесь, в фильме (не преувеличиваю), человеческим вариантом птицы додо, той, которой, как мы помним, только вымирание не дало умереть от смущения. То есть существом, которое в глубине души еще не решило, что оно такое и чем хочет стать, и перед которым все еще открыто.

Сегодня, через двадцать четыре года после того, как снята эта беседа, я сижу в кибуце возле своего

отца в Верином доме, гляжу на них двоих и поражаюсь, до чего же я в этом фильме вся напоказ, даже при том, что я только интервьюерша и меня почти не замечают.

Несколько долгих минут мне никак не сосредоточиться на том, что мой отец рассказывает про себя и про Нину — как они познакомились и как он ее любил. Я сижу рядом с ним, вся сгорбившись, скукожившись от мощи внутренних переживаний, которые без всякой фильтрации как вопль рвутся наружу из той девчонки, какой я была. Вижу ужас в ее глазах, потому что все еще так неопределенно, слишком неопределенно; неопределенны даже такие вопросы, как хватит или не хватит ей жизненных сил или насколько в ней возобладает женщина, а насколько — мужчина. А ей уже пятнадцать, и она еще не знает, какое решение в подвалах эволюции будет принято по ее вопросу.

«И вот, — думаю я, — если бы сегодня я смогла на секунду, всего на секунду впорхнуть в ее мир, показать ей себя сегодняшнюю, скажем, себя на работе или себя с Меиром, даже себя ту, что сейчас, в нашей ситуации, я бы ей сказала: да ты не трусь, подруга, в конце концов с некоторым напрягом, с некоторыми компромиссами,

с капелькой юмора, с определенной степенью уступок для пользы дела — со всем этим и для тебя тоже найдется место, место, которое только для тебя; и будет у тебя любовь, будет некто, кто станет искать именно такую вот крупную женщину с ароматом птицы додо».

Я хочу вернуться в начало, в инкубатор семьи. Успею, что успею, пока не взлетим на остров. Отец Рафаэля, Тувия Брук, был агрономом, который курировал все сельскохозяйственные угодья от Хайфы до Назарета, а также занимал ответственные посты в кибуце. Был он мужчиной красивым и серьезным, который много делал и мало говорил. Он любил Дуси, свою жену, и в годы ее болезни ухаживал за ней как мог. После ее смерти в кибуце с ним заговорили о Вере, Нининой маме. Тувия колебался. Мешала какая-то ее нездешность. Всегда, в любой ситуации она красила губы и напяливала сережки. Акцент ее был тяжелым, иврит странным, да и сегодня оно все то же, никто другой не говорит как она, и даже голос ее звучал для уха как-то галутно[2]. Как-то раз, когда они выходили из столовой, один старинный друг из группы югославов положил ей

[2] Примечания: 2
Галут — еврейская диаспора.

на плечо руку и сказал: «Она стоящая женщина, Тувия. Знай, что по ней такое прокатилось, трудно поверить, и не все еще можно рассказать».

Тувия пригласил ее к себе домой, для знакомства. Чтобы сбавить неловкость этой встречи, Вера привела с собой подругу, свою землячку из Хорватии, страстную любительницу фотографии. Обе сидели молча, скрестив ноги. В неудобных креслах, изготовленных из металлических стержней, оплетенных тонкими нейлоновыми шнурами, которые впиваются в попу.

Им потребовалась самодисциплина монахов, идущих впереди колонны, чтобы не расхохотаться, когда Тувия попытался притащить из кухни угощение, заранее приготовленное его сыновьями. Потом в течение тридцати двух хороших, даже счастливых лет совместной жизни Вере нравилось передразнивать эти его первые минуты — как он идет в кухню за миской арахисовых орешков или соленых палочек и продолжает свой рассказ про личинки червей, про моль и про огонь в кострах, и возвращается к ним с пустыми руками, и, виновато улыбаясь с красивой ямочкой на левой щеке, топает обратно в кухню и приносит оттуда баночку с полевыми цветами.

Пока отец Рафаэля совершал этот свой слож-

ный брачный танец, Вера осматривалась вокруг, пытаясь что-то узнать про его умершую жену. На стенах не было никаких фотографий или портретов, не было ни полок с книгами, ни ковров. Абажур на торшере был в дырках от моли (были ли это мотыльки, тянущиеся к лампе, о которых он рассказывал?). Клочки пожелтевшей губки торчали из-под пенистой резиновой обивки дивана. Подруга Веры указала подбородком на сложенное инвалидное кресло и кислородную подушку, запихнутые между стеной и столом. Вера почувствовала, что болезнь, которая годами царила в этом доме, еще не до конца из него выветрилась. Что какая-то ее часть все еще здесь присутствует. Осознание того, что у нее здесь имеется соперница, толкнуло Веру выпрямиться во весь рост, приказать отцу Рафаэля наконец-то присесть и нормально с ними поговорить. Он тотчас хлопнулся на диван, выпрямился и сидел, скрестив на груди руки.

Вера улыбнулась ему из глубины своей женственности, и его позвоночник вдруг как-то оттаял. Подруга внезапно почувствовала, что она здесь лишняя, и поднялась уходить. Они с Верой быстро перекинулись парой слов на сербскохорватском. Вера пожала плечами — жест,

означающий, что, мол, «меня это не волнует». Тувия был мужчиной решительным и уверенным в себе, но сейчас, когда напротив него оказалась эта маленькая женщина с зелеными глазами и острым взглядом, ему показалось, что из-под ног уходит земля. Взглядом настолько острым, что раз в несколько минут нужно отвести от нее глаза. Подруга перед тем, как уйти, попросила разрешения сфотографировать их своим «Олимпусом». Оба застеснялись, но она сказала: «Вы так здорово вместе смотритесь», — и они взглянули друг на друга и впервые увидели, что могут оказаться парой.

Ради съемки Вера поднялась со своего пыточного кресла и подсела к Тувии, на его узкий диван. На черно-белой фотографии Вера сидит откинувшись назад, опершись на руку, смотрит на него чуть отстраненно и улыбается. Ощущение, что поддразнивает его и тем наслаждается.

Это 1963 год. Начало зимы. Вере — сорок пять. На лоб ниспадает локон, губы полные, сочные. Брови тонкие, нарисованные карандашом, как у Хеди Ламарр.

Тувии — пятьдесят четыре, на нем белая рубашка с широким воротом, шерстяной свитер ручной вязки с толстыми «косичками». У него густая

черная шевелюра с прямым пробором. Руки с огромными кулачищами скрещены на груди. Он смущен, и лоб блестит от волнения.

Тувия сидит нога на ногу, и только сейчас я замечаю, что под столом — два деревянных ящика, покрытых белой скатертью, и большой палец Вериной правой ноги в открытой босоножке слегка прикасается к подошве левого ботинка Тувии и будто щекочет ее снизу.

Подруга вышла. Вера с Тувией сидят одни, втиснувшись в диван. Когда он поднял руку почесать затылок, Вера заметила черные волосы, торчащие из рукава его свитера. Густые волосы виднелись и на груди и исчезали на красной полоске от бритья на его шее. Это и отталкивало, и притягивало. У ее первого возлюбленного, у ее единственного Милоша, кожа была гладкая, светлая и от загара на солнце становилась медвяной. Верино тело внезапно вспомнило, как они с Милошем, обнимаясь, лезут друг на друга, как котята. Ей нравилось зарыться в его худое, болезненное тело, впрыснуть в него тепло, силу и здоровье, которых у нее хоть отбавляй, и почувствовать, как то, что она вливает в него, и саму ее наполняет. А сейчас у нее свело живот и вытянулось лицо, и она почти уже встала, собираясь

уйти. Тувия, не обративший внимания на произошедшую в ней перемену, поднялся на ноги, встал перед ней и сказал, что у него заседание в секретариате, но он считает, что вопрос решен и можно попробовать. И протянул ей руку, как строительную линейку.

Несмотря на тоску по Милошу, это его неуклюжее предложение заставило ее покатиться со смеху. Тувия стоял перед Верой сконфуженный, пытающийся сжаться, как это всегда с ним случалось. «Ну, так что скажешь, Вера?» — спросил он просящим голосом и снова присел на краешек дивана. Тувия казался абсолютно потерянным и совершенно онемевшим. Вера все еще колебалась. Он ей понравился, в нем ощущался мужчина, и он показался ей прямым и понятным («Я сразу увидела его потенциал»), а с другой стороны, она не знала о нем почти ничего.

И именно в этот момент, в самый неурочный час, что характерно для почти каждого важнейшего этапа его жизни, в комнату вошел Рафаэль, младший сын Тувии, с фингалом под глазом, разбитым лицом и запекшейся у рта кровью. Снова ввязался в драку, на сей раз в школе, с ребятами старше него. Как и в любой день и в любую погоду, на нем был все тот же капюшон, что и в день

маминых похорон. Он открыл решетчатую дверь, увидел смущенного отца, сидящего возле Веры, и застыл. Вера быстро поднялась и пошла к нему, а он предупреждающе зарычал. Она не испугалась. А стояла напротив него и с любопытством его разглядывала. Рафаэль, как и его отец, смутился под ее взглядом: разумеется, он ее уже видел. Несколько раз встречал ее на дорожках кибуца и в столовой, но, как видно, она не произвела на него никакого впечатления. Маленькая женщина, решительная и быстрая, с поджатыми губами. Это примерно все, что он увидел. Ему, конечно, и в голову не пришло, что она — мать Нины, и днем и ночью бередящей его фантазии. «Ты Рафаэль», — с улыбкой сказала Вера, и прозвучало это так, будто ей известно гораздо больше этого. Не спуская с него глаз, Вера послала Тувию в ванную за синим йодом и бинтом. И потом протянула руку к покрытому кровью лицу Рафаэля и пальцами коснулась уголков его губ.

Прозвучали резкий вскрик и задушенное ругательство на сербскохорватском. Тувия бегом вернулся из ванной. Рафаэль стоял напуганный, со вкусом чужой крови на губах. Вера попыталась остановить кровь, капающую с ее пальцев на пол. Тувия, который в жизни пальцем Рафаэля не

тронул, вдруг кинулся на него, но Вера, прыгнув, вытянула руки и их развела. И одновременно выкрикнула что-то предупреждающее, хриплое и горловое, почти нечеловеческое. Этот ее жест, этот ужасающий звук, который она издала, заставили Рафаэля ощутить себя где-то в глубине детенышем самки. «Самки, которая борется за свое чадо», — сказал он мне.

И в противоречие со всем, что он к ней испытал, внезапно ему дико захотелось стать щенком этой зверины.

Тувия не был человеком жестоким, и то, что у него вырвалось, его напугало. Снова и снова он смущенно бормотал: «Извини, Рафи, прошу прощения». Вера прислонилась к стене, голова слегка кружилась, не из-за крови, кровь никогда ее не пугала. Она закрыла глаза. Веки задрожали и прикрыли быстрый разговор с Милошем. Почти двенадцать лет прошло с тех пор, как он покончил с собой в подвалах для пыток в Белграде. Она сказала ему, что уходит сейчас к другому мужчине, но с ним и с их любовью она не расстанется никогда.

Она открыла глаза и посмотрела на Рафаэля. И подумала: «До чего он похож на отца, и каким потрясающим мужчиной он станет», — но она

увидела и то, что сделало сиротство в таком раннем периоде его жизни. Нина, ее дочка, тоже была сиротой, да такой, что трудно представить. Но надлом, и одиночество, и заброшенность Рафаэля вдруг заставили Веру почувствовать себя матерью, чего с ней раньше не случалось. Эту фразу она повторяла мне не раз в течение многих лет и в самых разных аспектах: «Как это возможно, что я никогда раньше такого не испытывала?» Раз я прервала ее: «Но ведь у тебя уже была Нина! У тебя была дочь!» Мы тогда шли домой приятной тропинкой, что бежала по полям к кибуцу (шли под руку, она и по сей день любит так со мной прогуливаться, несмотря на разницу в росте), и она со своей жуткой прямолинейностью: «Эта беременность Ниной была у меня вроде как внематочная, а с Рафи все вдруг сложилось».

Рафаэль и Тувия почти перестали дышать под ее взглядом, и это был тот момент, когда она уже не сомневалась, что выйдет за Тувию замуж. И она бы за него вышла — так она говорила не раз, — даже если бы он был урод, и подонок, и барабанщик в борделе — ее личное выражение, одна из вещей, значение которой так до конца и не прояснилось и которым семейство Тувии с удовольствием пользовалось всю дорогу. «По-

тому что чего сто́ят в такой вот момент все твои красивые идеалы, — рассуждала Вера сама с собой, — чего сто́ят коммунизм и дружба народов, и сияющая красная звезда, и высокий образ Павки Корчагина из книги «Как закалялась сталь», чего сто́ят все войны во имя справедливого и прекрасного мира, в которых ты участвовала?» — «Ни хрена они не сто́ят, — ответила она себе, — если мой сегодняшний долг — этот вот мальчишка».

Минуту-другую каждый из них был погружен в себя. Мне нравится представлять их такими, как они стоят все трое с опущенными головами, будто вникая в то, как некий раствор начинает разливаться внутри них. На самом деле это тот момент, когда создалась моя семья. Это также момент, когда в конечном итоге и сама я начала проклевываться на божий свет.

Тувия Брук был моим дедом. А Вера — она моя бабушка.

Рафаэль, Рафи, Рейш — он, как известно, мой отец, а Нина…

Нина не здесь.

Ее нет, Нины.

Но это всегда было ее особенным вкладом в семью.

А что я?

Тетрадь хорошего качества, 72 листа высокопробной бумаги, не содержащей древесных волокон, и четверть страниц уже заполнены, а мы все еще не представились как положено.

Гили.

Имя, как ни погляди, проблематичное, особенно когда его произносят при команде.

Рафаэль убрался к себе в комнату, маленькую и темную, как нора. Он закрыл дверь и присел на кровать. Эта маленькая женщина его напугала. Никогда он не видел отца таким слабаком. Позади закрытой двери Вера провела Тувию к дивану и дала ему забинтовать два своих укушенных пальца. Ей нравилась белизна собственной руки, лежащей в его лапах. Между ними царило доброе молчание. Тувия закончил бинтовать и закрепил повязку английской булавкой. Он приблизил лицо к ее пальцам, откусил зубами непослушную нитку, и от этой его мужиковатости сердце ее растаяло. Он спросил, больно ли ей. Вера пробормотала: «Так мне и надо». Они тихо поговорили. Тувия сказал: «У мальчишки это с тех пор, как умерла его мать. Вообще-то с тех пор, как она заболела». Вера положила ладонь перевязанной руки ему на ладонь. «У меня есть Нина, а у тебя — Рафаэль». Этот тихий разговор их сблизил. Она

сдержалась, не дала своим пальцам погладить его шевелюру.

«Ну, так что скажешь, Вера, может, мы…»

«Сойдемся. Попробуем, почему бы и нет».

Пять дней назад мы отпраздновали Верино девяностолетие (плюс два месяца. В сам день рождения у нее была пневмония, и мы решили с этим повременить). Празднование семья устроила в клубе кибуца. «Семья» — это, разумеется, родственники Тувии, к которым Вера всего лишь примкнула, но за сорок пять лет стала их душой. Всегда забавно думать, что большинство внуков и правнуков, которые лезут к ней обниматься и дерутся за ее внимание, даже не подозревают, что она им вовсе не биологическая бабушка. Каждому нашему ребенку мы устраиваем скромный обряд посвящения, на котором сюрпризом, обычно в день его десятилетия, ему открывают правду. И тогда — всегда и без исключения — он или она задает один-два вопроса, на лоб набегает морщинка, чуть прищуриваются глаза, а потом — отрицательный взмах головой и быстрое передергивание плечами, будто отбрасывающее новую досадную информацию.

Вот пожалуйста, дочка дедушки Тувии, старшая сестра моего отца, произнесла маленькую речь:

«После того, что они тридцать два года прожили вместе, я совершенно искренне считаю, что Вера не только неотъемлемая и постоянная часть нашей семьи, но и что без Веры мы бы вообще не были той семьей, каковой являемся». Сказала, как всегда, скромно и просто, и Рафаэль был не единственный, кто смахнул слезу. Вера скривила рот — есть у нее такая ироническая гримаса на то, что показалось слишком приторным, — и Рафаэль, который фотографировал, как и на всех семейных торжествах, шепнул мне уголком рта: «До чего же Верина оценка или похвала всегда характерны для нее одной».

Как только началось торжество, она сообщила, что в такой день у нее у одной есть право осыпать саму себя комплиментами, а потому можно сразу приступать к застолью. Но тут уж семья встала на дыбы. Представители всех поколений и всех возрастов вставали и высказывали ей похвалы — дело необычное, потому что на самом деле Бруки не говоруны и им редко приходит в голову так вот рассказывать кому-то столь интимные вещи, да еще и прилюдно. Но вот сказать их Вере им захотелось. Почти у каждого в этой комнате был рассказ о том, как Вера ему помогла, за ним поухаживала, спасла его от чего-то плохо-

го или от самого себя. Мой рассказ был самым сенсационным. Он касался некоего злодеяния, причиненного моей душе, когда мне было двадцать три года, удара, нанесенного мне неким человеком, да исчезнет имя его из всех моих воспоминаний. Но и мне самой, и Вере было ясно, что все, что следует рассказать, я, по обыкновению, поведаю ей наедине, как говорится, с глазу на глаз. Особенно трогательным был момент, когда Том, внук Эстер, которому было два с половиной, обкакался и, как бы демонстрируя свою независимость, ни за что не согласился на то, чтобы подгузник ему поменяла мать или бабушка Эстер, и когда та спросила, кого же он выбирает для этой цели, он радостно завопил: «Та`ту Веру!» Чем вызвал взрыв смеха.

Вера с потрясающей ловкостью спрыгнула со своего кресла, побежала, почти как девчонка, только что тело слегка скривлено в левый бок, и поменяла в сторонке Тому подгузник, и, пока это делала, подала нам знак, чтобы продолжали толкать речи и «раз уж решили, так ради бога…» А тем временем она вся была сосредоточена на улыбающемся личике Тома, и ворковала ему в пупок что-то на сербскохорватском с венгерским акцентом, и, конечно же, прислушивалась к сло-

вам, которые у нее за спиной о ней говорились. И когда, несмотря на свои девяносто лет, она помахала в воздухе переодетым Томом, который хохотал и пытался стянуть с нее очки, я вдруг почувствовала, как глубоко внутри будто кто-то меня куснул. Боль из-за того, что никогда в жизни я такой не стану и этого не сделаю, и как не хватает мне моего мужчины, Меира… И подумала, что нужно было попросить его прийти со мной, ведь знала же заранее, какой незащищенной и уязвимой буду здесь, с Ниной.

За сорок пять лет до этого, зимой 1963 года, в тот вечер, когда Вера и его отец Тувия собирались стать парой, Рафаэль пошел в спортзал кибуца. Позади этого зала распростерлось пустое песчаное поле, и в последний год, с тех пор, как умерла мама, он упражнялся там в метании ядра. Солнце село, но в небе еще разлит слабый свет, и в воздухе уже замелькали стеклышки дождя. Раз за разом, десятки раз метал Рафаэль ядра весом в три-четыре килограмма. Ярость и ненависть потрясающе улучшили его достижения. Когда он почувствовал, что замерз, и уже захотел вернуться в комнату интерната, зарыться головой в подушку и не думать про то, что отец его будет делать ночью, а то и прямо сейчас, с этой своей

югославской шлюхой, перед ним возникла Вера. Она шла с коричневым чемоданом, огромным, почти с нее ростом. Поставив этот свой обшитый кожаными ремешками и металлическими гвоздиками чемодан в грязь (классная штуковина, на которую я давно положила глаз) и вытянув вперед руки, она встала перед Рафаэлем, будто отдавая ему себя на суд. Что ему оставалось делать! Не глядя на нее, он продолжил метать ядра. За те две недели, что он ее встретил и укусил, Рафаэль успел узнать, что Вера — мать той девчонки, в которую он влюблен. Этот факт был столь ужасен, что он изо всех сил старался о нем не думать, но сейчас Вера стояла перед ним как живое напоминание.

Дождь стал для нее неожиданностью. На ней был тонкий свитерок баклажанового цвета с закругленным белым воротничком с рюшками, а на ногах — белые туфли, которые уже покрылись грязью. Маленькая фиолетовая шляпка была надета набекрень — факт, разозливший Рафаэля не меньше, чем сама шляпка. Были на ней также тоненькое золотое ожерелье и жемчужные сережки — вещи, которые нацепляют на себя только горожанки.

Господи, сейчас, когда я это пишу, до меня вдруг

дошло: это же был Верин свадебный наряд.

И это была ее брачная ночь.

Со своим тяжелым венгерским акцентом — дома в Хорватии они говорили в основном на венгерском — она спросила: «Рафаэль, можешь минутку со мной поговорить?», а он надвинул на глаза свой капюшон, повернулся к ней спиной и метнул в темноту еще одно ядро. Вера с минуту поколебалась, а потом шагнула вперед, подняла ядро и взвесила его в руке. Рафаэль застыл в середине броска и будто забыл, что делать дальше. Без всякой подготовки, без вращения вокруг собственной оси, Вера одним глубоким толчком швырнула железное ядро на невероятное расстояние, может, на метр дальше, чем он.

Рафаэль был парнишка худой, но сильный, один из самых сильных среди сверстников. Он поднял другое ядро, поместил его во впадину плеча, закрыл глаза и, не торопясь, вложил в него все отвращение, которое к ней испытывал.

Почему-то этого ему не хватило, и он продолжал себя заводить да еще и вкладывать в ядро ненависть к отцу, который собирался предать маму с этой чужачкой, которая к тому же и мать Нины. Даже и эта мысль не смогла заставить толкнуть ядро, и он продолжал вращаться вокруг

собственной оси, пока вдруг внутрь не прорвалась еще и мутная струя ярости на мать, именно на нее, на то, что, когда он был еще пятилетним малышом, она вдруг начала отдаляться и уходить в свою болезнь.

Темнота сгустилась, дождь полил сильней. Вера быстро потерла руки то ли от холода, то ли от радости состязания, которая ее распалила. Рафаэль продемонстрировал мне это в картине, которую я снимала. Эту черту я в ней знала и не любила. Она, кстати, и по сей день такова: в минуты конфликтов или споров, обычно связанных с политикой, в ней вдруг пробуждается что-то железное, несгибаемое — где-то внутри, в глазах, даже в коже. Если, допустим, в ней зародилось подозрение, что кто-то из семьи или из кибуца согласен с каким-то аргументом правых или осмелился проронить доброе слово о поселенцах[3], тут, не приведи господь, «жди урагана» — это светопреставление, громы, молнии и дым коромыслом. Даже и мальчишкой Рафаэль это сразу чувствовал, говорил, что это «не материнское поведение», хотя что такое «материнское поведение», точно и не знал. Когда Вера

[3] Примечания: 3

Поселенцы — жители израильских поселений на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

вторглась в его жизнь, он был полным незнайкой по части всего, что связано с материнством. Она очень быстро сняла с себя ожерелье, браслеты и серьги, положила все это рядышком на чемодан и прикрыла своей дурацкой шляпкой. Когда все легло на место, она легкими движениями закатала рукава своего свитера и блузки, и тут Рафаэль увидел мышцы ее рук и переплетения ее сухожилий. Он глядел на них, открыв рот: как она с такими-то мышцами собирается стать чьей-то мамой? Мир вокруг уже потемнел. С горы Кармель прокатился гром. Вера с Рафаэлем едва различали ядра, которые они метали. Лишь их черный металлический бок на мгновенье взблескивал в свете фонаря, что над тропой, а то под мигание далекой молнии. Ядра падали все ближе к их ногам, и когда они поднимали их из грязи, у них почти уже и не было сил метнуть их снова. Но они продолжали, продолжали оба, метали, стонали и вставали задохнувшись, прижав руку к боку. Каждые несколько минут молча шли рядом на поиски ядер, что валялись в лужах, как откормленные головастики.

За минуту до того, как Рафаэль признался, что нет у него больше сил, она положила свое ядро на землю, возвела вверх руки и пошла к чемодану.

У него было ощущение, что проиграла она ему специально, и это ему понравилось. Поступок матери («Ты должна понять, Гили, в то время я делил все человечество — смейся-смейся, и мужчин тоже — на две половины: кто мать и кто не мать»). Вера встала к нему спиной, быстро надела свои браслеты и серьги, напялила свою фиолетовую шляпку и сдвинула ее набекрень, что пробудило в Рафаэле желание сорвать ее с головы, кинуть в лужу и попрыгать на ней обеими ногами. Потом она к нему обернулась. Тело ее тряслось от стужи, губы синие, но взгляд твердый.

«Выслушай меня. Я пришла сюда, чтобы с тобой поговорить перед тем, как войду к вам в дом. Мне важно, чтобы ты знал. Я не хочу быть твоей мамой ни в коем разе, я просто хочу тебя любить». Иврит у нее был сносный — еще в Югославии, когда ждала разрешения на выезд в Израиль, учила иврит вместе с Ниной у одной еврейской журналистки, — но из-за акцента ему показалось, что она говорит: «Просто хочу тебя убить».

«Ты в жизни не сможешь стать мне мамой, — прошептал Рафаэль про себя, — в жизни не сумеешь жить, как моя мама». В последние годы своей болезни его мать лежала за дверью спальни, и он почти ее не видел. Иногда, когда она

звала его из своей комнаты басом, который у нее появился, он выскакивал из окна своей комнаты и убегал. Ему было невыносимо ее лицо, распухшее, как надувной шар, как карикатура красивой и изящной мамы, которая у него была, невыносима эта кислая вонь, которая от нее исходила, заполняла весь дом и липла к его одежкам и к его душе. Когда он был маленьким, пятилетним или шестилетним, бывали ночи, когда его отец Тувия относил его на руках в мамину кровать, чтобы она посмотрела на сына и прикоснулась к нему. А когда наутро Рафаэль просыпался, по запаху пижамы всегда зная, что ночью его относили к маме, он требовал, иногда в истерике, чтобы пижаму немедленно бросили в стирку.

Вера сказала Рафаэлю: «Никто в мире не может стать тебе мамой, и это твой дом, а я в нем всего лишь гостья. Но я обещаю to do my best, и если ты меня не захочешь, тебе стоит сказать одно слово, и я в ту же минуту заберу свои вещи и уйду».

Минута? Пять минут? Сколько времени простояли они так под дождем? Тут есть разные версии. Вера клянется — включая церемониал: сухой плевок в сторону, когда верхняя губа прикрывает губу нижнюю, — что это длилось не меньше десяти минут. Рафаэль, не вдаваясь в тонкости,

утверждает, что не больше полминуты, а я, как всегда, склонна поверить *ему*.

В моем старом фильме, который сейчас перед нами на Верином экране, звучит мой голос, цитирующий Рафаэлю нечто, что когда-то я услышала от его отца Тувии, моего дедушки-агронома: «Есть семена, которым для прорастания хватит лишь зернышка почвы», фраза, так сильно впечатлившая меня в мои пятнадцать лет. Десять минут или полминуты — Вера тогда сильно схватила его за руки, и он свои не отдернул. У нее все еще было забинтовано то место, которое он укусил, но она своими миниатюрными большими пальцами все гладила и гладила его пальцы и ждала, когда Рафаэль перестанет плакать. Оказалось, что одного зернышка почвы может хватить и на двоих, если они в полном отчаянии.

Потом Вера своим приказным бен-гурионовским тоном сказала: «Рафаэль! Пошли!» Нести свой чемодан она ему не дала. Они молча двинулись в комнату Тувии. Когда-нибудь, когда я начну снимать свои фильмы (в скором будущем, иншаллах), я непременно воссоздам сцену этой прогулки под дождем, хлеставшим по диагонали в желтых лучах фонарей. По пути им не встретилось ни души. Все кибуцники сидели по домам,

шли одни они, вымокшие, расчувствовавшиеся, без слов принявшие этот свой договор, ставший для них незыблемым, договор, который продержался сорок пять лет и ни разу не был нарушен.

Они вошли в квартиру — «комнаты», как по-кибуцному, — Вера поставила свой чемодан перед дверью. Они услышали, как его отец напевает арию из «Похищения из сераля», арию, которую он всегда пел, когда был в хорошем настроении. Вера посмотрела на Рафаэля. «Придешь в тихий час?» Он стоял с опущенной головой и страдал. Она двумя своими перевязанными пальцами приподняла ему подбородок. Ни одному человеку в мире не пришло бы в голову такое с Рафаэлем проделать. «Такова она, дорога жизни, Рафаэль!» — сказала она. Ему казалось, что после этой ночи он не сможет смотреть папе в глаза, да и Вере тоже. «Доброй ночи», — сказала она. И он шепотом повторил это за ней.

Вера подождала, пока он не исчезнет за поворотом тропы. Потом вытащила из чемодана маленькую сумочку и с помощью круглого зеркальца и косметического карандаша привела в порядок свое лицо. Рафаэль подглядывал за ней из-за куста бугенвилеи, видел, как она безуспешно пытается распушить мокрые волосы (волосы

у нее всегда были жидкие), и глаза его малость забраковали ее физическую и душевную силу; потом она подняла лицо к небу и зашевелила губами. Он решил, что она молится, но потом сообразил, что Вера разговаривает с кем-то исчезнувшим, объясняет ему, слушает его, посылает поцелуй небесам… В глазах Рафаэля она была «вроде женщины, каких показывают в кино», но в отличие от кино она была прагматична, решительна, нетерпелива и, как и говорила про себя, «не терпела вредных и злых».

Вера задрала нос, подбородок, выпрямилась во весь свой маленький рост. Рафаэль заставлял себя думать про свою скромную, тихую маму, но она поблекла, отказалась ему являться. Вера один раз стукнула сжатым кулаком в дверь дома. Отец перестал петь. Рафаэль знал, что вот он, тот последний миг, когда он еще может что-то сделать. Он лихорадочно искал в себе свою маму, чтобы знала: он хоть в этот момент ей верен или почти верен, чтобы простила его, чтобы он уже смог отказаться от наказаний и постов, которые из-за нее на себя накладывал. Она не послала ему никакого знака, никакого ответа. Их отсутствие испугало, будто стерли часть его души. И тогда он понял, что прощения мама лишила его навсегда.

«Как знак Каина», — сказал Рафаэль моей камере, и голос его задрожал. Я, как известно, была всего лишь пятнадцатилетней, но уже тогда начинала что-то понимать о семье, об упущениях и о вещах, которых задним числом не исправишь. Главное, чего мне хотелось, — это перестать снимать, подойти, обнять и утешить его, и, конечно же, я не решилась. Он бы мне не простил, если бы я изъяла такую плетку, как фильм.

Дождь мягко падал на землю. Лампа в виде кувшина, что висела над дверью, бросала на Веру желтоватый свет. Тувия открыл дверь и произнес ее имя, сперва в изумлении из-за ее мокрых одежек, а потом лихорадочным шепотом. Снова и снова его повторяя, когда сжимал ее в своих объятиях.

Дверь закрылась. Рафаэль стоял в пустоте. И без понятия, что дальше. Страшно было остаться одному, страшно было, что сейчас придется сделать нечто ужасное, нечто неизбежное, что-то, что в нем все больше нарастало. Чья-то рука коснулась его бока, и он подпрыгнул от страха. Нина, та, что сводила его с ума и ночью и днем. Ее лицо, белое, красивое, бездушное. Сейчас оно представлялось ему лицом хищной птицы. «Мамуля с папулей гуляют, — сказала Нина с кривой улыбкой. —

Значит, и мы можем».

Многие годы спустя Вера рассказывала нам, что она сказала ему, когда вошла в комнату в их брачную ночь: «Прежде чем мы ляжем в постель, я хочу, чтобы ты знал уже сейчас. Я всегда буду тебя почитать и буду тебе самой хорошей и верной подругой. Но лгать я не стану: я женщина, которая в своей жизни способна лубить (она произнесла: «лубить»; мне нравится эта неправильность, она по-своему точна) только одного мужчину. Не больше. Милоша, который был моим мужем и умер у Тито, я люблю больше всего на свете, больше собственной жизни. Каждую ночь я буду рассказывать тебе о нем и о том, что случилось со мной в концлагере из-за того, что я так его любила. И еще я много плачу». А Тувия сказал: «Хорошо, что ты все откровенно мне рассказываешь, Вера. Значит, нет иллюзий и нет недомолвок. Здесь, в нашей спальне, будут фотографии обоих, твоего мужа и моей жены. Ты будешь рассказывать о нем, а я расскажу тебе о ней, и они будут святыми для нас обоих».

А мы, молодые члены этой семьи (так называемая поросль), что обожали Веру и были с ней все

дни шивы[4], стояли, как это принято, опустив головы из уважения к покойнику, а еще чтобы не расхохотаться, когда встретишься глазами с кем-то из стоящих напротив. Вера смахивала жемчужинки слез кончиком лилового платочка, надушенного лавандой (такое существует, ей-богу. До последних нескольких лет Гиляр, ее приятель-бедуин из соседней деревни, привозил ей лаванду мешками). И тут, к нашему всеобщему изумлению, Вера вдруг ровным и совершенно прозаическим тоном заявила: «Но во время… ну, понимаете… мы с Тувией были окружены портретами тех двоих на стене». Она замолчала с каменным лицом, пока мы, «поросль», не кончили задыхаться от смеха, и тогда в очень верно просчитанную минуту добавила: «Они эту стену прекрасно изучили».

И если уж я влезла в этот пикантный уголок жизни и уже осквернила интимную сторону жизни бабушки с дедушкой, так подкину еще вот каких «дровишек»: не помню точно, когда это было, но как-то мы с ней сидели в ее кухоньке метр на метр, и вдруг, ни с того ни с сего Вера мне говорит: «В нашу первую ночь в первый раз, что

---

[4] Примечания: 4
Шива — недельный траур в иудаизме.

мы с Тувией, ну, ты понимаешь… Тувия вдруг надевает «головной убор», так это у нас называлось, при том, что он прекрасно знает, сколько мне уже годочков… и тут я увидела, что он и впрямь джентльмен!»

Наутро, когда Рафаэль еще крепко спал, купаясь в любовной неге, в такой сладости, какой не видывал много лет, Нина запихнула свои вещи в рюкзак и молча вышла из комнаты «Лепрозория», в которой оба они провели ночь. Она прямиком пересекла кибуц и, не постучавшись, вошла в квартиру Веры с Тувией в тот час, когда они сидели за первым своим совместным завтраком. Без всякого предисловия она в подробностях описала им то, что делала с Рафаэлем. Вера посмотрела на нее и подумала, что даже в комнатах пыток в Белграде и даже у надзирательниц в лагере в Голи-Отоке ее не ненавидели так сильно, как ненавидит ее собственная дочь. Она положила нож и вилку на стол и сказала: «На всю жизнь, Нина?», и Нина сказала: «И на потом тоже».

Через много лет Вера мне рассказала, что она тогда поднялась, встала перед Тувией и сказала, что, если он сейчас велит ей уходить, она уйдет, покинет кибуц вместе с Ниной и ему больше не придется их видеть. Он подошел, обнял ее за

плечи и сказал: «Никуда ты больше не уходишь, Веруля. Ты дома». Нина посмотрела на них и кивнула. Она и по сей день умеет кивнуть с этакой веселой горечью всякий раз, как сбылось ее дурное предчувствие. Она подняла с пола свой рюкзачок с вещичками, обхватила его, но уйти почему-то не смогла. Может быть, что-то в том, как они стояли напротив нее, изменило ее планы. И тогда вспыхнула быстрая перепалка на сербскохорватском. Нина шипела, что Вера предает Милоша. Вера обеими руками била ее по щекам и кричала, что Милоша она в жизни не предала, что, наоборот, она была верна ему до безумия, ни одна женщина не сделала бы для своего мужчины того, что сделала она. И вдруг воцарилась тишина. Нина, будто почуяв что-то в воздухе, как окаменела. Вера побледнела и замолчала, сжав рот, потом бессильно села.

Нина повесила рюкзак на плечо. Тувия сказал: «Но, Нина, мы хотим тебе помочь… оба хотим. Разреши нам тебе помочь». А она в слезах топнула ногой: «И не ищите меня, слышите? Только посмейте меня искать! — Она повернулась уходить, но остановилась. — Передай от меня привет своему сыночку, — сказала она Тувии. — Твой сын — самый хороший человек из всех, кого я

встретила в жизни». На секунду в ее лице засияло что-то детское. Трогательно-чистое. Иногда, когда мое сердце добреет к ней — а у меня порой случаются подобные минуты, человек ведь не из камня сделан, — мне удается напомнить себе, что и наивность оказалась среди тех вещей, которые у нее украли в столь раннем возрасте. «И скажи ему, что это вовсе не из-за него, — сказала она. — Скажи ему, что женщины будут сильно, без памяти его любить. И что меня он позабудет. Передашь ему, верно?»

И исчезла.

Я снова перебегаю вперед. Пишу ночью и днем. Мы летим послезавтра утром, и до того я с этого стула не встану. Вот еще одно воспоминание, которое, как мне кажется, относится к делу: через много лет после брачной ночи Веры с Тувией (Тувия еще с нами, самый прекрасный дедушка в мире) мы с бабушкой Верой чистим овощи для запеканки у нее в кухне. Время послеобеденное, лучшие часы в кибуце и в кухне. Низкое солнышко пропускает свои золотистые лучи сквозь банки маринованных огурцов, головок лука и баклажанов, что выставлены на подоконник. На столешнице стоит ведро пеканов, которые мы с Верой утром насобирали. Большой Верин маг-

нитофон проигрывает «Besame Mucho» и всякие другие слезливые радости. У нас с ней — минута единения и великой близости. И вдруг она внезапно говорит: «Когда я выходила за твоего дедушку, за Тувию, после Милоша прошло уже двенадцать лет. Я двенадцать лет провела одна. Ни один мужчина пальцем меня не тронул! Ноготком! И я хотела его, Тувию, а как иначе? Но больше всего мне хотелось быть с Тувией, чтобы позаботиться о твоем папе, о Рафи, для меня это было — как это говорят сионисты? — свершением. Но я и боялась постели как огня. До смерти боялась, что будет, и как я узнаю, все ли как надо, и вернется ли ко мне желание вообще. А Тувия не уступал, он ведь был еще сокол, ему всего-то было пятьдесят четыре, да если по правде, так он и сегодня хоть куда, притом, что я уже давно готова эту лавочку закрыть». — «Бабушка! — поперхнулась я. Мне было всего пятнадцать. Да что с этими взрослыми в нашей семье? Никакого желания сберечь святую простоту детей? — Зачем ты мне все это рассказываешь?»

«Потому что хочу, чтобы ты знала все! Чтобы между нами не было секретов».

«Каких-таких секретов? Есть секреты?»

И тут она испустила вздох, вырвавшийся из

ее душевного подземелья, о существовании которого я и не догадывалась. «Гили, я у тебя хочу сложить все, что было со мной в жизни. Все».

«Почему именно у меня?»

«Потому что ты как я».

Я уже знала, что из бабушкиных уст это похвала, но что-то в ее голосе и еще больше в ее взгляде меня будто прошило.

«Не понимаю, бабушка».

Она быстро убрала ножик, которым чистила овощи, положила обе руки мне на плечи. Глаза ее уставились в мои. И сбежать некуда. «И я знаю, Гили, что ты никогда и никому здесь не дашь исказить мою историю, направить ее против меня».

Я вроде бы рассмеялась. Вернее, фыркнула от смеха. Попыталась обернуть разговор в шутку. Я тогда про «ее историю» еще ничего не знала.

И вдруг ее глаза вспыхнули бешенством, диким, почти звериным. И, помнится, на минуту меня пронзила мысль, что не хочу я быть детенышем этой зверины.

Нину они, конечно же, искали. Все на свете перерыли, пытались найти помощь в полиции, что ни к чему не привело, а потом обратились к частному сыщику, который прочесал весь Изра-

иль от севера до юга и сказал им: «Ее как земля проглотила. Начинайте привыкать к тому, что она уже не вернется». Но почти через год от нее стали поступать сигналы. Со странной регулярностью, раз в четыре недели приходила пустая открытка, и на ней — ни единого слова. Из Эйлата, из Тверии, из Мицпе-Рамона, из Кирьят-Шмоны. Вера с Тувией ездили по следам этих открыток, двигались по улицам, заходили в магазины и в гостиницы, в ночные клубы и в синагоги, всем, кто попадался по пути, показывали ее фотографию, сделанную еще когда Нина приехала в Израиль. Вера за эти годы сильно похудела, и волосы стали белыми. Тувия сопровождал ее повсюду, возил ее в полученном от кибуца пикапе, следил за тем, чтобы она пила и ела. Когда увидел, что она на глазах угасает, полетел с ней в Сербию, в маленькую деревушку, в которой Милош родился и был погребен. Там, в деревне, Вера была королевой, родственники Милоша любили и почитали ее, вечерами приходили послушать ее рассказы о любви к Милошу. По утрам Тувия чинил моторы старых тракторов и посудомойки, а Вера в широкополой соломенной шляпе усаживалась в кресло-качалку напротив могилы Милоша, возле серого, покрытого патиной памятника, зажигала

длинные желтые свечи и рассказывала ему про свои невзгоды из-за Нины, их дочки, про ее поиски и про Тувию, этого ангела, без которого она не смогла бы всего этого вынести…

Рафаэль отправился на собственные поиски. Минимум раз в неделю он убегал из своего учебного заведения и бродил по улицам городов, по кибуцам и по арабским деревням и просто глядел по сторонам. За эти годы он быстро повзрослел и стал еще красивее и еще удрученнее. Девчонки клеились к нему, с ума по нему сходили. Чуть меньше десяти лет назад, на его пятидесятилетии (Вера, конечно же, не допустила, чтобы такая дата прошла без великого сборища, он и в пятьдесят продолжал быть ее любимым сироткой), она достала из одного из своих ящиков сокровище: конверт с его фотографиями тех лет. Фотографиями тусовок, поездок и соревнований по бегу и по баскетболу и празднований окончания учебы. Ничто из этих влажных взглядов, на него устремленных, из этих улыбок, из этих губ, этих юных, жаждущих его прикосновения грудей, из этих стараний — ничто из всего этого его не задело и не взволновало. «Он в своем бульоне видит одну только Нину», — процитировала Вера поговорку, которой мы, разумеется, в жизни не слышали.

И когда он пошел в армию, то в каждый свой отпуск продолжал ее искать. Потом на полученные из Югославии деньги (сам маршал Тито, государственный и военный деятель, распорядился пожизненно выплачивать ей пенсию) Вера купила ему подержанный фотоаппарат «Лейка». Она надеялась, что «Лейка» поможет Рафаэлю справиться со своей трагедией и, может быть, воздаст ему за его тоску, но он начал фотографировать свои поездки с поисками.

Он странствовал по дорогам, описывал Нину всем встречным и поперечным и потом просил разрешения их сфотографировать. Сотни раз рассказывал он чужакам, мужчинам и женщинам, ту капельку информации, что о ней знал. Снова и снова показывал ее фотографию и говорил: «Ее зовут Нина, один раз мы были вместе, и она исчезла. Может, вы ее видели?» Иногда он слушал самого себя, пока говорил, и думал, что он рассказывает им байку, которой никогда и не было.

И тем не менее эти случайные встречи куда-то его вывели. «Глаза раскрылись», — так он говорит в моем юношеском фильме, когда рассказывает о том периоде своей жизни. Он научился смотреть. Привлекали его в основном лица людей с трудной судьбой, людей с массивными, порой поистине

царственными фигурами, «людей, по которым видно, как мелкость жизни, завладев ими, их размалывает». Вера с Тувией все пытались убедить его покончить с бродяжничеством, пробудиться, постричься, записаться на учебу, взять на себя какую-то ответственную должность в кибуце. После почти двух лет скитаний он смирился с тем, что Нину ему не найти и что на самом деле он ее упустил, но перестать фотографировать он не смог и, более того, я думаю, а в общем-то знаю (кто, как не я?), что не смог отказаться от поиска: от навыка наблюдать, необходимого для человека, который ищет то, что потерял.

Тридцать два года спустя после их брачной ночи Вера стояла на кухне и кипятила чайник для чаепития. Тувия был уже очень болен. Вера не согласилась на его госпитализацию или на наем сиделки. Четыре года ночью и днем она оживляла его, подбадривала, вывозила на концерты в Хайфу и на спектакли в Тель-Авив, решала с ним кроссворды, меняла ему памперсы и читала вслух все три ежедневные газеты. Среди «поросли» ходило мнение, что из-за войны на истощение, которую ведет Вера, смерть взвешивает, не стоит ли ей от Тувии отказаться.

Чайник закипел, и она просвистела для Тувии

в свисток первый куплет их песни: «Играй, играй же на мечтах...»[5] Тувия медленно, кашляя, вошел — кожа да кости. Он пошел по коридору — тому коридору, по которому много лет назад побежал, когда Рафаэль, его сын, укусил Веру (прошу прощения, что я впихиваю это и сюда тоже, но человеку приятно иметь собственную маленькую мифологию). По пути Тувия ухватился за висящую на вешалке куртку, за спинку стула. Присел, вздохнул. Вера взглянула на него, и ее сердце сжалось. «Тувия! — громко крикнула она. — В пижаме? Так, по-твоему, приходят на файв о-клок к леди?» Тувия слабо улыбнулся, вернулся в комнату, натянул черные трикотажные брюки, голубую рубашку в полоску, подчеркивающую голубизну его глаз, и чтобы позабавить Веру, еще и замшевый пиджак, который надевал двадцать пять лет на праздничные мероприятия и который сейчас был велик ему на несколько размеров. «А так годится, май лэди?» — спросил он и, задохнувшись, сел на свой стул. Вера стала наливать ему чай. Оба молча смотрели на тонкую струйку, льющуюся из чайника. Потом Вера увидела, как закатываются глаза Тувии, как чернеют

[5] Примечания: 5

Первые слова из песни «Я верю» — слова еврейского поэта Шауля (Саула) Черниховского.

его губы, и закричала: «Тувия! Не оставляй меня!» И он свалился на пол мертвый.

Кажется, я уже говорила, что мы с папой у Веры, в кибуце — три дня после празднования ее девяностолетия, два дня до полета в Хорватию. Где Вера? Почему ее не слышно? Услышим, еще и как! Вера, как и каждое утро, вышла проведать «своих старичков», которые, кстати, все до единого младше ее на несколько недобрых лет. Она посыплет их своим сварливым порошочком оптимизма («Я уже сказала Рафи: если придет день, когда я не смогу стоять на шоссе, на демонстрации *Женщин в черном*![6], мне четверти часа не выжить. Четверти часа!»); далее она, поджав губы и энергично размахивая руками, тридцать раз обойдет бассейн в своей плотно сидящей на голове розовой купальной шапочке. И потом помчится на своем электроскутере (лицо уткнулось в лобовое стекло, попа вверх — смертельная опасность для всех, кто осмелится в эти часы прогуливаться по кибуцу) к кладбищу.

Как и каждое утро, она возложит одну розу из своего садика на могилу Дуси, первой жены Ту-

[6] Примечания: 6

«Женщины в черном» — женское антивоенное движение. Первая группа была сформирована из израильских женщин в Иерусалиме в 1988 году, после начала Первой интифады.

вии, и оттуда пойдет к могиле Тувии и возложит две розы, одну — ему и одну — Милошу, которого она приглашает из его могилы в сербской деревне сюда для реинкарнации.

Она сидит сгорбившись на краю могилы Тувии, раскачивается вперед-назад и рассказывает двум своим мужьям, что нового в семье и в Израиле, и горько жалуется на мир, который нехорош, «мир хочет уничтожить человечество. Часть уже уничтожил, а сейчас хочет уничтожить тех, кто остался». И горько жалуется на оккупацию: «Ох! Ведь только представить, что это произошло с нами, с евреями! Мы — трагедия трагедии!» И она тихонько плачет, и снимает тяжесть с души, и просит: «Милош и Тувия, дорогие мои мужья, где же вы? Мне уже за девяносто! Когда ж вы придете забрать меня к себе? Не забудьте здесь свою Веру!» А оттуда снова на электроскутере она мчится в свою маленькую клинику, что рядом с амбулаторией, и сидит там три часа, не поднимаясь со стула, и дает советы всем желающим по поводу диеты, и любви, и вен на ногах.

И тут совершенно случайно он, Рафаэль, ее увидел — на улице Яффо в Иерусалиме, возле здания «Дженерали», на автобусной остановке. Он быстро спрятался за рекламный щит, сфото-

графировал ее — как заходит в автобус, но следом за ней не пошел («побоялся, что устроит мне скандал»). На следующее утро в тот же час она снова была там в цветастом платке на голове, в больших, похожих на бабочку солнечных очках и в короткой облегающей зеленой юбке — умереть не встать (для тех, кто впервые ее видит). Но в глазах Рафаэля — одинокая и погасшая. Нина в то время работала в государственной химической лаборатории возле Русского подворья. По восемь часов в день производила анализ пищевых красителей, проверяя, нет ли в них ядов.

(Когда я пишу эти строки, это звучит для меня так странно. Что у нее общего с этой работой?)

Среди прочих обязанностей в лаборатории она отвечала и за уборку, каждый день оставалась после того, как все работники разойдутся. То ли от скуки, то ли потому, что не спешила домой, к чужому и нелепому мужику, который ее там ждал, она начала раскрашивать пищевыми красителями тонкие стеклянные пластинки, на которых производились проверки. Рисовала улицу такой, как она выглядит сквозь решетку окна. Рисовала своего отца Милоша и его любимого коня, рисовала разные уголки их маленькой квартирки на улице Космайска в Белграде. Иногда она ри-

совала Рафаэля. Эти его красивые губы, которые ее целовали, эту мрачную топкую страстность его глаз, это его отчаянное преклонение, которое вселяло в нее ужас.

Каждый день в послеобеденные часы Рафаэль гонялся по улицам и переулкам, ведущим к ее автобусной остановке. Если везло, он открывал для себя еще какой-то маршрут, по которому она шла от работы до автобуса. После нескольких дней этих метаний по улицам он обнаружил ту самую лабораторию и пришел и встал перед ней, когда она мыла пол. Нина вскрикнула от ужаса, и тут же разразилась этим своим заливистым смехом, и оперлась руками о стол. Вблизи она показалась ему больной, малокровной, под глазами — черные круги. Говорят, что фантазии об избавлении — дело женское. Но в этих делах ничего нет женского, боль моя: голова повелевала немедленно испариться! Выздороветь от нее! Он подошел, и изо всех сил обнял ее, и услышал свой голос, который спрашивает ее, согласна ли она с ним жить.

Она осмотрела его своим медленным отстраненным взглядом. Прямо вижу, как она на долгие минуты погружает его в некую внутреннюю пустошь. Потом торжественно передает ему в

руки резиновый скребок и говорит: «Но сперва тебе придется убить дракона». Он решил, что это какая-то шутка.

Но дракон был.

«Я удрала из кибуца, моталась по Израилю и отрывалась как могла. И в какой-то момент оказалась здесь, в Иерусалиме», — рассказывала Нина фотоаппарату моего папы, пленку которого несколько месяцев назад я нашла в его «архиве» — четыре фруктовых ящика из кибуца, в которых он хранит памятки того периода, когда снимал фильмы. Это эпизод на семь с половиной минут из незаконченного фильма 16-мм. В этом году я сделала оцифровку этой пленки. И может быть, я включу ее в фильм, который о них сделаю, если найду хороший материал во время нашей поездки на остров. Вот высказала это открытым текстом, и небо на землю не свалилось.

В клипе Нина юная и красивая и настроение тоже хорошее, по крайней мере в начале беседы. «…В Иерусалиме я встретила одного мужчину, корейца, ага, из Кореи, представь себе. — Зубки у Нины белые, мелкие, брови потрясно темные, почти прямые, легкая морщинка под глазами добавляет этакую иронию ко всему, что она говорит: — Он устроил меня на эту работу в лабо-

ратории — знал там кого-то и по выходным брал меня работать на него. Он был такой странный человек…»

Вера как-то мне о нем рассказала. Это рассказ, который настолько ни к чему не относится, настолько темный и не схожий со всеми прочими «чужестями», что даже во мне вызывает какую-то боль. Он был биохимиком, имевшим у себя в стране частную лабораторию. «Жуткий человек, — сказала мне Вера, — который заставлял Нину раз в неделю сдавать кровь для его опытов». Но Вера знала не все.

Нина на ролике с наслаждением попыхивает сигареткой, что у нее в руке, и смеется несколько истерическим смехом: «Вообще-то парней я люблю высоких, красивых, типа Рафи, который сейчас меня снимает, эй, Рафаэль Аморэ. — Она дарит ему поцелуй. — А тот был низенький, уродец и с огромными ушами. Ладно, рассказываю… Он родился в Японии и был из бедной семьи и вдобавок ко всем несчастьям еще и из корейских меньшинств…»

Лицо ее понемногу становится все жестче. Я замечаю в нем мелкие изменения, которые, как видно, очень для меня существенны. С этого момента она начинает говорить быстро, холодным

и плоским голосом: «Когда в Японию приехали мормоны, они тут же стали выуживать самых бедных детей, и его родители обрадовались, что есть кто-то, кто позаботится об их ребенке, и послали его учиться в Америку. И так вот он стал американским мормоном…»

В Нине будто заговорило что-то совершенно чужое. Даже курить она стала быстро и нервно, почти автоматически. Моя реакция, когда я увидела эту первую сцену: что за чепуха? Кого это интересует? Что она плетет про этого своего корморанта?

«И тут он влюбился в еврейскую девушку, она уже мертва, не суть… и по ее следам приехал в Иерусалим, и так вот встретил меня, когда я искала место, где бы переночевать, и он посылал меня спать с иностранными мужиками, возвращаться и рассказывать, как все было».

Если еще осталась последняя тень доказательства, бросающего тень на мои дочерние качества, так это то, что даже сегодня, в моем возрасте, я готова молиться о смерти, когда она заводит разговор про свою сексуальную жизнь. «Это то, что ему нравилось, и чем все безумней и странней, тем лучше. И всегда он хотел знать подробности, чтобы я обратила внимание на

каждую деталь». — «Клево, — мысленно отвечаю ей я, — ты запросто можешь стать помощницей режиссера по сценарию. Может, я унаследовала это от тебя». Я пытаюсь угадать, где, в каком месте снимал он ее для этого ролика. На фоне видны сосны, местность гористая. Роща в горах возле Иерусалима? Над Эйн-Керемом? В Сатафе?

«И что я чувствовала? — Она смеется этим своим смехом, долгим, равнодушным. — Ты, Рафи, не спрашиваешь? Конечно же, не спрашиваешь. Ты ведь всегда побаиваешься моих ответов, правда ведь?»

«Ну и как… Как это тебе?» Даже голос у Рафи сухой и плоский. Его фотоаппарат весь на нее направлен. На ее лицо, на глаза, на ее красивый рот.

«Как выпить воды из бумажного стаканчика и стаканчик выбросить».

Молчание. Нина нетерпеливо передергивает плечами, мол, хватит, кончай.

«И… Сколько же все продолжалось с этим корейцем?»

«Два года».

«Ты два года выбрасывала бумажные стаканчики?»

«Два-три раза в неделю».

«Расскажи».

«А чего там рассказывать! Встаю, выхожу на улицу, ловлю человека, мужчину, иногда женщину, делаю дело, возвращаюсь рассказывать».

Рафи тихо, длинно выдохнул. Когда этот ролик снимался, он еще не знал, что она приготовит ему в будущем.

«В конце концов ты меня нашел, Рафи. Про это вы уже знаете». Нина переводит взгляд на камеру, вдруг лучится всей своей красотой, ранит нам душу. Для нее все — игра. «Артистка жизни». Вдруг подступает тошнота от этого забытого словосочетания, которое в отрочестве вызывало во мне ужас, хотя всего его значения я и не понимала. Эту фразу я в те дни нашла в своей секретной библии «Тайны брака» (в совокупности с «Теорией спаривания»; издательство народное). Мне было одиннадцать, когда я обнаружила это в библиотеке Веры и Тувии, и в течение двух-трех лет я совала в них нос каждую минуту, когда оказывалась у них одна. Даже названия глав потрясали меня. «Цель эротики для человека»; «Новейшая информация по сексологии для пар, состоящих в браке». Я лихорадочно это читала, зубрила наизусть. «В качестве прелюдии к выбору партнера женщина использует готовность к

любви — физиологическое состояние, при котором организмус испытывает такое умственное и физиологическое возбуждение, что жаждет взрыва». Я не поняла. Но мой оранизмус дрожал от нового возбуждения и требовал взрыва. Я читала и перечитывала. Иврит странный, библейский. «Женщина — она более не инструмент для релаксации, а хрупкий сосуд, который несет в себе вино духовности, и для мужчины она как магнитная игла для компаса, что помогает кораблю приплыть в гавань, и будучи сосудом более хрупким, она нуждается в защите усиленной…» Я ходила по улицам Иерусалима или по тропам кибуца и выбирала себе людей красивых, но и некрасивых, мужчин, которые выглядели предводителями, и женщин, которые без сомнения несли в себе вино духовности. Я заглядывала им глубоко в глаза и принуждала их, пусть сами они и не догадывались, продекламировать мне избранные строки из этой библии. «Довольно, чтобы явилось существо противоположного пола, наделенное физическими и духовными качествами, соответствующими условиям определенного человека и его мечтам, и вот вам родилась любовь».

Как я уже писала, я была двенадцатилетней девочкой, может, чуть старше, когда мы пред-

ставились друг другу, я и мой гид по брачным джунглям. И я не рассказывала об этом никому, продвигалась от одной точки к другой, расшифровывала слово за словом, иногда с помощью словаря, и научилась выражаться по книге, но лишь под одеялом — любила, например, открыть ее наугад, пальцем ткнуть в строку из текста и чувствовать себя так, будто мне послано предсказание. И помнится, как раз, когда я прочла: «Существуют люди с ложной эффективностью. Люди, которые очень бедны на эмоции, но играют роль эффективных. Те, которых называют «артистами жизни». Эти люди чрезвычайно редко способны на длительные супружеские отношения».

Мне захотелось умереть. Почему именно мне это выпало, что такая женщина…

«Хэлло, Рафи, любовь моя! — восклицает Нина в ролике, иврит у нее превосходный, без тени акцента, так она говорит на пяти или шести языках, она, эта артистка жизни. — Ты искал меня по всему Израилю, пока не нашел и не привел домой, и не избил его до полусмерти, чуть не убил дракона. Знайте, дорогие зрители, Рафи всегда мечтал спасать принцесс от драконов. И с тех пор мы вместе и не вместе, и тем временем у нас

родилась бедняжка Гили, и теперь мы запутались еще больше, и Рафи снимает про нас фильм», и она машет Рафаэлю рукой.

Я прокручиваю ролик назад. Она и на самом деле в сотый раз все это произносит.

Камера неподвижно уставлена на нее, будто давая ей шанс извиниться, сказать, что все это вранье. Но Нина уже давно стерла всякую мимику со своего лица. Ее нет. Она отсутствует. Но где же она есть, когда ее нет?

А тем временем родилась бедняжка Гили.

Рафаэль в ролике, как и в жизни, не в силах от нее излечиться. Он спрашивает ее, испытывала ли она за все это время какое-то живое чувство по отношению к кому-то. Она довольно долго не может вернуться к тому месту, которое уже стерто. «Да вот было разок… Я ходила в Старый город, он часто посылал меня там покрутиться. Ему нравилось, когда у меня случалось всякое-разное с арабами. Это его распаляло еще больше. И вдруг слышу сербский, настоящий сербский, с таким выговором, как в деревне у папы, у Милоша. Это были три матроса, которые прибыли на корабле в Хайфу, и один из них такой клевый. Я прошла мимо него и бросила ему так, по-английски, как в фильме: «Привет, котик, come on, lose the others»,

и привела его домой, и он просто не верил, что такое с ним происходит, что девушка, которая совсем неплохо выглядит и говорит по-сербски с его выговором, приводит его к себе домой, дарит ему гуд тайм, да еще потом провожает его на автобус. С этим парнем я что-то такое почувствовала».

Молчание.

«Да, это неприятно», — говорит она, и лицо как-то вдруг осунулось.

Камера направлена на нее.

«Что со мной не так, Рафи?»

Рафи не отвечает.

На этом ролик кончается.

Я прокручиваю его снова.

Они жили вместе в квартирке в полторы комнаты, на третьем этаже в квартале Кирьят Йовель в Иерусалиме. Нина работала в химической лаборатории, а Рафаэль работал где придется. Он любил ее всяко, когда она его подпускала и когда отвергала. Может, и она любила его — это меня вообще не занимает, что там она к нему испытывала. Есть такие зоны, которые, когда в них залезешь, тут же тянет наложить на себя руки, и в общем-то зачем мне… Но мимика лица к ней не вернулась. Наоборот. Ее красивое лицо стало еще более бездушным. Он подозревал, что

она специально стирает с него всякое выражение каждый раз, как он смотрит на нее своими любящими глазами. «Будто за что-то меня наказывает», — изумленно говорит он в мою камеру «Сони», и интервьюерша, молодая специалистка по таинствам брака в совокупности с теорией спаривания, тактично молчит.

«И раз за разом, — рассказывал Рафаэль, — Нина возвращалась ко мне после своих блужданий «грязная, вонючая, униженная». Он говорил тихо: «Иногда просто исполосованная, в порезах, в черных кровоподтеках и синяках». При виде его взгляда сразу, бывало, вспыхнет и на него накинется, и не раз случалось, что примется его дубасить, а он обороняется, пытается схватить ее за руки, чтобы утихомирить, но она ловчей его и неуемней. И тогда наступал момент, когда его прорывало, и он начинал колотить ее в отместку, рассказывал Рафаэль молодой и напуганной интервьюерше, которая, как ни напрягала воображение, не могла себе подобное представить. «Но ты ведь ее любил? — спросила интервьюерша задушенным голосом. — Как ты мог ее бить, если любил?» — «Не знаю, Гили, не знаю. Все вместе…» И он раздвинул пальцами верхнюю губу и показал смущенной камере полость рта и пусто-

ту на месте двух коренных зубов: «Два этих зуба я потерял в наших войнах». Молчание. Камера уставлена на него, но драма сейчас у операторши. Потому что вдруг, с сегодняшней точки зрения, ей до боли понятно, что девчонка, та, какой она была, когда все это снимала, сейчас, на наших глазах, расплачивается за свой великий обман: за притворство, что она взрослая.

Кстати, на этой жутко выцветшей и зернистой пленке видно, что и Рафаэль не в своей тарелке. Он без конца ерзает на стуле и ни разу на меня не взглянет. Явно чувствует, что пора бы эту беседу кончать. Что ей не место. Что душевный инструмент той девочки, которой я тогда была, не способен вместить в себя все, что он в нее впихивает. Что это почти преступление. Но ему никак не остановиться. Ему не остановиться.

Когда я снимала его на свою первую пленку, он все же уберег меня от сцен их интима или, во всяком случае, свел их до минимума. Хотя и тут он не усек — и как это он не усек! — что описания их разборок терзали меня гораздо сильнее, мучили меня, как надо.

Оба мы сегодня люди взрослые. Мы сидим в Вериной комнате в кибуце, только он да я, и смотрим — какое отличное слово… — беседу, которую

засняли здесь, в этой комнате, двадцать четыре года назад.

И никогда я ничего не делала с этой пленкой.

Мы оба, и Рафаэль, и я, ничего с ней не сделали. Быстренько запихнули ее на антресоли и забыли.

«Я так жалею, — говорит сейчас Рафаэль, а лицо измученное, — что был таким идиотом!» А я говорю: «Ага», — и хочется заплакать по себе, и я не плачу, никогда не плачу, и оба мы молчим.

Что тут скажешь, когда делать нечего.

Вначале, когда у них с Ниной бывали мирные минуты, почти всегда с помощью марихуаны и галлонов коньяка «Экстра Файн», он еще смел надеяться — и, конечно же, ей об этом не говорил, потому что как такое скажешь… — что, если у них родится ребенок, к ней, без сомнения, вернется и мимика лица. Но и когда Нина родила девочку весом в два с четвертью килограмма — крошечную малышку, почти недоноска, которая выглядела так, будто хочет только одного — испаряться, съеживаться и скукоживаться, пока полностью не исчезнет… даже и тогда она не вернулась, эта пропавшая Нинина мимика. А может, как раз наоборот, ее глаза выглядели еще более пустыми и смотрели всегда сквозь тебя, и казалось, что

они почти не моргают, что в какой-то далекий миг они будто застыли на чем-то, что она вдруг увидела или осознала. Таково было лицо, которое малышка видела перед собой, когда ее взгляд стал концентрироваться и останавливаться на предметах. Таковы были глаза, которые смотрели на нее, когда происходило кормление молоком (в течение трех дней, а может, четырех, тут какой-то туман, один раз Рафи сказал, что трех, а в другой — что четырех), и когда ей меняли пеленку, и когда она старалась осторожно и, видимо, без особой надежды проверить влияние собственной улыбочки на возникшее перед ней лицо, и, может быть, поэтому еще и сегодня эта ее улыбка слегка сникает и заранее отступает назад.

И это все? Никаких воспоминаний? Даже плохих? Никаких минуток баловства, объятий в родительской кровати? Никаких мокрых поцелуйчиков в животик малышки? А что насчет восторгов по поводу первого шажка, первых слов? Где лампочка? Скажи «вода».

Толстая стирательная резинка снова и снова проходится по сознанию.

А Нина исчезла. В одно прекрасное утро мы встали, а ее нет. Наверняка услышала, как свистнули в окно. На частоте, которую только суки вроде нее

способны услышать. Даже зубной щетки не прихватила. Ушла и исчезла на годы. Улетела — так выяснилось потом из писем, которые она стала посылать Вере, — в Нью-Йорк, и тот ее проглотил. И никто ее больше не искал. Внезапно Рафаэль и маленькая девчушка остались одни. Бабушка Вера, конечно, ездила к ним по крайней мере два раза в неделю, тремя автобусами в один конец, привозила корзины с кастрюлями, картинки для раскраски, деревянных зверюшек, которых Тувия вырезал. В другие утра девочку вместе с еще несколькими детьми помладше отводили в ясли, устроенные в квартире соседки, женщины, которая почти не разговаривала, и ее молчание, видимо, прилепилось и к детям, потому что ясли вспоминаются ей как место очень тихое (малость дико, но так ей это помнится). Преданные подруги Рафаэля приходили посидеть с ней по ночам, когда Рафаэль на работе. Он работал санитаром в больнице «Бикур-Холим», сторожем в Иерусалимском библейском зоопарке, заправщиком на бензоколонке. По утрам учился на социального работника в Иерусалимском университете и на кинематографиста на курсах от Министерства труда. Девочка непрерывно его дожидалась. С того времени ожидание — самое заезженное чув-

ство, которое в ней сидит. Непрерывный голод. Ей не удается вспомнить, что она делала, пока его дожидалась. Но даже сегодня она может пробудить в себе чувство этого ожидания, вспомнить, как сжималось все в животе в предвкушении его тяжелых шагов по лестнице. Прошу прощения за третье лицо, которое я вдруг здесь употребила, описывать все в первом лице слишком больно.

Вера умоляла, чтобы они переехали к ней и к Тувии в кибуц, их там ждет новая жизнь. Все, что Нина у них отняла, Вера им возместит. Но Рафаэль, а по-своему, может быть, и девочка — кто знает, кто знает, что нашептывал мир ее животным инстинктам… они будто обязаны были до конца испить заброшенность, на которую их обрекла Нина.

И все-таки, и все-таки, что ж ей помнится из этого времени? Да мало чего. Почти ноль. Молчаливые трапезы. Рафаэль, который стоит перед платяным шкафом и полощет лицо в Нининых тряпках. Настоящий длинноухий щенок, которого Рафаэль нашел и принес ей. И который после недели неуемного счастья сбежал из дома, когда кто-то по ошибке оставил дверь открытой. Или серый послеобеденный час в скверике в Кирьят Йовеле. Молодая мамаша обращается к Рафаэлю

и говорит ему, что для такой погоды девочка слишком легко одета, и они оба, она и Рафаэль, не сказав в ответ ни слова, встают и уходят.

Была, например, жизнь, что проходила под одеялом. Долгие часы, половины дней она лежала под одеялом, и рассказывала истории, и показывала представления. Говорила она там не на иврите. Язык был другой. Язык, который существовал только под одеялом, и она, видимо, не помнила из него ни единого слова, когда выходила туда, где не-под-одеялом. Но одним вечером с нее вдруг сдернули одеяло, и там стоял взволнованный папа, и он сказал ей, что она разговаривала на сербскохорватском, произносила целые фразы. Он этого языка не знал, кроме нескольких слов, которым его научила Нина (папа, мама, девочка, семья и несколько ругательств). Девчушка, разумеется, не понимала, о чем он говорит.

«Но ты вспомни, что нам было и очень классно вместе, — говорит Рафаэль в фильме почти умоляющим голосом. — Я устраивал тебе театр теней, и у нас была целая семейка, которую мы вырезали из картошки, и компания спичек и пробок от пивных бутылок, и мы играли в настольный футбол с гвоздями-игроками и с марблом в ка-

честве мяча, и мы пересмотрели кучу фильмов, помнишь?» Он нагибается ко мне, внезапно вырывает у меня из рук камеру и направляет ее на меня, и пожалуйста: мы видим меня на пленке, как я кричу и протестую, и пытаюсь стереть себя истерическими движениями рук. «Перестань сходить с ума и взгляни, какая ты хорошенькая», — говорит Рафаэль-что-на-пленке и смеется, и я там вроде тоже смеюсь следом за ним: «Вы с Ниной такие красивые, как у вас получился такой брачок?» И Рафаэль-что-на-пленке смеется еще пуще: «Ты и правда чумная, Гили, ей-богу!» И это недостаточно исчерпывающий ответ по поводу того, что отравляло мне жизнь в те годы — я увидела гримасу, которую скривила на пленке, — и это было еще мгновение, когда я ненавидела Нину всей душой, потому что по мне видно то, чего мне недостает, некая «обезвоженность», ибо так оно и есть: как бы я ни обожала своего отца и как бы «Тайны брака» ни прыгали блохами в моем мозгу, пятнадцатилетняя девушка иногда нуждается в маме, даже в маме-кукушке, даже и в греховной, но в маме, которая хоть раз в какое-то время посмотрит на нее как женщина на женщину, которая обнимет ее бестолковое тело, которая скажет ей растроганно: «Ну до чего же

ты женщина».

Именно на этом показ прерывается. Как раз тогда, когда моя физиономия заполняет весь экран. Магнитная эмульсия, видимо, отслоилась, замелькали черные и белые пятна, и мое лицо мгновенно покрылось кривыми полосами и застыло. И что-то вдруг напомнило мне зеркало, которое разбилось после того, как в него посмотрелась Нина, и это так осязаемо и страшно, что мы оба несколько секунд сидим и глядим в отупении, пока Рафи не встает и не отключает проектор от электричества.

Помнится, в диске проектора «Болекс» было 400 футов пленки, первая 16-мм пленка — папина. 11 минут и 11 секунд поджидали нас там, чтобы мы заполнили их приятными картинками. По сей день в моих пальцах — память о движениях рук при вставке и извлечении пленки. Мне было, наверно, лет семь, руки мои и папины вместе двигались в черном, защищенном от света рукаве. Этот рукав был рассчитан на одну пару рук, но нам удавалось протиснуться вместе. Он учил меня, направлял мои тонкие пальчики. При загрузке, а также при открытии кассеты он закрывал глаза и запрокидывал голову назад, и я в подражание ему тоже так делала. В рукаве мы

вместе с закрытыми глазами открывали крышку фотоаппарата, очень осторожно ухватывали кончик новой пленки и продевали ее через ролики. Его толстые пальцы двигались быстро и осторожно. Сегодня с видео и цифровыми технологиями все это кажется смешным, но я с нежностью вспоминаю наши движения. А также ощущение времени того периода. Те 11 минут и 11 секунд, что проскакивают между роликами.

Где я была?

С пяти лет девочка дышала химикатами. Привыкла спать на матрасах в монтажной. Ее отец был, по-видимому, помощником какого-то очень важного человека. У этого важного человека были кошачьи глаза, и он, бывало, смешил девочку, строя ей гримасы. Но больше всего он сидел, склонившись над монтажным столом «Стейнбек», резал ленты и, склеивая их липкой бумагой, что-то себе напевал. Комната все больше наполнялась занавесками из лент. Она, бывало, ходит среди них с широко раскинутыми руками, шелестит лентами.

Рафаэль ездил с ней смотреть фильмы в «Бейт-

Лесине»[7] или в доме Лии ван Лир[8], что на Кармеле в Хайфе. Он подбирал (из мусорных ящиков продюсеров) фильмы, права на показ которых истекли. Таскал фильмы из кинобиблиотеки Гистадрута[9]. Он обучал себя: неделя Антониони, неделя Говарда Хоукса, Фрэнка Капры, Джин Уа́йлдер, Трюфо… Она спала на нем, положив голову ему на плечо. Просыпалась в темноте. В чужих комнатах, видела два отражения фильма в стеклах его очков.

В семь лет, посреди учебного года, девочку привели в школу имени Гершона Агрона и представили перед классом как «девочку, которой следует помогать». С другой стороны, почти в тот же день, что ей открылось письмо, обнаружилось и чудо чтения, и началась новая жизнь.

Ну, хватит. Сегодня утром я много работала. Давно уже столько не писала, да еще от руки. Ладно, еще один коротенький анекдот, и потом мы с Рейшем идем на вечеринку в частную столо-

---

[7] Примечания: 7
Бейт-Лесин — театр в Тель-Авиве.

[8] Примечания: 8
Лия ван Лир (урожденная Лия Семеновна Гринберг (1924–2015) — основательница и директор Иерусалимского международного кинофестиваля.

[9] Примечания: 9
Гистадрут — профсоюз Израиля.

вую, где встретимся с теми, кто знал меня еще в коляске и кто очень тактично не станет морочить меня вопросами про меня.

Когда девочке исполнилось одиннадцать, и она ко всеобщему изумлению и к собственному горю вытянулась до метра шестидесяти — почти недоносок вырос в красивую девочку, — и уже писала тайком экзальтированные стихи и трогательные рассказы о сиротстве, а также перечитала почти все книги для взрослых из библиотеки кибуца и из библиотеки «Фелипе Леон», что в Общественном центре Кирьят Йовеля, и вызубрила «Тайны брака» и «Сад благоуханный»[10], который тоже был найден в библиотеке бабушки Веры и дедушки Тувии (книга, от которой она тоже не могла оторваться, но по-другому), так вот в одно прекрасное утро, когда она перед всей школой стояла на поминальном церемониале Йом а-Зикарон[11] и должна была продекламировать стихи Хаима Гури[12] «Вот лежат наши тела», она вместо этого

[10] Примечания: 10
«Сад благоуханный» — Шейха Нефзауи. Изд-во «Геликон», 2010.

[11] Примечания: 11
Йом а-Зикарон — День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора.

[12] Примечания: 12
Хаим Гури (1923–2018) — израильский прозаик и поэт, переводчик, журналист, кинорежиссер.

прочитала собственный стих-плач, до смерти конфузный, начинающийся словами: «Куда ж улетают улыбки, гримасы с тех лиц, что застыли навек?»

Нина приехала в кибуц вечером, накануне празднования девяностолетия. Потребовались три пересадки на самолетах, чтобы доставить ее в кибуц из арктической деревни, — Рафаэль, разумеется, оплатил полет деньгами, которых у него нет, да и Вера внесла свою лепту, у Нины, как всегда, за душой — ни гроша. Несмотря на усталость, она отличилась — так доложили мне люди, и допоздна вкалывала в клубе для членов кибуца, работала по подготовке к торжеству, и только за полночь, после того, что уже не в силах была в одиночку намыть и надраить полы клуба, она вызвала такси в Хайфу. Она предпочла не ночевать ни у Веры в кибуце, ни в Акко у Рафаэля, решила, что и без того ему насолила, до смерти его разозлила, ну а о том, чтобы остановиться в мошаве[13], в нашей с Меиром съемной квартирке из полутора комнат, конечно, не могло быть и речи. Нина нашла квартирку в квартале Неве-Шаанан, которую сняла через Airbnb на три

---

[13] Примечания: 13

Мошáв — вид сельских населенных пунктов в Израиле.

дня. На большее в ее затерянной епархии средств не было. Из аэропорта в городе Тромсё, что в Норвегии, она позвонила Рафаэлю и пообещала, что напишет Вере поздравление и прочтет его на торжестве. Но утром она уже два раза к нему подошла и шепотом спросила, мол, ничего, что она не написала, и Рафаэль ответил что-то типа: главное, чтобы было от всего сердца, чтобы ты сказала что-то, ей приятное. Нина сказала, конечно, что постарается, поговорит с ней, просто посмотрит на Веру, а затем к ней обратится. «Все-таки мне так много хорошего нужно ей сказать», — сказала Нина и энергично кивнула головой. Но всякий раз, как тетя Хана, проводившая этот праздник, обращалась к ней с немым вопросом, Нина отмахивалась, мол, «потом» или «я — после этой речи», и в конце концов не выступила, не сказала Вере ни слова.

Чем дольше длилось ее молчание, тем заметнее проступало разочарование на Верином лице… И все мы чувствовали, как сильно Нина мучается, но не может, просто не в состоянии произнести в адрес Веры какие-то похвалы. В эти минуты вся семья прыгала вокруг Веры, как тело, которое защищает свой уязвимый орган. Она была своя, а Нина — нет. Нину мы готовы были принять толь-

ко из-за Веры. И кое-что еще: семья всегда знала, что линия раздела между Верой и Ниной — шрам воспаленный, даже злокачественный, и лучше нам, Брукам, к нему не притрагиваться. «Да и все равно, — думает себе рядовой, отсиживающийся в сторонке Брук, — где мне понять, в какие передряги они когда-то вляпались. Почти шестьдесят лет с тех пор кануло, как знать, что там у Веры с Ниной случилось?» И тут же решит: «Бруки в принципе не признают таких вот ковыряний в человеческой психике… да и ладно, семью не выбирают».

Что еще я хотела написать?

Что это наслаждение, как в этой тетрадке все бежит, все сюда влезает.

Я годами не писала ручкой. Считала, что эти мышцы у меня давным-давно увяли.

Итак, с тетрадкой, с пером — по остывшим следам, к далеким уже временам.

Ну, вперед, до боли в запястье!

Мы на праздновании девяностолетия. В клубе для членов кибуца. Мебель — катастрофа. Все выглядит так, будто затерто до дыр еще где-то в пятидесятые годы. Рафаэль с Ниной не виделись пять лет, с момента ее последнего приезда в Израиль. Мы с Ниной тоже не виделись пять лет. Да

и тогда едва обменялись несколькими фразами. И в заключение я ей устроила сцену на глазах всех окружающих. Я выдала там настоящее шоу ужасов, и все вокруг меня запрезирали. Слову «семья» мы, безусловно, придали совершенно новое значение.

В субботу, перед началом празднования, когда все, еще стоя, трепались и штопали дыры в семейных сплетнях, я зажмурила глаза, стала медленно считать от десяти до нуля, и на нуле она вошла. Не могу объяснить это явление. Нина вошла в этот маленький зал, и у Рафаэля упало сердце. Я это видела. И тут же вокруг нее завихрился этакий смерч из поцелуев и объятий, в центре которого Нина просто стояла, обхватив себя руками, будто даже и тут замерзла, и тихо улыбалась, пока наша семейка наслаждалась поводом почувствовать себя капельку за границей, повыкрикивать «о-май-год!» и прочие американизмы, изображающие растроганность и пованивающие лицемерием, и под всем под этим быстро пробежаться взглядом на предмет морщин и кожи, и волос, и зубов. Обычный спектакль. Я увидела сразу, да это и все увидели, что Нина не в лучшей форме. Не только что поблекла ее красота — в этом нас, дурнушек, судьба поща-

дила — и не только, что ее лоб и ее потрясающие щеки и все вокруг губ покрылось бороздками, тонкими морщинками, такими сухими, будто кто-то отхлестал ее связкой крошечных веток. Но что по-настоящему потрясло Рафаэля — так он сказал мне взглядом — это что на Нинином лице вдруг появилась мимика.

Я тоже это заметила. Роль скрипт-супервайзера (английский термин «*Script Supervisor*» — «девушка, следящая за последовательностью», мне нравится) заключается в том, чтобы подмечать такие нелепые скачки, нелогичные нестыковки при обозначении сцен или в тексте. Я взглянула на Нину, и внутри что-то вскрикнуло. Рафаэль уже вскочил и был как не в себе. Я поспешила к нему, взяла за руку и почувствовала, что он опирается на меня и что пульс его скачет как бешеный. У меня в кармане были аспирин и «Изокет» — спрей от стенокардии, я для него всегда их держу при себе. И я ему их предложила. Он отмахнулся от них жестом пренебрежительным и малость обидным для меня. Но тут были смягчающие обстоятельства.

Ну как ты опишешь такой феномен — у человека не было никакой мимики и вдруг она появилась? Конечно, какой-то намек на мимику

и раньше у нее, у Нины, возникал. Честно говоря… она не была ни статуей, ни ледником, ни неким сфинксом, и я так ее изображаю просто для того, чтобы еще усилить и распалить в себе к ней неприязнь, и Рафи утверждает, что тут я сильно преувеличиваю. И все же сейчас она каким-то непонятным образом действительно стала другой, и… можно сказать это с осторожностью и признать с великой натугой, что она вдруг и правда *возникла*.

Тот мальчик, которого украли компрачикосы?[14] Мальчик из книги Виктора Гюго «Человек, который смеется» — компрачикосы изуродовали ему лицо, чтобы он выглядел так, будто все время смеется, это, мол, помогает для сбора денег. Как я боялась в детстве этой книги, этой застывшей гримасы мальчика, нарисованного на обложке, сколько раз читала про его сударыню-судьбу и рыдала!..

Но вот вам вопрос, на который у «Гугла» нет ответа: что заставляет обычного, нормативного человека, никакими компрачикосами в детстве не изуродованного, почти всегда выглядеть без-

---

[14] Примечания: 14

В романе «Человек, который смеется» мальчика крадут компрачикосы — термин, которым Гюго окрестил преступное сообщество торговцев детьми.

участным или равнодушным? Или нелепым? Может быть, что-то с глазами? Тонкие складочки, которые у нее под веками? Взгляд отстраненный, пустой и всегда немного рассеянный?

Из того хрупкого жеребенка, какого она напоминала до довольно позднего возраста, до той встречи пять лет назад, когда я видела ее в последний раз, она сразу перепрыгнула в начало увядания, будто и не побывав в поре женского цветения, женской зрелости.

Никогда.

Ее лицо завораживает моего отца и меня тоже, будто нам показывают какой-то фильм, еще один фильм, провалявшийся где-то десятки лет. Фильм о нашей жизни, которую мы не прожили. О жизни, которая могла бы у нас быть. Нежность и радость, разочарование и печаль, сменяя друг друга, пробегают по ее лицу, и улыбка, о боже, у нее теплая и простая улыбка, где все это было, когда мне это было так нужно? Рафаэль, стоящий рядом, глядит на нее, и у него бешеный пульс и ускоренное дыхание — вроде я об этом уже говорила… и клянусь, что не дам ему из-за нее упасть, хватит, есть предел издевкам над человеком.

Нина заметила шок в глазах Рафаэля, как только вошла в зал. Скрыть его он не мог. Через головы

всех, кто столпился вокруг нее, она, как бы извиняясь, пожала в его сторону плечами, и что-то в этом жесте напомнило мне кадр из фильма, который Рафаэль пытался о ней заснять когда-то в семидесятые, перед тем, как она навсегда от нас сбежала. «Ты считаешь, что продолжишь меня любить, даже когда я буду старой и уродкой?» — спрашивает она его там. Они в постели, а как иначе! На неопрятных простынях, в редкую минуту нежности. «Ты же знаешь, что я за человек, — говорит он ей и слегка раздувается от радостного пафоса. — Если ты вдруг станешь, ну, скажем, горбатой, я тут же полюблю горбуний». — «Да ну тебя! — машет она своей тонкой обнаженной рукой. — Наверняка ты это врал тысяче «горбушек»!»

Потом, после всех произнесенных речей и после Нининой непроизнесенной, и после моего с Ниной несостоявшегося разговора, наше маленькое племя, которое уже вовсе не такое и маленькое, расселось за ломящиеся от еды столы.

Женщины семейства, а также некоторые мужчины, вдохновленные Вериной кухней, настряпали кучу деликатесов. И только мы вчетвером — Вера и Нина, Рафаэль и я — продолжили сидеть каждый на своем месте, немного побитые еще

до того, как по-настоящему встретились. Нина с Верой смотрели друг на друга, и это был взгляд…

На Нинины губы вдруг наползла жуткая улыбка. Мне было ясно, что улыбка эта почти непроизвольная, типа судороги, которую Вера вызывает в Нине самим фактом своего существования, улыбка, как у черепа, в мгновение ока высмеявшая и опровергшая всю лесть и комплименты, которые сыпались на Веру, будто обнажили какой-то скрытый позор.

Я испугалась, меня вдруг пронзил страх, какой мы испытываем, когда вдруг оказываемся свидетелями какой-то черноты в человеке. И я знала, что для такой Нининой улыбки нет перевода ни на какой язык, на котором говорят при свете дня. Я увидела, как моя бабушка вся скукожилась, будто Нинина улыбка иссушила все соки, которые делают Веру такой, какова она есть даже и в ее девяносто лет.

Но тут и сама Нина увидела, что она сотворила со скорлупкой-Верой, и вздрогнула. Встала со стула и неуверенным шагом пошла к ней…

И она опустилась на колени перед Вериным креслом, движением странным, но трогательным — признаюсь, это сдавило меня какой-то неожиданностью, — и она заключила Веру в

свои объятия и положила голову ей на колени, а та склонилась к ней и стала гладить тонкую, хрупкую шею своей дочери.

Движениями долгими и медленными.

Некоторые члены семьи это заметили и дали знак остальным, и все смолкло.

Вера с Ниной будто сплелись друг с другом. И я подумала, что до конца своих дней эти две женщины будут обведены чертой, которая отделит их от всех остальных. От целого света.

Я подумала, что и я, хочу я того или нет, немного отгорожена ею, этой чертой.

Нина встала, я увидела, что вставать ей трудно. Ее тело утратило ту юношескую гибкость, которая в нем была. Она вытерла глаза обеими руками. «Уф! Не знаю, что вдруг…». Вернулась и села на свой стул. Вера вынула из сумочки круглое зеркальце, быстро стерла салфеткой макияж, который размазался в уголках глаз, и подвигала перед зеркалом своими напомаженными губами. Нина смотрела на нее, ела ее глазами, и я на минуту себе представила, что точно так же она смотрела на нее, когда была шестилетней девочкой в Белграде, в их красивой квартирке на улице Космайска, смотрела на свою маму, которая красилась перед… ну, скажем, овальным зеркалом

в бронзовой оправе, украшенной виноградными гроздьями, зеркалом, которое обнимало ее фигуру; и возможно, к оправе этого зеркала была прикреплена маленькая фотография Милоша, светловолосого и серьезного.

Эстер, папина сестра, которая не в состоянии вытерпеть ни малейшей проволочки или сбоя в разговорах, постучала чайной ложечкой по стакану и объявила, что ее внучки Орли и Адили приготовили маленькую сценку по «двум-трем забавным историям», которые Вера им рассказала, когда они готовили школьный проект о своих корнях. Нина напряглась, видимо, не видела ничего особо забавного в маминых воспоминаниях. Две девчонки с черными кудрями, румяными щеками и кучей энергии сказали, до чего же им повезло, что бабушка Вера избрала стать бабушкой именно в их семье, и как своей мудростью и своей великой сердечностью она возвратила всем им радость жизни после того, как умерла бабушка Дуси, дорогая первая жена дедушки Тувии. Они говорили вместе, произнося текст одна за другой, но так слаженно и приятно, как только здоровая семья — браво за оксюморон, Гили! — способна произносить.

Они попросили у Веры прощения за то, что,

может, ей подражая, слегка выйдут за рамки. «Все это от любви», — сказали они, и она махнула рукой и сказала: «Go ahead!» — и девчонки дали знак Авиатару, своему двоюродному брату, и песня Синатры «I did it my way» наполнила воздух розовой ватой. Из-под одного из столов девчонки вытащили чемодан, и тут у скрипт-супервайзерши екнуло сердце, потому что это был тот, тот самый чемодан, с которым Вера пришла к Тувии в тот вечер, когда они с Рафаэлем метали железные ядра; и из чемодана они начали вытаскивать разноцветные нитки бус, длинные и короткие, и надевать их на шею, и под звуки песни стали раскачиваться, производя ритмические, если не сказать, эротические телодвижения — по-моему, это было малость конфузно, — и, подобно цветным ниткам фокусника, девчонки стали вытаскивать из чемодана шляпы, синие и фиолетовые, Вериных расцветок, шляпки маленькие и широкополые, обыкновенные и экстравагантные, европейские и тропические, местные и колониальные. Я с полной уверенностью могу утверждать, что не было ни одной другой кибуцницы или работницы в кибуцном движении, которая бы, подобно Вере, могла совмещать изнурительную работу в коровниках,

курятниках и в поле с врожденной и естественной элегантностью.

Еще одна история: в те дни, когда она переехала к Тувии, бывшему до этого завидным вдовцом, на которого имели виды многие дамы из кибуца, местные начальницы неделю за неделей гоняли Веру по всяким работам типа уборки столовой и мытья в ней полов в промежутке между трапезами. В конце рабочего дня она, бывало, возвращается к Тувии и показывает ему свои потрескавшиеся и вздувшиеся от моющих средств пальцы и свои грязные, поломанные ногти. А Тувия полощет ее руки в теплой воде с ромашкой и потом красит ей ногти лаком — Вера, передразнивая его, высовывала язык, зажатый между губами, — «Выше голову, Веруля», — приговаривал он. И так вот, с высоко поднятой головой и со сломанными ногтями — десять ярких капелек крови (В душе я пролетарка! Для меня никакая работа не постыдна!), — она, бывало, возвращается назавтра на поле брани.

Потом девчонки уселись на чемодан, взялись за руки и совершенным дуэтом, Вериным голосом и с ее акцентом рассказали историю, известную большинству членов семьи: «Когда я родилась в городе Чаковец, что в Хорватии, в восемна-

дцатом году, была еще Первая мировая война, и австрийские солдаты, когда увидели, что Австрия проигрывает, сразу сиганули по домам, и моя мама, которая боялась, как бы они нам чего не понаделали, увезла меня на поезде к своим родителям в Белград. А я из-за того, что есть было нечего, стала жуткая уродина, тощая, с пневмонией, и с насморком, и с кашлем, и мама подымала меня в поезде выше всех, над пассажирами, а там теснота и вонь, и полно пьянчуг, и люди ей кричали: да выброси уже из окна эту хворую кошку! Скоро придут с войны мужики и сварганят детей новых и красивых!»

Маленькая компашка в клубе для членов кибуца покатывалась со смеху. Вера кричала «Браво!» и хлопала в ладоши. Нина, сидящая напротив меня и Рафаэля, покачала головой со странным выражением, смесью веселья и презрения. «Вы только взгляните, как она довольна!» — говорила ее горькая улыбка, и Рафаэль да и я вместе с ним в едином порыве отвели от нее глаза, чтобы не участвовать в союзе с ней против Веры.

«А мой папа, — вскочили близняшки и, стоя, продолжали рассказывать Вериным голосом, — он был настолько военным человеком! Йо! И наша мама все время ему говорила: «Но ведь, Бе-

ла, у тебя в доме нет солдат, а есть четыре дочки!» Но он по-другому не умел, и откуда ему уметь? У него в душе сидел сержант-майор, даже когда в один прекрасный день он уже и в армии-то не служил. И когда он входил в дом, мы сразу вставали в его честь, даже если мы, извиняюсь, сидели в венгерской уборной, сущий кошмар!»

И обе встали на колени, потом поднялись на ноги и прищелкнули каблуками. «Поросль» разразилась хохотом и аплодисментами. «А мама моя очень была закрытая. — Девочки с тихой печалью опустили подбородки на кончики пальцев. — Боялась его до смерти. Все боялись! Ни один человек в городе слова сказать ему не смел!» Близняшки вздернули подбородки и вдруг на секунду стали до того похожи на молодую Веру, что просто не верится, ведь в их жилах нет ее крови. «Как-то раз, мне тогда было лет пятнадцать, — продолжала Вера их устами, — я увидела, как папа поднимает руку на маму. Не знаю, откуда у меня взялся кураж, я без стука влетела к ним в комнату и сказала папе: «Все! Баста! Это в последний раз! Больше ты ей пощечин не даешь! И больше ты на мою маму не орешь!» И папа застыл как вкопанный, и из-за этого я два года с ним не разговаривала…»

Уже в пятнадцать лет — сказал Нинин взгляд, задержавшийся на Рафаэле, — уже тогда была железная.

«А папа, — закончили близняшки, — каждый вечер просовывал записочку мне под дверь: «Может быть, сердитая госпожа слегка смягчилась?». А я — ни за что!»

И снова обе единым жестом вскинули головы с острым Вериным выражением лица, с поджатыми губами, и комната загремела от аплодисментов и возгласов, а Вера соскочила со своего кресла, специально для нее разукрашенного, встала между девчонками, которые на голову ее выше, и помахала в воздухе их руками. «Еще минутку внимания, выслушайте, детки, кое-что еще, что забыли рассказать про моего папу. Раз было так: моя старшая сестра, Мира, ей было уже девятнадцать, может даже двадцать, а в маленьком соседнем городке устраивали такие любительские спектакли, и был один спектакль *очень* известный, в котором Мире дали роль очень важной дамы с длинной сигарой, и вот мой папа выскакивает из зала на сцену и при всем честном народе дает ей хорошую затрещину — бах! «Ты у меня не покуришь!»

«Но, Вера, дай девчонкам отдышаться, ты скру-

тила им руки!» — хохотал Шлоймеле, муж Эстер, а Вера: «Еще секунду послушайте, девочки, чтобы у вас был материал для моего столетнего юбилея: я… с тех пор, как мне исполнилось семнадцать, папа каждый вечер стал класть у моей двери новую пачку сигарет и писал на ней, что он надеется, что твердокаменная соплячка смягчится…»

«Но соплячка так и не смягчилась», — одними губами прошептала Нина Рафаэлю со своего места.

«Что? Что ты сказала?» — Верина голова мигом обернулась назад, в сторону Нины. Трудно понять как — на какой частоте — Вера поймала слова, которые Нина беззвучно о ней произнесла. «Ничего, ноль», — пробормотала Нина. Вера отпустила руки девчонок и вдруг устало прошаркала к своему креслу.

Но тут же пришла в себя, выпрямилась, положила ногу на ногу — и обе ноги, не доставая до пола, закачались в воздухе: «Дети мои, дорогие мои, прежде всего я хочу от всего сердца поблагодарить вас за прекрасный прием, который вы устроили в мою честь, а я очень хорошо знаю, сколько все вы работали здесь вплоть до вчерашней ночи — трудились, варили и готовили, и развешивали на стенах мои фотографии,

чтобы все увидели, какой я когда-то была красавицей!» — громкие аплодисменты в зале. «И сейчас тоже! И сейчас!» — «И ради меня вы приехали сюда со всех сторон, о господи! Откуда только ни приехали, а моя Нина добиралась даже из Норвегии, с тремя пересадками, из своей маленькой заснеженной деревушки, и я знаю, насколько это тебе тяжело, Нина, и как ты занята, и насколько твоя тамошняя работа важна и священна… И несмотря на это, ты нашла для меня время и приехала, чтобы поучаствовать в моем празднике… — Нина поерзала на своем стуле и что-то прошептала. — Ладно, ладно, — торопливо сказала Вера. — Я просто хотела вам сказать, насколько я рада и счастлива, что все вы у меня здесь, кроме моего дорогого Тувии, который, увы, не с нами, и любимого моего Милоша, которого нет уже пятьдесят семь лет, и как я благодарна, что вы с открытой душой приняли меня в свою чудесную семью и позволили мне стать ее частью. И я каждое утро снова говорю спасибо, не Богу, ни в коем разе, и не спорь со мной сейчас, Шлоймеле, не спорь! Ты не прав, и я скажу тебе почему, потому что если бы Господь был, он бы уже давным-давно покончил с собой, хватит, слышали мы тебя, слышали, клерикалист! Над

чем вы так смеетесь, над чем? Что, я не права?»

А Нина сидела, глядела на этот жужжащий семейный улей, в котором Вера — королева без Египта[15], и то, что она видела, и манило ее, и отталкивало (я это ощущала и даже сама чуть-чуть подобное испытывала), и вдруг я почувствовала к ней жалость, к этой женщине.

«Но даже и не рассуждая про Шлоймелиного бога, — продолжала Вера, — я, к счастью, действительно каждый день заново говорю спасибо за то, что встретила здесь дорогого моего Тувию, который подарил мне тридцать два счастливых года совместной жизни, и спасибо, спасибо, спасибо за то, что я встретила здесь Рафи, Хану и Эстер, его детей, которые согласились меня принять, и ведь Рафи тогда еще был мальчиком, ему едва исполнилось шестнадцать, представляете, какое у него сердце, если он согласился на то, чтобы к ним пришла чужая тетка…» На глазах у нее выступили слезы, другие тоже плакали. Глаза у Рафаэля покраснели, да и нос тоже — эта большая

---

[15] Примечания: 15

Египетский фараон *Менес* (ок. 3050 г. до н. э.) сделал пчелу эмблемой Нижнего Египта. Она считалась образцом бесстрашия, самоотверженности, презрения к опасности и смерти, а также стремления к порядку и к идеальной чистоте. Пчелу изображали на гробницах первой династии фараонов (3200–2780 гг. до н. э.). На картушах пчелу изображали перед именем фараона.

пористая клубничина…

Я взяла у него камеру — как всегда, было трудно вытащить ее из его руки, — и очень медленно прошлась по всей комнате. По знакомым лицам, молодым и потертым жизнью, любимым и раздражающим, каждая морщинка и родинка на которых мне знакома. Когда я дошла до Нины, она слегка наклонила голову, и я чуть-чуть на ней задержалась, и точное совпадение движений нас обеих почему-то меня взволновало. Я вернула камеру Рафаэлю и села. Как-то вдруг подогнулись колени.

Празднование продолжалось, шло потихоньку на убыль. Мы попили кофе и полакомились пирогами, которые напекла Вера, а потом стали расходиться. Вера пригласила Рафаэля с Ниной попить на прощание кофе у нее в комнате — перед тем, как разъедутся, она — в Хайфу, в свое съемное жилье, а он — в Акко, в его пустую и тоскливую квартиру. Уже довольно давно у него в жизни нет женщины, и это тоже меня тревожит. Рафаэль без женщины всегда для меня как бы заблокирован, а я люблю своего Рафаэля, когда он разблокирован. Вера, разумеется, предложила мне остаться и провести с ней остаток дня. Но я уже была как на иголках и чувствовала, что

обязана вернуться домой, потому что там меня ждал разговор с Меиром, который, как мне вдруг показалось, нельзя отложить даже на секунду, разговор гибельный, если не сказать конечный. И поэтому все, что рассказано отсюда и далее, — это информация, которую я получила задним числом от моего отца и учителя Рафаэля и слегка дополнила сама. «И снова мы встретились и не поговорили», — сказал Рафаэль Нине, когда она провожала его к машине. Нина шла, как всегда, с опущенной головой, обхватив себя руками. Рафаэль размышлял, вспоминает ли она, как и он сам, о том, что рассказала ему в последние минуты их предыдущей встречи, пять лет назад. Тогда она жила в Нью-Йорке, и сейчас ему хотелось спросить ее, кружится ли она и на новом месте, на острове, что между Лапландией и Северным полюсом, в том же вихре жизни, что тогда, с американскими кобелями. Так она их называла. Но заставить себя об этом заговорить он не мог. Помнил, как себя почувствовал, когда она ему про это рассказала.

В какой-то момент она взяла его под руку, и они пошли медленно, в темпе, который задавала она. «Мне было странно, до чего медленно, — отметил он, когда мне рассказывал. — Ведь всегда, всю

жизнь мне за ней бежать». Они подошли к его машине, «Контессе-900», двадцатитрехлетней старушке, «что в самом расцвете лет», как сказал Рафаэль. «Ну и красотуля! — засмеялась Нина и отскребла ногтем воображаемое пятнышко с залепленного грязью и птичьим пометом лобового стекла. — Судя по всему, бизнес социального работника цветет пышным цветом!» — «И тебе тоже браво!» — сказал Рафаэль. «Почему? Что опять не так сделала?» — «Да ничего особенного, только что ты здесь уже два дня и завтра утром улетаешь черт знает на сколько, и умудрилась не побыть со мной наедине даже пяти минут. — Нина натянуто рассмеялась. — Чего ты так меня боишься? — спросил Рафаэль и сразу вскипел от обиды, что в его стиле. — Мы уже старые, Нина, а мир — поганый и злой. Не пора ли немножко подобреть друг к другу?» — «Какое от меня добро, Рафи? Я просто крест, бревно в глазу, пойми ты уже это наконец, откажись от меня, хватит!» — «Да я уже давным-давно от тебя отказался!» — Он попытался изобразить смех, слова выходили тяжелые, скособоченные. Он увидел, как сжались ее губы. Ему немного польстило, что сделал ей больно, и самому стало тяжело на душе. Это был их давний церемониал, но Рафаэль почувствовал,

что роли как-то сместились. Что у их разговора есть какой-то новый тайный участник.

«Может, все же попробуешь чуть-чуть меня зауважать? Хоть для отвода глаз? — сказала она, и было шаловливое кокетство — в словах, но не в интонации, и голос вдруг стал напряженным. Рафаэль промолчал, пытаясь понять, что он услышал. — Не выходит, да? — пробормотала она с болью в голосе. — И ты прав».

Она вытащила свою руку из его руки, снова себя обхватила и задрожала. Неписаный закон их взаимных истязаний состоит в том, что она испытывает огромную потребность в его отвергнутой нежности и что аксиома его упорной и абсолютной любви — одна из немногих стабильных вещей в ее жизни. «Но тут было нечто новое», — рассказал мне Рафаэль, который почувствовал, как земля медленно уходит у него из-под ног. Он еще попытался ухватиться за нечто знакомое, за их легкий треп: «Иногда, ты будешь смеяться, это у меня как язва желудка или как рана, которую я обязан все время почесывать, чтобы продолжать что-то к тебе испытывать». — «Вот уж с язвой желудка меня еще не сравнивали! — пробурчала Нина с горьким смехом. — Ладно, давай обнимемся и скажем до свиданья. — Она как

всегда его обняла, пару раз похлопала по спине, побарабанила обеими ладошками по пузу. — Как гору обнять», — пожаловалась она ему в грудь, но все же прильнула к нему и так оставалась на минуту дольше, чем обычно. Так сказал мне мой папа, любитель эротических финтифлюшек. Ну ладно, буду беспристрастной и ей подыграю: к нему трудно не прижаться, трудно с ним не пообниматься. Когда прикасаешься к этому телу, крупному и крепкому, что-то на тебя действует — признаюсь, даже и на меня. Как концентрат «Эншур», пробуждающий надежду. И действительно потрясающе («Пиши все, — учил он меня, когда я была его скрипт-супервайзершей, а он еще занимался режиссурой, — пиши все, что приходит в голову, в конце концов все относится ко всему, таков закон!»). И правда удивительно, как такой ломкий, ранимый да и нездоровый человек, как он, может вселять в тебя такое ощущение уверенности и устойчивости. Он же со своей стороны — так он сказал мне — при расставании с ней постарался не совершить ни одной ошибки. Опасался, как бы не забыться с ней и не потерять контроль. «Тело ее осталось почти таким же, как было», — откровенничал Рафаэль, хоть я его и не спрашивала, а, наоборот, настойчиво просила по-

молчать и не вдаваться в подробности — да я ведь и сама ее видела: тело длинное и тонкое, более худое и костлявое, чем было, и те же крохотули — груди — определение с двойным дном, которое я придумала для нее в годы юности и до сего дня я немного им горжусь. Нина рывком клюнула его в щеку, и, к его удивлению, пробормотал он, ее пальцы погладили его мягким движением, которое он уже позабыл.

Он попробовал удержаться и все же спросил, должен ли он прождать еще пять лет, пока увидит ее снова. И Нина сказала: «Поди знай, на этот раз все может произойти гораздо быстрей, чем ты думаешь, моя жизнь — цирк!» И по ее сухому смешку он почувствовал, что Нина ему на что-то намекает и что-то скрывает от него, как всегда, чтобы он попал впросак со своими догадками. До чего же они изнурительные, эти встречи с ней, подумал он. Эти ее болезненные и нервные движения, как колебания маятника, он уже слишком стар, чтобы из-за них страдать. Нина почувствовала, что ему уже невмоготу, и поспешила затолкнуть Рафаэля в его «Контессу», чтобы стало понятно, кто тут командир расставания, и даже захлопнула за ним дверцу и облокотилась об открытое окно. Ее лицо было

рядом с его лицом, и они долго-долго глядели друг на друга. «Ни одна женщина не смотрит на меня так, как она», — сказал мне Рафаэль. «Что значит так?» — спросила я и постаралась сдержаться. «Ну, с такой смесью всякого-разного». — «С какой такой смесью, объясни», — уперлась я. Голос у меня получился этакий автоматический, как у той, что объявляет номер этажа в лифте. «Любви с горем пополам, — сказал Рафаэль и угадал смысл моего взгляда, но не захотел принимать в нем участия. — Или страсти с горем пополам», — сказал он, и я чуть не заорала, с трудом заставила себя заткнуться — какая страсть, какая? Она ведь не считает тебя за человека, а для «сношений», как их называет Вера, у нее полно кобелей, которых она использует одного за другим. Так что?

А в душе я знала, что Рафаэль прав. И что есть в ней и смесь издевки с отчаянием и жестокости с отчаянием. Отчаяние там всегда, это основной цвет ее глаз. И я крепко-накрепко ввинтила в голову этот портрет этих двоих, чтобы суметь его воспроизвести, если когда-нибудь — кто знает? — сниму картину о нем и о ней (версия жертвы). Ее лицо у его лица в открытом окне машины, они не касаются друг друга, но они вместе, в этакой напряженной суровости, постоянно натянутой, как

тетива перед вылетом стрелы. Неужели так же смотрели друг на друга, когда делали меня? Или, может, перед тем, как он кончил, она на секунду его остановила и заставила взглянуть ей в глаза? И предупредила ли его тогда, хоть взглядом, что она на это не способна, что нет в ней этого? Что он делает дочь для одного себя?

А пока суд да дело, родилась бедняжка Гили.

Нина снова положила руку на лицо Рафаэля. На его растрепанную бороду. Это было странно. Он чувствовал, что на этот раз ей трудно расстаться. Она вдруг прикоснулась к его лбу, к тому месту, в которое боднула его сорок пять лет назад и на котором возникла знаменитая шишка, оказавшаяся лишь слабым намеком на те рога, которые вырастут у него в будущем. «Пока, полубрат», — сказала она со вздохом, легко шлепнула ладонью «Контессу» и ушла, и Рафаэль пробормотал свою часть прощальных слов, а я в тысячный раз подумала: «Эй, в общем-то я возникла из брака родственников, чего же странного, что я получилась так себе?»

Рафаэль, направляясь к выезду, медленно объехал маленькую стоянку квартала старожилов и вдруг услышал, что кто-то свистнул ему — свист знакомый, и в боковом зеркале увидел догоня-

ющую его Нину. В этом было что-то необычное. При всех своих бесконечных метаниях по белу свету движения у Нины были как у леди. Она рванула на себя дверцу и уселась возле него. «Поехали!» — «Куда?» — «Неважно, мне просто нужна движуха». И Рафаэль, просияв в душе, нажал на газ, и они тронулись.

«Мы, может, минут десять молчали, — сказал мне Рафаэль по телефону. — Твоя мама сидела, откинув голову назад и закрыв глаза». Как известно, задача скрипт-супервайзерши — уловить все мелкие детали. Например, почти немыслимый перескок Рафаэля с «Нины» на «твою маму», указывает на немедленную опасность. Длинные, с легкими прожилками руки Нины подпирали ее бедра. Он с трудом подавил в себе желание схватить ее руку в свою грубую лапу. Не открывая глаз, Нина спросила, есть ли у него в машине музыка, и он ответил: «Поищу в бардачке», — и малость застеснялся, что она увидит, какой у него вкус. Он и в этой области застрял в шестидесятых с теми же кассетами «The Moody Blues», и «The Seekers», и «Mungo Jerry», но, как видно, у нее не хватило сил или желания открывать ни бардачок, ни глаза.

«Я ехал, — рассказывал мне Рафаэль, — летел,

в жизни так не водил, и чувствовал, что мы, — я услышала в его голосе кривую улыбку, — как пара из фильмов! Ну, в которых мужик похищает свою возлюбленную из-под венца с кем-то другим». Я слушала и не до конца разгадывала его интонацию. Чего это он заговорил голосом девочки-подростка? И Нина, не посмотрев на него и не открывая глаз, сказала: «Рафи, я должна кое-что тебе рассказать. Ты сидишь?»

Он расхохотался, но во рту у него пересохло.

«Со мной, видимо, кое-что случилось».

«Что за кое-что?»

«Проблема. Болезнь».

«Врешь».

«Ну, эта дурацкая болезнь… — продолжала Нина. — Когда забываешь. Сто раз подряд говоришь одно и то же, сто раз подряд задаешь тот же вопрос…» Рафаэль мигом снизил скорость. «Это твой очередной прикол, верно? Ты это несерьезно. Слишком ты для этого молодая». И она повернула к нему голову. «Амнезия, — сказала она. — Деменция, Альцгеймер, ку-ку, что-то из этого семейства. Время еще возьмет свое, видимо, несколько лет, так мне сказали, сейчас я только в начале начал и с полной чашей открытий и новизны. Но поезд уже тронулся со станции. Даже

и сейчас, в этот момент, я понемножку стираюсь, вот посмотри. — Она поднесла руку к его глазам. — Сейчас она цветная, через три-четыре года она станет мертвенно-белой, а потом прозрачной. Нет-нет, не останавливайся!» — «Но я не могу об этом говорить, не глядя в твое лицо». — «Все сотрется, даже ты, даже Гили и, может, даже Вера, хотя такого я не могу себе представить. Езжай! Не останавливайся. Если ты остановишься, я не смогу говорить. — И засмеялась: — Я вроде тех кукол, которых нужно двигать, чтобы они говорили: «Ма-ма, ма-ма!»

Он спросил ее, как она это обнаружила. И Нина рассказала, на сей раз без всяких шуточек. В том месте, где она живет, на севере, на маленьком острове архипелага, что между Лапландией и Северным полюсом, там нельзя хоронить. Слой льда там уплотняется и выбрасывает тела наружу, а белые медведи их съедают и могут начаться заражения и эпидемии, поэтому раз в году все жители проходят проверки, и если кто-то болен опасной или неизлечимой болезнью, он обязан покинуть этот остров и вернуться на сушу.

«Это ужасно, это жестоко!» — пробормотал Рафаэль, а Нина сказала: «Вовсе нет. Там это закон, и тот, кто приезжает туда жить, заранее знает,

что таков закон». «Я не это имел в виду», — сказал мой отец. Ехал он медленно. Водители ему гудели и показывали жестами, что они о нем думают. У него голова трещала от утверждений и аргументов, которые должны опровергнуть то, что она ему рассказала. Она это заметила и вздохнула:

«Брось, Рафи. Дай умереть. Эта жизнь и без того была сплошной прорухой. — И снова громкий смех, похожий на вой. — Может, она и правда не для каждого».

На первом разъезде они развернулись и поехали обратно в кибуц. Рафаэль думал: «Итак, я возвращаю ее под черную хупу…[16] В конце концов оно меня победило, это ее «Дай умереть». Он спросил, знает ли Вера. «Вера узнает через несколько минут, но тебе я хотела рассказать первому, как про беременность. — Он промолчал. — Ты и правда первый, Рафи, я впервые слышу, как вслух произношу эти слова. — Он не в силах был говорить. — Малость больно, что ты так вот молчишь», — сказала она, и ее рука

[16] Примечания: 16

«Черная хупа», или свадьба на кладбище, — иногда восточноевропейские евреи устраивали ее, когда случались холера, тиф, грипп и другие эпидемии. Черная хупа (свадебный балдахин) была установлена посреди могил на городском кладбище, раввин совершал службу, и горожане радовались и приносили подарки из всего, что могло понадобиться новой паре для создания домашнего хозяйства.

отыскала его лапу, и ее пальцы нашли себе место среди его пальцев.

«Это в общем-то довольно логично, разве нет?» — сказала она. «Что тут логичного?» — простонал он. «Логично, — ответила она. — Если пятьдесят с лишним лет ты изо всех сил стараешься позабыть один факт, ну, скажем… что когда тебе было шесть с половиной лет, твоя мама тебя бросила, кинула на съедение псам, так в конце концов ты и все остальные факты забываешь».

«Твоя мама тебя не бросала, — продекламировал Рафаэль то, что он ей ответил. — Ее и саму бросили на съедение псам, в тюрьму, на каторгу, у нее никакого выбора не было». «А ты попробуй это объяснить шестилетней девчонке», — продекламировала Нина свой ответ. «Но ты уже не шестилетняя девчонка», — сказал Рафаэль. «Именно что да», — ответила Нина.

Рафаэль въехал на стоянку Вериного квартала. Он выключил мотор и повернулся к ней. «Сейчас не говори ничего, — приказала она и приложила палец к его губам. — Не сострадай и не утешай». Он поцеловал ее палец. И не осмелился спросить, куда она поедет, если ей не разрешат остаться на острове. Боялся, что вернется в Нью-Йорк, к этим выродкам, которым она обрыднет, стоит

им узнать, что она больна. Он представил себе, как она потонет там в своей болезни и не вспомнит, как вернуться назад, и подумал, что, если будет нужно, он одолеет страх перед полетами и полетит, чтобы быть с ней там или привезти ее обратно в Израиль, если она того захочет. «Все возможности открыты, — сказала Нина, — то есть для меня все закрывается. Шаг за шагом закрывается. Даже интересно смотреть, как все происходит. Все крошечные, микроскопические движения, которые тело сейчас производит, да и душа тоже. Настоящая бюрократия по приему в болезнь еще до того, что я что-то поняла».

В маленьком зеркальце он увидел, как Вера движется, направляясь к ним, — одна рука на талии и сама вся малость скособочена. «Что это значит, так меня бросили и оба исчезли? — возмущенно сказала она. — Нина, ты же сказала, что остаешься на ужин. Я уже нарезала салат. — И сунула голову в машину и потянула носом. — Что такое? — спросила она резко. — Что случилось, детки? Снова перецапались? А ты что плачешь? Что ты ей наговорил, Рафи?»

Нина вдруг схватила руку Рафаэля и стала целовать его пальцы, один за другим. Это была странная дань уважения, смутившая всех троих.

Вера быстро убрала голову из машины и стала смотреть куда-то вдаль. Нина вышла, подошла к Вере и положила ей руки на плечи. «Пошли, майко, — со вздохом сказала она, — надо поговорить».

«А честно? — спросил Рафаэль, когда позвонил мне из машины сразу, как с ними расстался. — Все, что она, твоя мама, у меня отбирала все эти годы, раздувает меня сейчас изнутри, меня взрывает. Я чувствую себя как перед кровоизлиянием в мозг, точно тебе говорю». Когда он позвонил, я была почти перед въездом в мошав, и у меня тоже возникло ощущение, что я вот-вот схвачу инфаркт из-за того, что он рассказал о болезни Нины. Ощущение такое, будто из какого-то сложного сооружения, которое я строила всю свою жизнь, вытащили замковый камень. Первая мысль, которая пришла в голову, — сейчас, когда такое случилось, невозможно провести ту беседу с Меиром, которую я собралась провести. Может, как-нибудь потом. Через несколько дней. «Слушай, Гили, давай говорить откровенно! — кричал, по-настоящему кричал Рафаэль. — Я не шибко талантливый человек, нет, не прерывай меня. В моем возрасте я уже знаю, чего стою. Снимать фильмы, например, я более или менее

умею. Умел. Не Антониони, и не Трюфо, и уж точно не Тарантино, но я это ремесло знал, и если бы здесь, в Израиле, дали мне еще какой шанс и не подставляли ножку под каждую мою попытку, я бы снял фильмы и получше». Я промолчала. Я думала, как ужасно, что мой папа под конец сдался злобным выпадам критиков. «Знаю, что я был искусным портным от искусства, а не гением, но ведь в любой профессии требуются люди типа меня, и, как по мне, это нормально, и пусть обзывают меня слюнтяем, пусть обзывают философом за грош, пусть говорят…» И тут он, как всегда, свернул на боковую дорожку и стал излагать пункты обвинения против него, которые мне хорошо знакомы, которые я десятки раз слышала от него самого и от других, но на этот раз он тут же затормозил: «Ладно, эту жизненную главу я давно закрыл, Гили, вырезал, прочистил рану, чтобы никаких метастазов, и двинулся дальше, и у меня есть профессия, которую я люблю, которая мне гораздо больше подходит, настоящий мир и настоящие люди…»

В этом он был прав. Горечь живет в нем по сей день, но когда мечта о кино рассыпалась на куски, он немедленно совершил повторный запуск. Через полгода после того, как пришел в себя от

инфаркта, схваченного в результате выхода на экраны фильма, он стал работать с организациями «Подростки в опасности», в Акко и в Рамле. Перескакиваю. Есть куча вещей, о которых хочется рассказать, вещей, о которых мне важно написать как можно больше прежде, чем мы отправимся на остров. Я слишком долго ждала, целую жизнь прождала.

На чем я остановилась…

«Папа, — сказала я, — папа, послушай…» — «Погоди, дай сказать. Ты со мной?» — «Всегда». — «Но я знаю, что один маленький талант у меня есть, и может быть, у меня у одного на всем белом свете, не смейся». — «А я не смеюсь, папа. — Я точно знала, что он скажет. «Я умею ее любить. Может, для тебя это звучит слишком пафосно, может, с твоей точки зрения она любви и не заслуживает, но я просто умею любить ее, какую есть. Это моя отличка в мире — любить какого-то человека, полюбить которого трудно. Сделать так, чтобы ей было чуть более выносимо с самой собой». Я услышала сильные удары. Поняла, что он лупит ладонью по рулю. «И именно этого, возможности себя любить, никогда она мне не давала, твоя мама, именно от этого она сбежала на край света. А я уверяю тебя, Гили, если бы она осталась со

мной, жизнь бы у нее сложилась…» Он закашлялся и снова бухнул по рулю. Я представила себе, как он надувает щеки и выглядит как огромный Посейдон, как в былые времена. Как когда я была девчушкой, которая ездила на его плечах, пока он царствовал на съемочной площадке, или когда решил (несмотря на советы всех советчиков и несмотря на давление со всех сторон), что я буду его скрипт-супервайзершей. Да кто такое слышал? Семнадцатилетняя скрипт-супервайзерша, которая ни одного дня в этом деле не проработала…

И не знаю, откуда это взялось именно сейчас, но под его ревущий, израненный вой меня вдруг охватило то ощущение, которое было в теле тогда, когда я работала с хлопушкой, и Рафаэль кричал: «Мотор!», и съемка оживала и заколдовывала Рафаэля, и его воля превращалась в волю всех, кто был на съемочной площадке. И что это было за чувство, не похожее ни на что другое, — быть целиком в его власти, во власти Рафаэля, моего папы… который сейчас вздохнул длинно и со стоном. И снова он толстый лысеющий мужик с толстыми, опущенными вниз губами, который ездит на старой «Контессе» и бормочет про себя: «Я бы мог, я бы мог».

Я глубоко вздохнула и вошла в дом. «Вернулась», — сказал Меир. Он всегда выглядит слегка удивленным. А также благодарным за то, что это вообще происходит. И потом мы постояли. Он прикоснулся кончиком пальца к чему-то у меня под воротником, в общем-то, к ключице. Я закрыла глаза и подождала, пока закончится наше «заземление».

Рафаэль ехал в Акко, и внутри все дрожало от страха за Нину. А назавтра он в семь утра проснулся от ее звонка и обнаружил, что заснул возле компьютера после бессонной ночи, бо`льшую часть которой провел за просмотром сайтов, связанных с ее болезнью. Он был уверен, что Нина давно в самолете. Спросил, произошла ли задержка рейса. «Задержка на два-три дня. Я еще у Веры…» — «Я думал, ты сняла себе квартиру в Хайфе». — «Слушай…» — разрушая его стереотипы сна, хотя прекрасно знала, что Рафаэль пробуждается с трудом и ему, чтобы очухаться, требуется время.

«Слушай, Рафи, у меня была паршивая ночь, мысли такие, что не спрашивай». — «Представляю». — «Может, потому что тебе рассказала. Вдруг послушала саму себя и до меня дошло, я поняла, что все, пришла моя пора. У меня к тебе

просьба». Деньги. Он прокрутил в голове свои скудные программы накоплений и задумался, какую из них можно нарушить без слишком высокого штрафа.

«Вчера после того, что ты уехал и я рассказала Вере, я подумала, что, может, все же это сделаем». — «Что именно?» — «Снимем Веру, как она рассказывает свою историю. — Рафи промолчал. — Она уже не молода, — продолжала Нина, — и я подумала, что хоть раз мы должны аккуратно и с начала до конца послушать, что там на самом деле было». — «Где?» — «На острове. В Голи-Отоке. Но и все, что было до этого. Например, с тех пор, как они с Милошем встретились. У них была такая особенная история любви, и что мы о ней знаем? Две-три сценки, всегда одни и те же, почти ничего». Рафаэль проглотил слюну. Подумал, что Нина даже угадать не может, до чего это уникальная история любви…

«Честно?» — спросил он.

«Абсолютно честно».

«Не уверен, что сегодня ей это подойдет, эта идея была хороша в свое время, когда она была моложе. — Он продолжал что-то лопотать и сам не знал, кого защищает от правды — Веру или Нину. — Она уже не та, что была, ты и сама это

видела». — «Я и сама уже не та, что была, — сухо ответила Нина. — Но мое право, я и ей это сказала, мое право один раз выслушать всю историю, с начала и до конца, разве не так?»

«Да, конечно, любой человек… только вот… На самом деле, чего ты хочешь, чтобы мы сделали?»

«Посадим ее перед камерой, часа на два, на три, может, чуть подольше… и ты задашь ей вопросы. Вот и все. Я тоже то-се спрошу». — «Но я-то зачем тебе нужен? Не будет логичнее, если *ты* сядешь напротив нее и поговоришь с ней как дочь с матерью?» Нина была слишком сдержанным человеком, чтобы расхохотаться или разрыдаться. «Давай мы *оба* с ней поговорим. Ты и я. Ты ведь тоже был малость ее ребенком». — «Не малость!» — прорычал Рафаэль. «Верно, — тут же сказала она. — Прости, Рафи, совсем не малость. Малость досталась мне. — Она сделала паузу, дала прошлому нахлынуть и затопить их обоих, потом отступить и впитаться обратно, туда, где не так больно. — Да ты еще и поснимаешь». Рафаэль снова засомневался. Попытался переварить смысл этого предложения. «Придется взять напрокат оборудование, — пробормотал он. — Ты, конечно же, захочешь, чтобы оно было хорошего качества». И быстро составил в голове список:

камера, чтобы лучше, чем его десятилетняя «Сони», гироскопический штатив, кабель, бленда, наушники…

«Нет-нет! — прервала его Нина. — Не строй тут из себя важную голливудскую шишку, камера самая простенькая, домашняя, непрофессиональная. Та, которой ты фотографировал нас на вечеринке, сойдет в самый раз». — «Прекрасно, — вздохнул Рафи с облегчением. — Как по мне, так здорово».

Он спросил, как Вера прореагировала на ее рассказ про болезнь. «Как всегда, — сказала Нина, — с полным недоверием. Конечно, мол, это ошибка в диагнозе или в лаборатории перепутали анализы, а может, вообще все у меня от головы, что, к великому сожалению, абсолютно точно. Слышал, что я сказала? Можешь смеяться, мне полегчает, если ты продолжишь смеяться над моими приколами. — Он тихо фыркнул, что можно истолковать как угодно. — И конечно, тут же пошла сыпать своими великими медицинскими познаниями, — со злостью продолжала Нина, — цена которым ноль, полный ноль! Потому что Вере только так угодно, и она будет выворачивать фактам руки, пока они не попросят прощения. И, разумеется, по мне ничего такого не скажешь, и

выгляжу я потрясающе, даже блестяще, и главное — это здоровый распорядок дня — и правильная диета — и стакан сока пророщенной пшеницы по утрам, и у нее в Афуле есть потрясающая китаянка-врачиха, и она устроит мне три-четыре сеанса акупунктуры. И все, «конец Абрамчику», — процитировала Нина еще одно из Вериных крылатых выражений, объяснять истоки которых у меня сейчас нет времени, потому что над моей головой начинают сгущаться тучи.

«А я, — продолжала Нина, — еще посмела ей сказать, что с точки зрения болезней самое главное — это, видимо, хорошая наследственность. И она обиделась, да и еще бы, у нее-то в ее девяносто лет голова — дай бог каждому. Нет, она не от нее, эта подлянка, — вслух размышляла Нина. — Может, от отца, от Милоша, только он у меня умер, когда ему было тридцать шесть, и поди знай, в какую бы сторону продвинулся или деградировал. И потом я полночи слышала, как она стучит по клавишам, так-так-так-так, и даю расписку, Рафи, что она уже прочла все сайты, которые про…»

«Значит, осталась ночевать у нее», — не смог он себя остановить.

«Да, не могла я оставить ее одну после всего

этого».

«А меня смогла?» — подумал он.

«Скажи мне… И что… что же Вера сказала про эту твою идею?» — «Что мы ее будем снимать? Не стану врать, что она в восторге. Она ведь все-таки тоже малость в травме от того, что я ей рассказала, — материнское сердце… — не смогла Нина сдержаться. — И на это еще усталость после фестиваля и всего этого тарарама, который вы ей закатили… но ты ведь ее знаешь, она не может отказать ни мне, ни моей просьбе, это же, согласись, просьба приговоренного к смерти». Нина замолчала, давая Рафаэлю достаточно времени для возражений. Он промолчал. Представляю себе, что у нее сердце упало, сжалось от одиночества и страха. «И главное, она не может сказать «нет» шансу поучаствовать в еще одном маленьком шоу при свете прожекторов, даже если этот фильм, может, посмотрим только ты да я».

«И Гили», — сказал Рафаэль.

«Дай бы бог. Но я со своей стороны уже ее освободила, от всего вообще».

Рафаэль молчал. Рана жизни слегка кровоточила. По каплям, не больше.

«Рафи, есть кое-что еще».

«Да?»

«Я все делаю не только ради Веры».

«Да?»

«Говорю это тебе прямым текстом, слышишь?»

«Это еще и для тебя самой, ясно. Ты даже не представляешь, как я рад, что ты согласилась на то… чтобы хоть раз представить ее по-серьезному».

«И себя тоже, понимаешь, да? Я хочу, чтобы ты снял и меня. Есть вещи, о которых я хочу ее спросить».

Он напрягся. Представляю себе, как он осторожно пятится назад. Снова спрашивает, зачем на самом деле ей нужен он, если она хочет взять интервью у собственной матери.

«Ты точно знаешь зачем. С тобой это будет проще».

«Тебе или ей?»

«Нам обеим».

Молчание.

«Но это не вся идея», — говорит Нина.

«Нет?»

«Послушай».

«Она абсолютно меня поразила», — сказал он мне в этом месте по телефону. Я сижу с первой чашкой кофе на подоконнике у себя дома. Я смотрю на Меира, который копает в тени горы, что

напротив, а у меня в руке карандаш, и я почти машинально начинаю записывать в тетрадь каждое папино слово, будто мы возвратились к тем разработкам сценарного плана, когда я была его скрипт-супервайзершей, но карандаш вдруг дрожит в моей руке.

«Я подумала, — сказала Нина, — что, может, поедем все вместе».

«Куда?» — рассеянно спросил Рафаэль.

«В Голи-Оток», — тут же говорю я ему.

«Откуда ты знаешь, Гили?» — поразился Рафаэль.

«Почувствовала, пап», — бормочу я, а про себя думаю: да со вчера, с тех пор, как ты рассказал мне, что она больна. Это как снежная лавина, которая медленно валится на меня, хоронит меня под собой.

«Скажи, а Гили, думаешь, согласится поехать?» — спросила Нина.

«Не думаю, что Гили поедет».

«Это ненадолго, — сказала Нина, будто все дело в продолжительности поездки. — Два-три дня, не больше».

«Так как тебе кажется, Нина, может, сама ей и предложишь?» — спросил Рафаэль.

Гили — та, о которой речь, — рассеянно рисует

атомный гриб над Хиросимой.

«Я? — разразилась Нина горьким смехом. — Да она не согласится услышать даже мой голос. Видел, как она избегала меня весь праздник? Она от отвращения не способна больше минуты смотреть мне в глаза. Но, может, ты ей предложишь? Тебе она не откажет. Попробуй, что уж может случиться? Она тебя не съест».

«Знаешь что? Я ей предложу. Максимум скажет «нет». На этой точке наступило долгое молчание. Я знаю Голи-Оток так, будто там родилась. Я могу проводить там экскурсии. В пятом классе в работе о корнях я сделала картонный макет этого острова. Что-нибудь еще? Мой адрес?

Gili.otok@gmail.com

I rest my case[17].

Рафаэль молчит. Я рисую вершину скалы, что над пропастью и морем. Там, на самой высокой точке острова, моя Вера простояла пятьдесят семь дней под палящим солнцем и не прыгнула. Если я когда-нибудь окажусь на этом острове, я точно знаю, что сделаю. Я поднимусь до вершины горы и простою час или два, и буду орать волнам, и скалам, и пропасти, потому что они там еще с тех

---

[17] Примечания: 17

I rest my case (*англ.*) — «Мне больше нечего добавить».

пор и они часть этой истории.

«Гили выглядит хорошо», — сказала ему Нина. «Верно». — Мой папа рад был это подтвердить и донести до моих ушей тоже. «Она в последние годы похорошела», — сказала Нина. И он ответил: «Ей сейчас хорошо, а по ней все сразу видно». — «А скажи мне…» — «Да?» — «У нее кто-то есть?» — «Да-да, уже довольно долго». — «Сколько?» — «Довольно долго, почти шесть лет». — «Шесть лет, и мне ничего не рассказывал». — «Нет». Долгое молчание. Рафаэль прочистил горло: «Он, кстати, не… не из ее ровесников». — «То есть?» — «Малость постарше». — «Ага». — «На одиннадцать-двенадцать лет, человек особенный, жутко деликатный и со сложной историей». — «А я и не думала, что Гили найдет себе кого-то с простой историей», — сказала Нина. Тут, кстати, было грубое нарушение основной договоренности. Обычно перед их еженедельным разговором Рафаэль спрашивает у меня разрешения рассказать ей то или это из моей жизни, какую-нибудь песчинку. И я непременно ему отказываю. Рафаэль говорит, что всегда, в каждом их разговоре, каждую неделю она спрашивает обо мне, будто чтобы насладиться болью от моего отказа.

«Я с Гили поговорю, конечно», — сказал Рафа-

эль. И Нина ответила: «Только не говори ей, что это моя идея». — «Естественно». — «Предложи ей поехать с нами. Она даже не обязана в дороге со мной говорить. Я готова продолжать быть для нее прозрачным воздухом. Но гораздо лучше будет, и для Веры тоже, если, когда мы будем снимать, Гили будет с нами, и может — как считаешь? — она немножко запишет, что происходит? — Он улыбнулся, щеки его раскраснелись (откуда мне знать? Да просто я его знаю). — Она снова станет твоей скрипт-супервайзершей, — сказала Нина и точно знала, я уверена, на какую из его кнопок нажимает. — Предложи ей сопровождать нас в поездке и описывать «все, что камера схватывает, а главное — чего она не схватывает», разве не это основная цель?» Рафаэль рассмеялся. Мой отец простофиля, его так легко купить! Потом она задала ему еще пару вопросов обо мне, о моей работе, о моих планах на будущее. Тут Рафаэль не стал особо мне докладывать, а я и не давила. Это было, как я уже сказала, грубое нарушение основной договоренности, но с другой стороны, должна отметить, в эти минуты они делали вместе нечто, чего уже многие годы не случалось: своим дурацким и ограниченным способом они были моими родителями.

«Так что ты на это скажешь, Гили?» — осторожно спросил Рафаэль.

«Я поеду».

«Ясно, — вздохнул он. — Прекрасно тебя понимаю. То же я сказал и Нине. У меня не было даже тени…»

«Я поеду».

«Я только говорю, предлагаю, ладно? Что все же… Что ты сказала?»

«Что я поеду».

«В Голи-Оток?»

«Да».

«И будешь с нами, когда станем снимать?»

«Да».

Молчание.

«Но послушай, папа, у меня тоже есть свое условие».

«Все, что пожелаешь, Гилюш. Любое…»

«Этот фильм — мой».

«Что… Что значит твой? В каком смысле?»

«В том, что ты и я все делаем вместе, но при монтаже последнее слово за мной». Меня саму потрясло то, что я выговорила. Так вот ему это выпалить!

Как будто мы многие годы готовились к этой минуте.

«Послушай, это будет… не знаю… непросто».

«Конечно. Сможешь это выдержать?»

«Не знаю. Попробуем».

«Нет. Мне нужно твое обещание. Без него я не еду».

«И не даешь мне времени подумать?»

«Нет».

Молчание. Долгое.

Я не сломаюсь. Я не сломаюсь.

«Согласен».

«И все?»

«А ты дала мне выбор?»

Снова молчание. Очень долгое. Его тяжелое дыхание. Очень надеюсь, что не слишком сильно его задела.

«Пусть будет так», — говорит он.

«Тогда я еду».

«И я могу сказать это Нине?»

«Да. Но при одном условии».

Он снова громко выдыхает, что обычно происходит после того, как он так надул щеки, что они чуть не лопнули. Посейдон, раздувающий паруса кораблей. Мое сердце стучит. Поездка состоится. Вскоре мы выйдем в путь.

«Ладно. Валяй, — говорит он, и в его голосе легкость, незнакомая и слегка подозрительная. —

Очень хорошо. Прекрасно, спасибо».

«Ты меня не благодари. Я делаю это для себя».

«И все же».

«Ты только скажи, где мне ждать и когда. Может, хочешь, чтобы я заказала билеты? И что насчет гостиницы? Машины?»

«Минутку, мне надо… Вау, это… А как у тебя с работой, проблем не будет?»

«На горизонте один проект, но только через несколько недель».

Он подавляет горький позыв спросить, что за проект, кто режиссер. Особенно больно, что этот кто-то явно из его поколения. Я дважды отказывалась от очень недурных предложений именно по этой причине.

«Ну хорошо, я позвоню Нине и доложу тебе про детали… — Хохоток. Может, он, наоборот, испытывает облегчение от мысли, что фильм будет мой, а не его. — С ума сойти, Гилюш, то, что ты сейчас выдала, это…» — Он издает этакий дурацкий вопль и отключается.

Я рисую крупную длинную фигуру с кучей черных кудрей, которая обхватила голову руками, ее испуганные глаза занимают пол-лица. Я смотрю на тень от горы, что напротив окна. Там работает мужчина, высокий и худой. Моя печальная ра-

дость жизни. Рваные джинсы, черная футболка, бритая голова, блестящая от пота. Даже повернувшись ко мне спиной, он чувствует, что я на него гляжу. Он перестает копать, оборачивается на меня, опирается на мотыгу, может, уже чувствует, что я решила по нашему с ним поводу. Может быть, вчера, когда мы делали «заземление», он все ухватил. Он вытирает пот со лба и застенчиво машет мне рукой. Я с облегчением вздыхаю: он не знает. И машу ему в ответ. Когда вернусь с Голи-Отока, скажу ему, что он свободен.

То есть свободен от меня. Свободен меня оставить.

«Нет у меня права мешать тебе стать отцом», — скажу я ему.

Вот, это записано.

Между Рафаэлем и Верой происходит осмос. Каждая частица информации, которая поступает к одному, тотчас передается ко второму. Не дольше чем через семь минут после разговора с ним, зазвонил телефон. «Гили! — прогромыхала моя бабушка. — Рафи только что все рассказал! И мне тут же захотелось сказать, до чего я тебе за это благодарна!» — «Не за что меня благодарить, бабушка, я это делаю и для самой себя тоже». — «И все-таки это очень важно и для твоего папы, и

для меня, а больше всего для Нины». — «Ладно, коли так, постараемся это выдержать. Как дела, бабулик?» — «Слушай, этот вчерашний праздник, который вы мне закатили, с ума сошли, ей-богу! А потом Нина рассказывает, что, как ей кажется, с ней такое, ты ведь слышала, и я немного поискала в компьютере, и уже места себе не нахожу. А ночью, как подумала, что мы поедем туда, на Голи, да я еще не знала, что и ты едешь… и вот лежу в кровати, и думаю, и вижу, как все это прокручивается, как в кино, и кое-что из этого я вам уже рассказывала, а кое-чего вы не знаете… и у меня до самого утра был такой мандраж… Я знаю, Гилюш, что ты всегда чувствуешь всю мою боль, всю печаль…»

Что-то в ее тоне, в каком-то слегка затуманенном его зигзаге напомнило мне вдруг то, что она мне сказала у себя в кухне, когда я была еще подростком, а она мною руководила — что она никому не позволит исказить ее историю, направив против нее.

И вот настала минута, когда я должна была спросить ее, правда ли то, что я помню или считаю, что помню, — то, что она рассказала мне как-то ночью, много лет назад, когда я лежала почти при смерти в интенсивной терапии «Хадассы», с

перерезанными венами и нафаршированная для верности коктейлем из таблеток, — все из-за того, что этот… никто и звать его никак… после трех лет любви меня растоптал: в одну прекрасную ночь он покинул мои объятия и вдруг, смотрю, сидит на кровати и этак раздумчиво глядит вниз, на пол, что само по себе странно, потому что вдумчивость — никак не главная его добродетель. И потом он проводит рукой по своим потрясающим пшеничным волосам и говорит мне: «Слушай, Гили, мне это не подходит». И я гляжу, куда он смотрит, какая тайна жизни там ему открылась, и вижу, что это мои домашние туфли. Которые чуть больше его собственных туфель, клянусь! И на этом построена вся великая драма. После трех лет жаркой любви и разговоров про души-близняшки, и про то, что ты родилась для меня, и клятв насчет совместного будущего. Бабушка Вера три дня и три ночи просидела со мной в интенсивной терапии, требуя от меня не умирать. «Гили, не умирай, Гили, ты не уходишь от нас, Гили, выше голову». А мой папа крутился по коридору и просто-напросто рычал, как раненый лев, его слышали на всем этаже, и каждый раз охранники его прогоняли, и каждый раз он обещал замолчать, и, как только приближался к моей койке, из

него снова исторгались рыки, и пока я лежала в интенсивной терапии, Вера без продыха со мной говорила, не спала, вытягивала меня откуда-то-где-я-пребывала, три дня и три ночи почти не ела — мой папа рассказал мне, когда я очнулась, — и, чтобы не задремать, раздирала своими ухоженными ногтями кожу на своих руках. И даже когда я лежала в искусственной коме, я ее слышала или мне казалось, что я слышу, как она рычит себе в трансе: «Ох, до чего же мы, женщины из рода Бауэр, безумицы в любви, любим своего мужчину больше самих себя, больше жизни». И была в ее голосе какая-то странная гордость, такая, что даже в этом своем жутком состоянии я чувствовала, что его не должно быть здесь, что он не подходит к этой ситуации, и она будто намекала мне, что ну вот теперь я принята в какой-то избранный клуб женщин, которые идут до конца. И в тумане второй или третьей ночи, в какой-то мглистый час, когда она за меня сражалась, я услышала из ее уст или, может, в себя впитала, как порой информация без слов переходит от одного человека к другому (а то мне это просто пригрезилось на пустой желудок, пусть и промытый от тридцати таблеток клоназепама и двадцати таблеток акамола)… я впитала нецензурную версию того,

что произошло в допросной УДБА[18] в Белграде; того, что угробило жизнь Нины и продолжает отравлять нашу семью, уже три ее поколения.

«И вдруг сейчас Рафи мне говорит, что и ты тоже с нами едешь, и вы вместе сделаете твой фильм…» — ликовала Вера по телефону.

А я уже почти и решилась, и на кончике языка завертелась строчка из стихов: «…Было явью иль сном наяву?»[19], но вдруг я оробела, испугалась, что не сумею кому-то помешать (но кому?) обратить ее историю против нее же самой. Побоялась, что уже не смогу ее любить. «И то, что ты едешь с нами, еще больше пробудило меня от какой-то спячки, Гили, ведь я уже думала, что, может, я и правда полная старуха, Мафусаил[20], вот я кто! — Она рассмеялась. — Стара, как Библия! И столько

---

[18] Примечания: 18

Служба государственной безопасности Югославии. Во все времена известная просто под аббревиатурой UDBA (УДБА), в последние десятилетия она состояла из шести полунезависимых тайных полицейских организаций — по одной на каждую из шести союзных республик Югославии, — координируемых центральным федеральным штабом в столице Белград.

[19] Примечания: 19

Строка из стихотворения Рахель Блувштейн «Может, этого не было вовсе» в переводе А. Гомана.

[20] Примечания: 20

Мафусаил — в Библии — дед Ноя, проживший 969 лет. В переносном смысле: мафусаилов век — долголетие.

лет была этаким дряхлым медведем, который всю зиму спит, а сейчас — ого-го! — наступила весна, и мне снова нужно сражаться за жизнь и за правду того, что случилось».

И в качестве первого шага в подготовке к сражению моя девяностолетняя с гаком бабушка взобралась на стул, поставленный на стол, проползла в антресоли и вытащила оттуда гигатский чемодан, не тот, что был у нее в канун свадьбы, а тот, с которым они с Тувией ездили в свои путешествия, ведь эта парочка добралась до Японии, и Патагонии, и Норвегии. И пока она реверсом сползала с антресолей — меня оторопь брала от одной мысли, что она, в ее-то годы, все это проделала сама, взгромоздила стул на стол, влезла и спустилась вниз; я представляла себе, что у нее голова застрянет на антресолях, а ее тонюсенькие ножки в джинсах задергаются снаружи, — в голову приходил Луиджи Гальвани с его экспериментом над лягушкой, и тут, выползая задним ходом, она наткнулась на пыльную картонную коробку, на которой когда-то черной тушью написала «Гили — Всякое/разное», и в ней моя огромная камера «Сони» и несколько развалившихся видеокассет, и одна кассета запыленная, но целая, мой первый и последний фильм, снятый в пятнадцатилетнем

возрасте и в жизни не показанный на экране, который, может быть, сейчас обретет жизнь вместе с тем, что мы снимем на Голи-Отоке.

Четверг, 25 октября, 2008

Шесть утра. Беспошлинная зона в аэропорту Бен-Гурион. Ждем, когда внутри круга освободится стол. Вера с Рафаэлем тихо переговариваются в сторонке, изредка бросая на нас взгляды. Мы с Ниной стоим друг против друга, как две наказанные девчонки, которые не смотрят друг другу в глаза. Рафаэль достает из заплечного рюкзака «Сони», а мы с Ниной снова, с поразительным единодушием отодвигаемся друг от друга. Он снимает. А я отворачиваюсь, показываю ему спину. Демонстрировать мою утреннюю физиономию — это уж точно ни к чему. И мысль о том, что мы с Ниной окажемся в одном кадре, вызывает у меня клаустрофобию. Он приближается с зумом к Вере. Маленькое сильное лицо, крепко сжатые губы, красная помада и сердитые жесты рук. «Да хватит уже, Рафи, тут есть девицы и покрасивей!» Он оставляет ее и переходит к Нине. Весело крутится вокруг нее, а у нее нет сил его прогнать. Она глубоко зарылась в синюю фуфайку, принадлежавшую когда-то Тувии, и это тоже выводит меня из себя. Ну-ка вспомни, как ты отравляла

жизнь ему и Вере, а теперь в нее кутаешься? И несмотря на это, мне никак не прекратить на нее смотреть. Эта ее бледность. Лицо без кровинки. Губы прозрачные. У нее почти нет грудей. «Она выглядела женственней всех на свете, — как-то раз сказал мне Рафи. — В первые недели, как тебя родила».

«Ну, это-то ясно почему. — Я изящно откидываю назад пышные пряди волос. — От соприкосновения со мной…»

Что он как мужчина в ней нашел и что он все еще в ней находит — господи боже мой… Почти все женщины, которые у него были после нее, были женщины что надо. Не всегда гении чистой красоты, но на достойном уровне. А он уже сорок пять лет припаян к ее тощей заднице!

Он не перестает крутиться вокруг нее с камерой, и она безмолвно страдает, понимает, что это типа налога за поездку, который она обязана заплатить. Кутаясь, она отстраняется, но полностью от него не отрезана. Я наблюдаю. Невозможно отрицать, что между ними что-то есть. Что превращает этих двоих в пару? Какая-то искра? Сродство? Совместимость? Миллисекундная, как бы случайная задержка зрачка при взгляде? Все вместе. А самое главное — ощущение дома.

Нечто, подобное родине. Тебя занесло, Гили, определи, что значит родина. Может быть, это то место, где ты всем телом чуешь, когда должен поменяться цвет светофора? Неплохо, но когда речь о двоих, Гили, о двух людях, что превращает этих двоих в пару? Может быть, это то же, что и со светофором?

Мы с Меиром шесть лет вместе, и в моей жизни это первый такой спутник. Но сейчас он хочет ребенка. Хочет уже довольно давно. В силу своей деликатности он перестал об этом говорить, но это все время висит в воздухе. А я не могу, не способна я на ребенка. Чертов ребенок!

И несмотря на тоску по нему, я изгоняю из себя Меира и самую себя тоже. Сейчас не мы предмет для размышлений. До нескольких ближайших дней я его вычеркиваю из памяти. Он не относится к этой поездке. Нет Меира, нет Меира с Гили.

Я размышляю, например, о том, что мой папа, когда был подростком, решил, что, если он переспит с Ниной, к ней вернется ее мимика, и о том, как детские романтические глупости определили судьбу для него, и для нее, и для меня тоже. И как эта его дурацкая и наглая затея превратилась в конечном итоге в абсолютную любовь, которая уже не зависит от того, сделает ли Нина что-то

или не сделает, будет ли с ним или не будет. Как ни странно, эта его любовь вызывает во мне уважение к моему папе, которое весьма снижается в данный момент из-за того, как он не дает ей покоя своей камерой. Ну честно, сколько людей его возраста продолжают испытывать такую яркую, преданную, собачью, просто-таки пожизненную, иногда несчастную любовь, да еще и неразделенную?

И сейчас Нина тихо говорит: «Рафи, хватит», и он тут же все прекращает, будто пришел в себя после какого-то приступа, и стоит в сторонке, и вытирает платком лоб. Годами я умоляю его перейти на бумажные салфетки, но тут мы имеем дело со стилистом, упрямым до безобразия.

В свитере с ромбовидным узором, который связала ему Вера.

Он стоит одиноко, обтекаемый потоком людей. Они все спешат к какой-то цели, и лишь он стоит столбом, выглядит человеком, не принявшим никакого решения. Все правда, у него есть уличные шайки, четыре крутые шайки в Акко и Рамле, он относится к этим братанам как к собственным детям, это я без преувеличения, а они видят в нем своего отца. Но что с ним на самом деле будет, что улучшит его жизнь, если он откажется от сердеч-

ных конвульсий, причиняемых любовью к ней?

И тут он на меня оборачивается и кивает, будто услышал мой вопрос.

А сейчас маленько потрудись, Гимель, чтобы Рейш не сказал, что ты бесплатно ешь чужой хлеб.

Нина, как я уже писала: вздутая синяя фуфайка, светло-серые джинсы, тонкий синий ремешок с маленькой серебряной пряжкой. Голубая блузка анемичная, как она сама, и синяя вязаная кофта с круглым воротником. Волосы собраны в пучок, некрашеные, серовато-седоватые. Очки в тонкой зеленой оправе. Ни колец. Ни серег. Ни браслетов. Ни часов. Только тоненькая серебряная цепочка на шее. Туфли плоские, без каблуков. Никакого грима. Никогда не красилась. К чему я вообще составляю это описание, которое абсолютно не нужно для того незначительного семейного фильма, который мы снимаем? Потому что мы с Рафаэлем, как всегда, готовим наш фильм с величайшей серьезностью.

Потому что, может быть, кто знает, из этого выйдет нечто другое, более существенное?

Поэтому я выполняю работу в духе его учения, как говорил мне Рафаэль, мой отец и наставник, который требовал от своей юной скрипт-супер-

вайзерши полной ответственности за все, даже и помимо фрейма. «Даже то, что почти случилось, это тоже часть реальности». Кажется, мне было семнадцать, когда он взял меня под свое большое крыло и по-своему, жестко учил съемкам и режиссуре, а больше всего настаивал на том, чтобы я писала. — «У тебя есть глаз и рука, может, твое призвание — это как раз письмо», — говорил он не раз и не два, чтобы я записывала вещи, которые не торчат явно и в открытую, какие-то ассоциации, даже случайные припоминалки о людях из группы работников, и моим детским и хаотичным идеям и воспоминаниям он придавал значение. Он также не боялся чужих влияний, как те некоторые режиссеры, с которыми я сегодня работаю, работаю и иногда чувствую, что для них изобилие — это просто дурной вкус.

Он учил меня обилию мыслей, внезапно пришедшим решениям, этакой искрометности, «идеям-плутовкам», как он их называл, так он говорил, у него терминов было навалом, не занимать, и мне нравилось думать, что и сама я его идея-плутовка. Однажды я даже сморозила глупость и в присутствии посторонних сказала, что выскочила на свет божий из его головы, как, прошу прощения, Афина, родившаяся из головы

Зевса, и он аж пожелтел. Я увидела, что ему это здорово не понравилось, и он тут же выдал прикол, что, скорее всего, я выскочила из какой-то шишки, которую Нина ему набила, когда он был мальчишкой. И так вот сумел притянуть Нину и сюда тоже, и снова я осталась в дурах, да уж ладно.

И ради полноты переживания: я стою посреди аэропорта Бен-Гурион и принуждаю себя думать, например, что происходило с Ниной начиная с той субботней вечеринки. Я пытаюсь представить себе картину, как она рассказывала Вере про свою болезнь, как это на самом деле происходило, минуту за минутой. Возникла ли или не возникла на Верином лице легкая гримаса порицания или даже презрения к Нине из-за того, что та заболела, что побита, что сдалась («Нина избалованная, — не раз говорила она мне, — нет у нее жизненных сил, которые есть у меня и у тебя, Гилюш. У нас, что поделаешь, наследственность перепрыгнула через поколение»).

Она, Нина, взглядывает на меня и вдруг вся как-то концентрируется, направляет на меня перепуганный взгляд, а я тут же напрягаюсь: что она увидела, какие мои мысли уловила, и начинаю моргать глазами и этим отталкиваю ее от

себя. Эй! Что с тобой? Завис компьютер? Погасить и включить снова?

Она закрывает глаза, лицо вдруг желтеет, я кричу Рафи, чтобы бежал сюда, но еще до того, как он успел сдвинуться с места, она делает шаг вперед и падает — падает? Рушится на меня. «Извини, — бормочет она, — извини, Гили. — Я каменею, а она не отпускает. — Извини, не знаю, что случилось…» Она все еще извиняется мне в шею, еще больше наваливается, а я тоже не шибко люблю, когда кто-то, кроме Меира, меня трогает, или когда обнимает папа, который не успевает заснять нас вместе. Вот что больше всего меня бесит — вместо того, чтобы сдуть ее с меня, он изгиляется заполучить этакий елейный и отвратный кадр. И к тому же у меня исчезает всякое чувство реальности, потому что вдруг — кожа, и кожа как раз теплая, нежная, и вдруг запах шампуня «Дов», которым по совпадению пользуюсь и я, и тело, ее грудь, — я чувствую, как она прижимается ко мне, мягкая такая, где она ее прячет? И мягкость щеки, и руки, такие деликатные.

Она крепко прижимает меня к себе, эта женщина, которая тридцать шесть лет назад отрезала меня от своей жизни, сделала аборт, это ж надо,

превратила меня в выкидыш, с этакой забавной задержкой в три с половиной года… потому что я ведь уже была бедняжкой Гили, уже родилась, довольно миленькая, если верить нескольким свидетелям и фотографиям, а эта взяла да и выскребла меня из себя, а сейчас вон втыкается головой в мою шею, и я вместо того, чтобы отшвырнуть ее ко всем чертям, стою и не шевелюсь. И кстати, как вдруг выясняется, она до ужаса легка. Оказывается, у нее не только сердце отсутствует, но, видимо, нет и всех прочих внутренних органов.

А ведь только подумать, сколько тонн она весила, пока ее не было!

Папа продолжает снимать как сумасшедший, обходит нас со всех углов, сшивает нас вместе. Лицо у него сияет, опущенные мясистые губы наливаются соком. Этот мужик целую жизнь ждал этого удара хлыстом. Я вижу, что он меня предает, и знаю, что нет у него над этим власти. Ведь это мой папа обклеил губкой углы полок и столов, когда я училась ходить, и вот, пожалуйста, сейчас он как чеканутый меня предает.

И тогда я хватаю ее за талию. Там нет и тени плоти. Я могу сейчас, перед камерой разок с силой нажать и расколоть Нину напополам. Две

половинки осы упадут на пол. Только что вдруг моя рука гладит сзади ей волосы. Ну как тут не лопнуть! Можно ли осознать нормальным умом, как это моя рука, можно сказать, плоть от плоти моей, вдруг крадет эту ласку, как последняя побирушка? Волосы у нее прямые и очень тонкие. Мои пальцы очень быстро проходятся по ним до того места, где она их собрала в пучок, и я касаюсь этого маленького пучка, господи, для волос тут имеется резинка, обтянутая тканью. И только тут я прихожу в себя, обеими руками отстраняю ее от себя. «Только посмей, — говорю я ей вежливо и тихо, прямо в ее ухо, нежное, как листок с дерева, странное, как ушко девочки, — больше не смей ко мне прикасаться, ясно? Свой шанс ко мне прикасаться ты просвистела, когда мне было три с половиной года, и теперь у меня на материнские излияния нет времени».

Не уверена, что мне удалось произнести всю эту речь. Сердце колотилось, и я только тяжело дышала. Может, сказала из всего этого только пару слов. И кстати, так я не говорю ни с кем и никогда, даже в самые трудные минуты на съемочной площадке, когда фильм получился идиотским и вместе с режиссером разваливается у меня на глазах. Из меня полилась вся эта клоака

вместо того, что я заранее готовила и повторяла дома? Мы с Меиром это репетировали, я его до ручки довела. Но он не жаловался. Приспособленец. Я перед тем, как выйти из дома, уже готовила в голове заметку для газет, пять-шесть предложений, отточенных и взвешенных, которые мне важно было обнародовать перед тем, как мы выедем в дорогу, и я хотела, чтобы Рафаэль и Вера стали свидетелями: у меня к тебе чувств нет, ни хороших, ни плохих. Ты давно перестала причинять мне боль. Всю жизнь ты была чем-то несуществующим, вот и сейчас продолжай не существовать. Я еду в эту поездку только для того, чтобы сохранить воспоминания бабушки Веры, догоняешь?

У меня есть подозрение, что ничего из всего этого я не сказала.

Она открывает на меня огромные глаза. Глаза у нее потрясающие, тут ничего не скажешь, самая живая в ней часть. Верины глаза. Ярко-зеленый изумруд. Здесь «наследственность» не перескочила через поколение. Она отпутывается от меня и цедит сквозь зубы Рафаэлю, чтобы перестал снимать, и он подчиняется. Люди смотрят. Она приводит в порядок свою одежду и волосы, кото-

рые сбились в процессе «Фархуда»[21], который она здесь учинила. Руки ее слегка дрожат. Ощущение, что то, что с ней случилось, на самом деле потрясло и саму ее тоже. Такую бледность даже она не способна изобразить. И вдруг до меня доходит: может, она боится, что это знак? Симптом ее заболевания?

Ночью я немного почитала про ее болезнь. Сама Нина интересует меня как скорлупка ноля, но все же существует какой-то интерес к наследственным заболеваниям, которые через нее струятся в будущее. Так вот, там и правда немало говорится о потребности больного, в основном на начальной стадии, прикасаться, ласкаться и обниматься даже с совершенно посторонними людьми (ага! Может быть это объясняет ее блудливость? Может такое быть, что все эти годы я попусту клеветала на больную и беспомощную женщину?).

Я делаю знак Рафаэлю: может, не стоит? Погляди, в каком она состоянии. Как можно так ехать? Вера подошла, встала напротив Нины,

---

[21] Примечания: 21

Багдадский погром 1941 года, известный также как Фархуд, — погром, произошедший в Багдаде 1–2 июня 1941 года. Британские войска сражались против сторонников пронацистского правительства аль-Гайлани, но не успели дойти до Багдада.

положила обе руки ей на плечи и гладит ее руки, еще и еще, и эти движения рук почему-то всех нас успокаивают, даже чуть гипнотизируют. Мы стоим и глядим на нее и на этот ее жест, и он будто переходит прямо на меня из рук Веры, той, что предала Нину, той, что бросила меня, хад гадья…[22] Нас зовут на посадку. Рафаэль снова начинает снимать, но теперь терминал. Пара индийских стюардесс, несчастная собачонка в специальной клетке, работник аэропорта провозит длинную змею тележек. Все сцены, которые потом пригодятся нам при монтаже. Семья с парой белокурых ангелочков-близнецов стоит за нами и нами интересуется. Рафаэль объясняет им, что мы едем на поиски своих корней. Сперва отправимся в город, в котором родилась бабуш-

[22] Примечания: 22

Хад-Гадья — песня на арамейском языке, распеваемая при заключении затрапезных церемоний в первый и второй вечер Песаха; по форме и содержанию является народной колыбельной песнью. Долгое время ее считали аллегорическим стихотворением, иллюстрирующим принцип возмездия, провозглашенный в Исх., 21, 24–25 («око за око»); в действительности же она является подражанием одной германской народной балладе, в свою очередь позаимствованной из древней французской песни. Дословный перевод ее таков: «Козлика, козлика отец мой купил, два зузим за него заплатил; козлика, козлика, одного только козлика. Кошка пришла и скушала козлика; козлика, козлика и т. д. Собака пришла, кошку укусила за то, что скушала козлика, и т. д. Палка пришла, собаку ударила… Огонь пришел и палку сжегший… Вода пришла и огонь погасила… Бык пришел и воду выпил… Резник пришел, быка зарезал… Ангел смерти пришел, унес резника… Пресвятой, да будет благословенно Его имя, явился и ангела смерти низверг…

Ангела смерти, унесшего резника, зарезавшего быка, выпившего воду, погасившую огонь, сжегшего палку, ударившую собаку, укусившую кошку, съевшую козлика, которого купил мой отец за два зузим, козлика, козлика, одного только козлика».

ка — он сказал «бабушка», будто Вера — этакая маленькая миленькая бабулька, миссис перчик, — а потом поплывем на остров, где она была в заключении, почти три года на каторжных работах, Рафаэль любит поговорить с чужаками, страстно желает превратить их в не-чужаков. Если бы смог, обратил бы всех жителей земли в не-чужаков.

В окне самолета — горы, поросшие лесом. Тяжелые тучи, ниже гор. В самолете почти темно. Если погода будет такой же и завтра, мы на Голи-Оток отплыть не сможем.

В какой-то момент мы с папой встречаемся в очереди в туалет. Он бледный и вспотевший. Его терзает аэрофобия. Я спрашиваю его, имеет ли он представление, что готовит для нас Нина. Она хочет, чтобы ей изготовили какой-то фильм. Фильм про Веру? Про Нину и Веру и про то, что между ними произошло? Где центр тяжести?

У него ответов нет. Он попросту не знает. В одном из телефонных разговоров по поводу подготовки Нина ему сказала, что у нее есть одна идея, но обозначить ее не смогла. «Это еще не доварилось», — сказала она, и когда Рафаэль стал на нее давить, ответила, что только на месте, на острове, она почувствует, готова ли она к этому.

Насколько я помню, наш разговор проходит у двери в туалет и заканчивается, когда папа туда вошел.

Он там задерживается. В последнее время он с этим делом малость медлителен. А я как человек, который в глазах публики имеет к нему отношение, воспринимаюсь стоящими в очереди его представительницей и принимаю на себя их возмущенные взгляды.

Рафаэль выходит. Заходит Гили.

Быстро чистит тут и там, уничтожает следы преступления, хотя никто не заподозрит, что именно я ответственна за здешний бардак. Ладно, помимо всего прочего он еще и мой папа, и я малость за него ответственна.

Загреб сверху — красивый город. По окнам самолета струится дождь. Приземление хорошее. Я узнала, что хорваты тоже восторженно аплодируют автопилоту. Паспортный контроль. Все проходит гладко. Мы разделились: Веру с Ниной оставили сторожить чемоданы. Мы с Рафаэлем отправились получать напрокат машину. Рафаэль снова пошел говорить, на сей раз на камеру, о той минуте на Верином дне рождения — минуте, которая потрясла и меня тоже, — когда Вера помахала в воздухе малышом Томом, и в этом

движении на мгновение обрисовался целый круг жизни. «И вдруг этакая банальная мысль, что Веры-то скоро не станет», — сказал Рафаэль, когда мы ожидали, пока клерк из «Ависа» со стрижкой «ирокез» пригонит нам «Мазду», сказал, что эта мысль чудовищно его ранила, будто речь идет о смерти человека очень молодого, в самом расцвете лет. «И вот, — с удивлением добавил он (этот чудный Рафаэль иногда в душе такой случайный турист…), — вдруг ощущение, что ты и сам еще ребенок, который в любой момент может потерять свою маму. Мысль довольно-таки нелепая для человека в моем возрасте, да еще такого, который разок уже осиротел», — с искренним удивлением сказал он в камеру, которую я держала перед ним. И в этот момент я увидела то, что видела не один раз при документальных съемках: как вещи обычные и банальные, если человек произносит их в присутствии камеры, камеры отзывчивой и сочувственной, внезапно проникают в него так, будто он услышал их впервые, и рассказ, который он много лет подряд себе рассказывал, вдруг дает трещину.

Рафаэль замолчал, рассеянно провел рукой по своему крупному лицу, растрепанной бороде и высокому, изборожденному морщинами лбу,

подарив мне истинный пейзаж своей души, незащищенной и истерзанной, и потом опомнился: «Хватит, Гили, фильм — он не про меня, он про Веру, помни об этом все время». Но я уже начала думать иначе. «Он про нас про всех, — сказала я своему папе, — и про тебя тоже, и про Нину, а может быть, немного и про меня, никто не останется не при делах. И еще я подумала, что это будет классический фильм про беду, только что у нас это беда в стиле slow motion, жизненная беда обыкновенная, с которой мы научились жить и которая ест нас чинно, чайной ложечкой».

Рафаэль сказал: «Ладно, гаси камеру, жаль батарей, вон, наш мустанг уже прискакал». Я повернулась вместе с камерой — сегодня-то есть камеры, которые движутся очень легко и плавно (однажды, когда разбогатею…), — и увидела маленький желтый «лимон», который весело к нам катился. И у меня потемнело в глазах: ну что за дура, ей-богу, с чего вдруг так поскупердяйничала? Рафаэль ясно мне велел на машине не экономить. А я, как всегда, тряслась из-за предстоящих расходов, из-за личного папиного бюджета. Из-за того, что он самый старый социальный работник

в Израиле и, как библейский Ханина Бен Доса[23], от одной субботы до другой довольствуется корзиной рожковых бобов — этакий король уличных шаек (об этом я уже вроде говорила).

«Лимон» остановился возле нас, и из него, как косточка, выскочил клерк. Рафаэль кинул на меня взгляд, который говорил: «Как ты до такого додумалась?» Он стоял и скреб себе лоб. Сам он втиснется сюда только с помощью рожка для обуви, а вчетвером мы здесь просто задохнемся. Слияние рядов в полном смысле этого слова. Мы станем единым целым. Но очень скоро выяснилось, что «лимон» маленький, да удаленький. Для чемоданов, рюкзаков и для папы нашлось место, а я села рядом с ним, и даже было куда вытянуть ноги, сзади, видимо, тоже оказалось терпимо. Нина с Верой сидели там в молчании и мрачности, может быть, все еще не пришли в себя от полета или наконец-то до них дошло, что мы здесь все вместе на жизнь и на смерть.

«Бермудский квадрат», — написала я в своей тетрадке, и Вера наклонилась вперед и спросила: «Что это ты там пишешь?» — «Да просто так, для себя. Всякие инструкции. Чтобы не ошибиться

[23] Примечания: 23

Раби Ханина бен Доса — прославленный еврейский чудотворец, ученый и праведник.

при монтаже». И Нина из всех накинутых на нее одежек поинтересовалась: «Инструкции типа чего?» Я промолчала. Вера сказала: «Гили, твоя мама что-то у тебя спросила», и я ответила: «Она мне не мама».

Едем. Я сражаюсь с потрясающе современным GPS, который упорно дает указания по-хорватски. Вера жалуется, что его указания напоминают ей голос из лагерных громкоговорителей. Нина, закутанная в свою куртку, сидит как огородное чучело.

Двенадцать дня. Вера раздает нам бутерброды. Еще двести километров до Чаковца, родного города Веры. Направление — северо-запад. Мягкие холмы. Полно зелени. Целое море. Вера начинает издавать сдавленные звуки, говорящие о ее волнении. Обеими руками хлопает себя по щекам. Задирает палец: «Йо! Какие леса! Какие горы! Какая красавица моя родина!»

Мелкий дождик. Красивая игра света и туч. Я делаю кадры. Рафаэль ведет на редкость хорошо (мужик был режиссером кино, сегодня он работает с самыми трудными ребятами, и при этом я всегда удивляюсь, когда он проявляет какое-то умение в практических делах).

Мне удалось уломать GPS. Думаю, что до нас в

этой машине ездили израильтяне: указания на иврите звучат голосом Шимона Переса[24].

Чаковец. Крупнейший административный центр. Пятьдесят тысяч жителей.

Дождь кончился.

Сейчас и я начинаю волноваться. Здесь родилась Вера. Здесь она была девочкой. Всю свою жизнь я слышу про этот город, про дом, про магазин — «фирму» — и про беззакония моего прадеда. И я уже сожалею, что у меня не было времени на то, чтобы подготовить себя и испытать какие-то эмоции. Все произошло так быстро. Вечеринка в честь Веры, приезд Нины, известие о ее болезни.

Да и просто гражданская растроганность переполняет меня — я за границей!

Уже семь лет нигде не была.

Я чувствую, как израильские страдания с каждой минутой с меня опадают (тут же наполняя меня другими страданиями).

Городская стоянка. Ряд 3, место В. Идем пешком в центр города. Вот, здесь все начинается. И на самом деле происходит. Я с тетрадкой в руке. Рафаэль перед нами. Снимает нас, делает мне знак, чтобы записывала впечатления, мысли.

---

[24] Примечания: 24

Шимон Перес (1923–2016) — израильский политик и государственный деятель, чья политическая карьера длилась более семидесяти лет.

Я записываю. Цветочные клумбы, кафетерии, зонты от солнца с эмблемой «Кока-Колы», скульптуры, черепичные крыши, голуби. «Записывай». Нельзя знать, что именно нам понадобится, когда начнем делать фильм.

Главная улица Чаковца. Мирный тротуар. Тишина. Только где-то наигрывает музыкальная шкатулка. Многоэтажек нет. Есть клены (вроде бы. Для верности сфотографировала своим телефоном). Дома из красных и белых кирпичей. Церковь светлого цвета. Кафетерии, почти все пустые. Пары, прогуливающиеся с детскими колясками. «Записывай». По всей улице лежат, развалясь, большие спящие собаки. Есть в них что-то младенческое и вызывающее доверие. Вера бежит впереди, покачивается на своих тоненьких ножках. Здесь было так, а здесь — так. Подходит к пожилой женщине с миниатюрной собачкой, украшенной ленточкой: «Прошу прощения, мадам, вы случайно меня не узнаете?»

И все это время Нина не произносит ни слова. Идет сзади. Голова опущена. Будто ищет что-то, что потеряла.

Неужели это та женщина, что сделала черной мою жизнь?

Каждую минуту, каждую секунду, даже и не

глядя, мое тело знает, где она сейчас.

По дороге к дому, где Вера родилась и провела детские годы.

Мне кажется, что она малость трусит перед встречей. Просит, чтобы сперва мы остановились, набрались сил в кафе. Заявляет, что на всех Балканах есть только одно сто`ящее кафе. Быстро ведет нас по узким переулкам, без всякой карты, находит кафе под названием «Кабана Рояль», знакомое ей еще с детства. Как это ни потрясно, она абсолютно не сомневается, что оно все еще там и больше восьмидесяти лет покорно ее дожидается. «Ну как можно ей не позавидовать?» — шепчет мне на ухо Рафи, пока обходит меня и охотится за ней со своей камерой.

Как это ни странно, кафе все еще существует. Вера сама не своя от возбуждения. «Здесь! Йо! Здесь мы, бывало, сидим. Папа с друзьями играет в преферанс, а я ем клубничное мороженое!» Над баром висит афиша, оповещающая о выступлении гипнотизера. Из его бокового зуба брызжет серебряная звезда. Старший официант — по правде говоря, он же и официант единственный, но усы как у Франца Иосифа I, за что и оценен, — указывает на висящую на стене стеклянную витрину и в ней — потрясающий фарфоровый сервиз,

изысканные чайнички, тончайшие, красиво разрисованные чашечки для чая. «Господа, точно такой же сервиз был у короля Георга в Букингемском дворце! В Лондоне!»

Есть ли в Чаковце синагога, он не знает. «Но есть памятник евреям города, которые погибли в большой войне. Их забрали в Освенцим». «Моих папу с мамой тоже туда забрали», — говорит Вера. «Это был ужас! — говорит официант. — По сей день нельзя осмыслить, что такое случилось». Он говорит это просто и искренне. В глазах блестят слезы.

Возле нас в кафе сидит немолодой человек и читает газету, прикрепленную к деревянной рамке. Он слышит иврит, подходит, отвешивает поклон и просит разрешения на минутку к нам подсесть. Бородка, очки. Коричневый замшевый пиджак, заплатки на локтях, все как надо. Профессор славянской литературы. Он наводит нам какой-то порядок в балканском балагане. Рассказывает о войне, которая была здесь в 90-е годы. «Да нет же! — вскипает он, когда я делаю ошибку. — Это была не гражданская война! — Лицо его становится красным. — То была варварская военная атака со стороны сербских солдат на сербских танках!» И уже невозможно его остановить. Он

без перерыва читает нам лекцию о реках крови, и резне, и изнасилованиях. Четыре члена его семьи убиты соседями и лучшими друзьями.

Мне становится плохо. По-настоящему плохо. До того, что начинает кружиться голова. Эта кровь, это злодейство, сам этот человек.

Профессор продолжает свою лекцию, а я пытаюсь записывать и для того, чтобы проявить уважение к этому человеку, и просто для общего образования. Я довольно быстро устаю, начинаю там и тут пропускать записи, чертова пустышка. Помни, что сделал тебе Амалек[25]. Мы с Рафи обмениваемся незаметными взглядами на нашем с ним внутреннем языке. Этот балканский господин — целый салат, а я только три часа назад приземлилась, и у меня в Израиле — собственная волшебная коллизия, которую я уже тоже не до конца понимаю.

Дом, где Вера родилась, стоит на главной улице, неподалеку от кафе. Мы спешим туда. Вера все время на несколько шагов нас опережает. Когда мы подходим, она уже стоит там и указывает рукой: «Это здесь, ребятки, я здесь родилась». Я

---

[25] Примечания: 25

Амалек — библейский ветхозаветный персонаж; сын Элифаза, внук Исава. Амалек — первый враг, напавший на евреев после того, как они, свободные, вышли из Египта.

отнимаю у Рафи камеру. Он уступает ее с трудом. Я фотографирую Веру на фоне дома. Историю этого дома я знаю наизусть. Его изначальное место — это «Коммерческий дом Бауэра», который был Вериным отцом, моим прадедом, а вся семья жила на втором этаже. Папа, мама и четыре сестры. Сегодня на первом этаже — большой филиал Zagrebačka banka (Загребского банка), а на втором этаже — частная квартира. Можно заглянуть в запертые ворота и увидеть большой запущенный сад. Я снимаю на камеру. Без конца мечусь между видео и стоп-кадром. Фотоаппарат в моем телефоне испорчен, выдает снимки с белыми пятнами и длинными трещинами. Я спрашиваю Веру, не хочет ли она, чтобы мы попробовали проникнуть в ее семейную квартиру на втором этаже.

«Здесь нет ничего из того, что было, и мне нечего там искать».

Но она охотно рассказывает: «На самом деле у нас тут была хорошая жизнь, богатая. У нас в доме были кухарка, и моя гувернантка, няня, до десяти лет, и девушка, которая убирала комнаты, и садовник, и еще один человек, который ухаживал за деревьями в саду за домом, и была печка, которую топили дровами, керамическая

трехэтажная печь…»

Она описывает нам гостевую комнату, гигантскую, светлую с толстыми коврами, с закругленной лестницей, ведущей на второй этаж. Возле кухни был «шпайз», чулан с подвешенными там колбасами и большими матерчатыми мешками, набитыми рисом, мукой и сахаром, и с банками гусиного жира, бочонками маринованных огурчиков и квашеной капусты. А в подвале на соломе — картошка на целый год…

Рафи просит камеру, он весь раскраснелся от эмоций, глаза его смеются. Поездка начинает его увлекать. Он концентрируется на мне. Оставь ты меня в покое. Но он упрямится. Просит, чтобы я объявила о начале поездки. Я не сильна в подобных спичах, но сейчас вдруг вспоминаю: «У Моти Бахарава[26] есть строка: «Перед тем, как заново родиться, точненько проверь, где ты находишься».

Рафи спрашивает, где бы мне хотелось родиться.

«С чего ты взял, что я бы хотела родиться?»

Он отскакивает от меня, ищет объект помягче и поподатливей. «Вера, ко мне, ко мне. Расскажи

---

[26] Примечания: 26

Мордехай (Моти) Бахарав (1941–1990) — поэт, актер, драматург, режиссер, литературовед и учитель драмы.

нам что-нибудь про своих родителей. Там была любовь?» Если он ищет в них источники вдохновения для абсолютной любви Веры и Милоша, то он не туда попал.

«Любовь? — смеется Вера. — Нет, нет, она в конце концов к нему привыкла, но моя мама была женщиной очень закрытой, и у них между собой были большие различия. Он, например, любил веселье, гулянки, а она — нет. Он каждую зиму на Рождество ездил в Будапешт. Брал с собой каких-то пятьдесят тысяч динаров и переходил из кафе в кафе, ходил в театры, бог знает куда и к кому еще. И он кутил! Он танцевал! Так они, венгры, Рафи, услышат цыганскую музыку и — рюмки вдребезги! Так вот и мой Милош. Уж какой был деликатный и застенчивый, а плясал как черт. Ты бы по нему не сказал. Когда он со своей крестьянкой-матерью пускался в пляс, у них ноги земли не касались! И она, моя свекровь, так вот с платочком…» И она кружится на улице, бьет кособокую чечетку в своих спортивных ботинках фосфорно-фиолетового цвета. «Вот это сцена!» — Рафаэль мне улыбается, довольный как черт.

Но где же Нина? Ведущая, она, как известно, еще и собака, стерегущая стадо, а Нина по всем показателям и бродячая кошка, и паршивая овца.

Стоит, повернувшись к нам спиной, опустив голову вниз, выглядит малость не в себе.

Вера рассказывает: «Когда мне было двенадцать, я в первый раз всерьез задумалась, что вот я еще сплю у себя в кровати под всеми одеялами, а к нам уже пришла служанка и затопила печи в комнатах и в душе, чтобы, когда я встану, когда господа встанут, им было тепло. И эта мысль в первый раз начала крутиться у меня в голове».

«Какая мысль?» — спрашивает Рафи.

«Мысль об ответственности перед людьми, и мысль про деньги и про бедность. Потому что я ездила в гимназию на поезде, и из всех деревень в округе вдоль рельсов в темноте шли пешком дети. И там, в гимназии, была печка, и на нее клали чулки. А я вернулась домой и спросила: мама, может, ты разрешишь двоих-троих таких детей привезти к нам домой? И три мои старшие сестры очень на меня рассердились: «Этих вонючек со вшами? Ну, девочка, ты и идиотка!!!»

А мама как раз согласилась, но в доме с ней не считались, и она села и стала читать мне книжку «Мать» Горького, и тогда я поняла, что мама на моей стороне, и тут у меня внутри стало что-то бурчать про бедных и богатых и про несправедливость, которая царит в мире».

И вдруг она обращается ко мне: «Что ты там все время пишешь, Гили?»

«Я записываю то, что ты рассказываешь, бабуля. И то, что мы снимаем, и то, что вокруг». И то, что не сказано, и то, что глазом не увидишь.

«Да? И к чему это?»

«Так мы с Рафи работаем, это нам потом поможет, когда станем делать фильм».

Партизанка, что в ней, неспокойна. Женщина, которая после мировой войны два года проработала в контрразведке Тито, неспокойна. Она с прищуром меня оглядывает. Тот факт, что я уже почти сорок лет ее внучка, не работает в мою пользу. Ее правый глаз почти вплотную приближается ко мне: «Что, например, ты пишешь прямо сейчас?»

Я читаю: «Вера в душе коммунистка. Верно сказано?»

«Нет! Нет, нет и нет! Видишь, хорошо, что я спросила! В душе социалистка, это да! И только потом я пришла к коммунизму, но, упаси господь, не к сталинскому коммунизму… Не к коммунизму убийц!» И снова она глядит на меня неуверенным взглядом. Ее чувства ее не обманывают. С тех пор как мы вышли в дорогу, а также в предшествующие этому дни, я слегка от нее

отдалилась. Всякий раз, как наши взгляды встречаются, я передаю ей предупреждения в стиле: ты — моя бабушка, и я тебя обожаю, и ты спасла мне жизнь, когда я была маленькой девочкой, и занималась мной и моим папой после того, как Нина нас бросила, и ты растила меня как свою дочку, больше чем дочку — Нину, свою дочь, ты так не растила, и ты спасла мою жизнь еще раз, когда я совершила попытку суицида, и целый год ты подкармливала меня всякими запеканками, и супами, и пирогами, варила для меня, и пекла для меня, я не забываю этого, бабушка, но если в эти дни, когда мы все вместе будем здесь, ты не расскажешь своей дочери того, что рассказала мне в ту ночь в интенсивной терапии, я, ей-богу, не знаю что сделаю.

На самом деле я знаю.

Я расскажу ей сама.

Но зачем мне ей рассказывать? Вот ведь вопрос. С одной стороны, думаю, пусть она, эта Нина, всю жизнь крутится, так и не узнав, что на самом деле сгубило ей жизнь. Это то наказание, которое я ей предписала: чтобы до последнего своего дня она чувствовала, что вся она — просто великая какофония, курица с отрезанной головой, которая всю жизнь бежит и не понимает, что с ней случилось.

А с другой стороны…

А есть еще другая сторона?

И даже притом, что ради малышки, которой я была, ради девочки, которой я была, я не имею права ей в чем-либо уступать, никогда — так я себе поклялась, взяла на себя обет, что нельзя предавать эту малышку, эту девочку, потому что кроме меня за них некому отомстить, и все же… когда она так вот тащится за нами…

Не знаю. После сегодняшнего утра, после того, как она упала на меня в Бен-Гурионе, мне вдруг не нравится то, что она во мне будит.

То, что она гасит мою злобу, мне не нравится.

Все еще на улице, возле дома, где Вера провела свои детские годы: «Когда мне было пять лет, мне удалили гланды в частном санатории, и мама сказала: «За то, что ты хорошо себя вела, и не плакала, и не боялась, ты получишь подарок». И что это было? Пятилетняя девочка в первый раз в жизни пойдет в оперу! Не помню, какую давали оперу, но в перерыве был певец в парике судьи, и он пел: «Фуникули — Фуникуля».

И она стоит посреди улицы и поет по-неаполитански. Вокруг нас собирается маленький кружок, несколько человек поют вместе с ней, двое в ритм машут шляпами, один дробит ас-

фальт своей тростью. Вера дирижирует обеими руками — белая пластмассовая сумка с позолоченным замком висит на ее согнутом локте, и она счастлива. Сияет. Люди ей аплодируют. А я как-то… с тех пор, как Нина в субботу приехала на день рождения, она все время малость портит мне ту бабушку, которая у меня была. Без всякого усилия, просто этим своим взглядом она заставляет Веру выглядеть чуточку… как бы это выразить… в нарциссическом спектре.

«Мы в Чаковце, — говорит Вера в камеру тоном гида, — недалеко от венгерской границы, недалеко и от австрийской границы. Мы ездили в театр и в оперу, и в Будапешт, и в Вену. Это была наша культура, и венгерский был нашим родным языком. Так что я не балканская еврейка и не из идишистского местечка. Я еврейка из Центральной Европы! Самой настоящей Европы! Таких европейцев, как я, уже не осталось!»

Маленькая аудитория ее слушателей, жители этого городка, иврита, естественно, не понимают, но ее пафос покоряет их сердце. При их аплодисментах она склоняет голову в благодарном поклоне. Надо ее поторопить. Скоро зайдет солнце. И перед нами еще большая дорога. Жаль, жаль, что у меня не хватило времени как следует

организовать эту поездку. Хорошо бы остаться здесь еще хоть на один день. Болит душа, когда думаешь, что это ее последнее сюда возвращение.

Быстрым шагом идем к школе. В этот час дня она пуста и заперта. Скучное здание, лишенное всякого своеобразия. Черепичная крыша, трубы. Представляю себе маленькую Веру, как она здесь прыгает-бегает, верткая, солнечный зайчик. Вера: «Я была самой маленькой девочкой в классе и по возрасту, и по росту. Я как шестилетка, а им будто по восемь, и в классе была девочка, Ягода, так ее звали, и она с моего первого дня в школе стала вроде моей телохранительницей. А через неделю после этого я уже была ее командиршей по всем фронтам. И всегда, когда мы шли на прогулки на снег и в лес, я брала Ягоду за руку и говорила ей, куда мы идем, и что будем делать, и когда вернемся…»

Нина в стороне от маленькой группки жителей города молча кивает головой, лицо потерянное, весела, как желчный пузырь, насильно заставляет себя выполнять роль раненого уличного пса, который тащится за нами, но знает, что сейчас мы поднимем камень и в него бросим.

Вижу, что Вера разрывается между растроганностью, вызываемой этим местом, и болью за

Нину. Мне все это уже вот тут. «Скажи, — подхожу я к Нине, — ты с нами или нет? Мы ведь все это делаем ради тебя. Или я ошибаюсь?»

Она поднимает ко мне лицо, с которого стерто всякое выражение. «Господи, — вдруг пугаюсь я, — она ведь едва жива. Она хватается за ствол дерева. Может, мы не соображаем, в каком тяжелом она состоянии. Может быть, она рассказала нам не всю правду». — «Для меня это чуток многовато, — с трудом говорит она, а губы белые. — Я не представляла себе… Потихоньку, ладно?»

«Что тебе многовато-то? Мы еще ничего и не начинали. Ты еще даже и не родилась». Я от нее отваливаю.

«Гили».

«Что теперь?»

«Я о чем-то подумала…»

Я стараюсь стоять перед ней, изображая полное нетерпение. Эта женщина сохранит меня навеки молодой или по крайней мере навсегда трехлетней.

«У меня возникла идея, Гили, и я думаю, что, может…»

«Насчет идей — это к Рафаэлю. Обратись к нему», — бросаю я ей и исчезаю.

И возвращаюсь. «Дать водички?»

«Нет. Мне просто нужно поговорить».
«Рафаэль будет рад».
«Гили…»

Штандер! Слово, которое я только что написала: Гили с тире.

Это было так: подросток, каким я тогда была, шестнадцатилетняя девчонка, продолжавшая к великой своей печали вытягиваться до метра семидесяти, еще и с челюстью, как у добродушного боксера, и вся в прыщах, поехала в Хайфу, в контору Министерства внутренних дел, чтобы исправить только что полученный от государства паспорт. В конторке перед ней сидела горгона Медуза из министерства, и она ни за что не соглашалась вычеркнуть из паспорта имя матери. И девочка, которая из-за своего роста и габаритов не смела закатывать сцены или привлекать чье-то внимание, уже собралась исчезнуть несолоно хлебавши, как вдруг за секунду до того, как сдаться, она к собственному изумлению спросила, нельзя ли добавить к ее имени имя Нина.

Эту свою просьбу она кинула в воздух почти как вопль «Штандер!» и тотчас стерла ее из памяти, потому что нельзя же поверить, что для такой фантазии найдется место в действительности. Когда через две недели по почте пришел новый

паспорт с именем Гили-Нина, девочка почувствовала себя так, будто кто-то совершил над ней магический обряд. А когда ей исполнилось восемнадцать лет и рост стал метр семьдесят семь («Господи, — думала она в те дни, — а что, если это вообще не остановится? Если она продолжит расти, как в дурном сне? И где та красная черта, которая положит этому конец?»), девочка вернулась в ту контору Министерства внутренних дел в Хайфе. И на этот раз перед ней сидела улыбчивая рыженькая девчушка, которая подрабатывала там в летние каникулы, и она с легкостью и без всяких драм отрезала Нину от Гили. И Гили с виноватым видом похотливого мужа, который не может с собой совладать, еще и спросила, а нельзя ли, простите, оставить ненадолго только тире, просто для интереса. И девчушка спросила: «Что вы имеете в виду?», и Гили тихо произнесла свое имя с тире, как неоконченный призыв к кому-то там, и девчушка долго и внимательно на нее смотрела, может быть, что-то схватила, и, оглянувшись по сторонам, прошептала, что это совершенно не принято — имя с тире, но, знаешь, давай попробуем, что уж может случиться, и если кто-нибудь спросит, скажем, это просто ошибка.

На улице. День. Опять возле родительского до-

ма. Наш маршрут по Чаковцу слегка хаотичен и извилист. Маленькая кучка поклонников рассеялась, и мы снова вчетвером. Вера: «Брак у моих папы с мамой удачным не был. Это я вам, детки, уже говорила. Она с самого начала его не любила, а он, это я тоже говорила, без конца ей изменял. И я была, скажем так, ее подружка. Со мной она говорила обо всем, мне она изливала душу. Не ему и не трем моим старшим сестрам.

Двадцать лет назад, помнишь, Рафи, на семидесятилетии, которое вы мне устроили так красиво, сюрпризом, три мои сестры приехали в кибуц из Югославии, собственными глазами посмотреть, как эта дура Вера живет и отказывается от частного состояния. Мы провели вместе несколько дней и что делали? Говорили о том, что было. И вот мои сестры меня спрашивают: «Как ты сблизилась с этим сфинксом, с нашей мамочкой, она ведь никогда не смеялась и не плакала».

Нина поднимает голову. Вспоминаю: когда они приехали из Югославии, у Нины в кибуце было прозвище: Сфинкс.

«И я спросила сестер: вы когда-нибудь маму о чем-то спрашивали? Вы что-то знаете о ее боли? Вы делились с ней своим задушевным?» — «Нет». — «И почему же нет? Вы к ней ничего не

испытывали?» — «Может быть, наша мама не была для нас таким интересным человеком». — «Ну вот, а мне любой человек интересен! Нет человека, у которого за душой — ноль. Вы, например, знали, что она от папы беременела восемь раз, и он ей делал аборты на столе?» — «Нет… Не знали… А ты-то откуда знаешь?» — «Потому что со мной она разговаривала, и мне она рассказывала, и меня она с собой брала каждый раз, когда шла к той женщине это делать!» — «Тебя она брала?» — «А кто у нее был-то, кроме меня?» — «Но ведь ты была девочкой, Вера!» — «Ну и что, что девочкой? Я была девочкой и была с ней! Я ее видела! Она, бывало, входит в дом, может, на полчаса, неважно, а я играю во дворе…»

Рафаэль, и я, и Нина устремляем на нее взгляды и почти не дышим. Она раскручивает эту историю со странной, безучастной легкостью, будто речь о ком-то другом, а не о ней самой и ее матери. «Там, во дворе, стояли железные полки с ящиками, полными винтов и гвоздей, наверняка мужа той женщины, что выкидывала младенцев, а я, бывало, играю с этими гвоздями, как будто они — папа, мама и детки, и разговариваю с ними, и успокаиваю их, пока мама не выйдет, и тогда мы брались за руки и медленно, осторожно

шли домой».

Ее речь становится тяжелой, взгляд мутным, будто только сейчас этот рассказ стал в нее проникать, впервые с тех пор, как все это происходило, больше восьмидесяти лет назад. «И всю дорогу она, бывало, плачет, а я ей рассказываю про семейку гвоздей…»

Она замолкает. Облизывает свою верхнюю губу. «Ладно, вам это, конечно же, неинтересно. Пошли дальше».

Не успели мы очухаться от этого рассказа, как какой-то толстяк с бритой головой останавливается и смотрит на нас, держа за поводок собаку хаски, настоящую красавицу с голубыми глазами. Он спрашивает, на каком это языке Вера разговаривает. И когда я ему отвечаю, он плюет на дорогу и направляется уходить. Вера, разумеется, это замечает. Она кричит ему вслед по-хорватски и машет сжатым кулаком. Рафаэль снимает. Ее лицо внезапно вспыхивает, еще минута — и кинется на мужика. Рафаэль физически преграждает ей дорогу, и она тычет кулаком в камеру (потрясающий кадр!). Мужик, не оборачиваясь, плюется еще раз. Что-то в нем, не знаю что, может, затылок со складкой, вызывает во мне образ Вериного отца, как он топчет ее мать, мою прабабушку,

которую я не знала, но по которой сейчас плачет моя душа. А вот собака с голубыми глазами поворачивает к нам голову. Есть в ней какое-то благородство и даже некоторое высокомерие, что делает эту сцену еще более удручающей.

Мы скисли. Скоро стемнеет, а впереди еще почти триста километров дороги, пока не доедем до гостиницы на берегу, откуда завтра поплывем на остров. Однако нас ждет самый апогей визита в Чаковец: мы быстро возвращаемся в «Кабана Рояль», и там, напротив кафе, стоит желтый кирпичный дом. Широкая входная дверь. «Вот, здесь», — говорит Вера, и все вдруг замедляется, и вокруг тишина и значимость.

Будто на нас опустилась некая фата.

Рафаэль: «Так, значит, вот где вы встретились? Что здесь было?» — «Место для танцев, для балов. Сейчас это… — Вера надевает очки для чтения, подходит к стене дома, так что нос почти упирается в объявление, которое на нем висит. — Теперь это место для художественных выступлений».

Рафаэль: «И как же так случилось, что вы встретились именно здесь?»

«Это был праздник по поводу моего окончания гимназии. Мне было чуть больше семнадцати, и вот я со всеми танцую и веселюсь, и я гвоздь всего

бала. И вдруг подходит ко мне юноша, приглашает на танец, и я…»

Вера замолкает. Я поднимаю глаза от тетрадки и вижу, что Нина внезапно вступает в рассказ.

То есть выходит вперед.

Она сделала три-четыре шага и вышла на авансцену, по собственной инициативе. И сейчас она стоит рядом с Верой, плечом к плечу, перед камерой. Она сурова, лицо жесткое, что-то с ней происходит. Вера косится на нее краем глаза. Я смотрю на Рафи. Пытаюсь понять, в чем дело.

«Пожалуйста, продолжай», — говорит ей Нина странным тоном.

«Продолжать?»

«Да».

Вера взглядом советуется с Рафи. Он кивает. Вера глубоко вздыхает: «Ладно. Хорошо. На чем я остановилась?»

«На том, что к тебе подошел юноша», — говорит Нина.

«Ага. Ладно. Паренек военный, офицер, очень худой, высокий, с большими ушами и лбом, как у философа…»

Глаза Веры, сияя, смотрят то на Рафаэля, то на Нину. Слова во рту будто гравий.

«Продолжай», — говорит Нина почти умоля-

ющe.

«Да. Ладно. И он подходит ко мне, приглашает меня на танец. И пока мы танцуем, он говорит, что ни с кем в нашем городе не знаком».

Она сглатывает слюну. Какая-то смутная непонятность грозится с воздуха. Будто по картине реальности расползается трещина.

«И мы танцуем и не разговариваем, и постепенно это самое «не разговариваем» переходит в то, что мы разговариваем больше, чем танцуем. Продолжать?»

«Да».

«И я испытываю наслаждение от такого танца и впервые думаю, что, может, это и есть то, что люди называют любовью».

Молчание.

Может быть, это сотворило слово «любовь». Нина громко говорит в камеру:

«Привет, Нина».

Молчание. Рафи медленно убирает камеру. «Нина, солнышко, ты маленько перепутала».

«Что ты затыкаешь мне рот?»

Он натянуто улыбается: «Перепутала».

«В чем?»

«Да так. Какая-то ерунда. Конечно же, от волнения. Не заметила, как сказала: «Привет, Нина».

«Да… перестань… меня… Рафи».

«Согласен. Принимаю. Что теперь?»

«Просто снимай».

«О'кей. Съемки продолжаются».

«Привет, Нина, — говорит Нина и смотрит на камеру. — Взгляни на меня, подними голову и взгляни на меня. — Нина машет камере рукой. — Да, так круто. Ты видишь меня. Ты меня знаешь?»

Голос у нее напряженный, придушенный. Вот начинается, так вот как это начинается. С таких маленьких странненьких ерундовин. Мы и не представляли себе, какое тяжелое у нее положение. А с другой стороны… нет. Это не взаправду происходит. Ведь невозможно, чтобы за такое короткое время… В общем-то когда ей поставили диагноз?

«Я — Нина. Посмотри на меня. Я — это ты. Только что ты такой была некоторое время назад, даже несколько лет назад». Вера не способна двинуть головой, чтобы посмотреть на свою дочь. Она стоит возле нее и пялится на камеру. Я вижу круги пота на лбу у Рафаэля.

«Не бойся меня, Нина, — говорит Нина камере. — Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Посмотри на меня, не закрывай глаза, видишь? На самом

деле мы с тобой одна и та же Нина. Одна и та же женщина, один и тот же человек, мы с тобой. Взгляни на меня: такой ты была три или четыре года назад, может, пять. Я — это ты».

Рафаэль снимает. Судя по его физиономии, «Сони» весит тонну.

«Скажи мне, Нина, я тебе нравлюсь? Я симпатичная, как тебе кажется, а?» Длинная пауза. У меня по лицу, между ртом и носом, начинает разливаться мороз беды. Я думаю, что то, что происходит с Ниной, это может быть небольшое кровоизлияние в мозг. Пытаюсь припомнить, попадались ли нам здесь, в городе, какие-то указатели или таблицы с названием больниц.

И тем не менее ее обращение звучит так искренне и убедительно, что я вдруг жду какого-то человеческого голоса, который ответит ей из камеры.

«Посмотри на меня, зайка. — Она распахивает куртку, в которую закуталась. — Видишь кофту, которая на мне? Помнишь, как ты обрадовалась, когда нашла эту кофту на базарчике в Провансе?»

«Ты помнишь, что бывала в Провансе? — улыбается Нина камере, а я вижу, что все это… — что все-то? Что тут происходит? — для нее нечто

мучительное, и она не отступает. — Это красивое место во Франции, в стране французов. Помнишь, что есть такая страна — Франция? — И она снова улыбается камере: — Ты была в Провансе много лет назад, с Рафи, помнишь Рафи? Ты была молодая. Оба вы были молодые. Молодыми были и красивыми, так Рафи всегда говорит. И Рафи очень тебя любил, ты помнишь Рафи, который так тебя любил?»

Я смотрю на своего отца. В этом диком безумии он выглядит так, будто вся его судьба зависит сейчас от ответа на Нинин вопрос. Более того: ее ответ застрял на том, существовал ли он вообще все эти годы?

«И ты тоже его любила, — шепчет Нина. — Может, никогда не высказала этого, как полагается, но любила».

Рафаэль издает какой-то странный, сдавленный звук.

«Я надеюсь, что о тебе хорошо заботятся в том месте, где ты находишься», — говорит Нина и делает шаг вперед, а мой отец, может, из страха, на шаг от нее отступает. И она еще продвигается навстречу ему, а он встает напротив нее, уже твердо. И снимает. И она улыбается ему с благодарностью.

«Я надеюсь, Нина, — говорит она, — что тебе достаточно тепло и что ты хорошо одета. Что тебя одевают в красивые одежды, сшитые со вкусом, и что тебе варят еду, которую ты любишь, и раз в день тебя моют и деликатно смазывают тебе руки хорошим кремом, и локти тоже, потому что у тебя на локтях такая сухая кожа…»

Тут происходит нечто, чего мне не ухватить. Что-то выше моего понимания.

«…и занимаются твоими волосами и ногтями тоже. И насчет ногтей не уступай. Помни, что твоя мама Вера всегда говорит: ногти — это визитная карточка леди…»

Теперь уже Вера издает сдавленный вздох.

«Прошу без звуковых помех, — шепчет ей Нина и снова обращается к камере со сноровкой, которая меня поражает. — Я хочу рассказать тебе одну историю, Нина, — продолжает она тем же странным тоном, легким и чуть-чуть сюсюкающим. — И это про тебя, Нина, про твое детство и про твоих папу с мамой, Веру и Милоша».

Она не спятила.

Нет.

Она делает здесь нечто, что описать я не в силах.

И именно в этот момент Нина скрещивает руки

на груди и совершенно другим голосом, своим обычным голосом говорит: «Все, Рафи, можешь прекратить съемку. Это то, о чем я вас прошу».

Молчание.

«Но почему?» — осторожно спрашивает Рафи.

«Это моя просьба».

«Просьба?»

«Я могу обратиться с ней только к вам троим».

Вера делает несколько шагов и, покачнувшись, опускается на мостовую. Хватает голову руками.

«Все в порядке, мама?»

«Ты так напугала меня, девочка!»

Рафаэль глотает слюну. «И когда ты думаешь… то есть где ты… где она это увидит?»

«В любом месте, где окажется».

«Где?»

«Я еще не знаю. Когда вернемся с острова, я начну искать. В том месте, где живут люди в моем положении».

«В Израиле?» — беззвучно спрашивает Рафи.

«Да», — уныло говорит она.

По переулку идет очень старый человек. Согнутый пополам. Опираясь на две палки. Мы замолкаем. Он останавливается и долго на нас глядит. Ролики в его голове крутятся медленно, пока он пытается сообразить, что мы за люди.

«Я найду ей хорошее место, место, где согласятся показывать ей его хотя бы раз в неделю», — говорит Нина после того, как старик удалился.

«Кому?» — спрашивает смешавшаяся Вера.

«Женщине, которой я через какое-то время стану».

«И что же ей будут показывать?» — шепчет Вера.

«Фильм, который мы сейчас снимаем, и то, что снимем завтра на острове».

«И она будет сидеть перед экраном или компьютером», — бормочет мой папа, и я знаю, что мысли его в другом месте: видимо, Нина и впрямь возвращается. Нина будет в Израиле.

«Не знаю, что она сможет из этого понять, — говорит Нина. — Но раз в какое-то время, например раз в неделю, в месяц, она сядет и посмотрит, и услышит рассказ про себя, какой была когда-то».

«Как рассказ, который читают ребенку перед сном?» — теперь шепчу я.

«Да. — Нина удивлена моим вопросом. Благодарит меня кивком головы. — Именно так. Сказку «доброй ночи» перед тем, как она… — Нина откашливается, сглатывает слюну, — …перед тем, как она уйдет во тьму».

Это больно, как от удара кулаком. Я даже не

представляла себе, насколько.

«Она будет сидеть и слушать рассказ про себя, — снова с изумлением говорит Нина, будто только сейчас начинает понимать то, что нам предлагает. — Может быть, это вернет ей саму себя на пару минут. Может, даже даст ей ощущение, что и она человек. Наконец-то и у нее будет свой рассказ».

Молчание.

«Мы это сделаем, — говорит Вера и приподнимается, и становится вдруг повыше росточком. — Верно, ребятки?» И Рафи говорит: «Сделаем, конечно». И он подходит и обнимает Нину: «Просто будем с ней говорить. Только с ней».

«Но это не «она», а «ты», — торгуется Вера.

«Это я, когда буду очень больна. Когда уже буду «она». Жесты, взгляды, которыми обмениваемся. Все медленно и мрачно. Мы до сих пор не понимаем, почему вдруг стали партнерами, но нас наполняет какой-то благоговейный трепет.

«Так ты хочешь…» — спрашивает Рафаэль. «Да». — «И с чего начнем?» — «Может, отсюда, со встречи Веры и Милоша, — говорит Нина. — Это логичней всего, разве не так?» — «В каком смысле — логичней?» — «В том смысле, что так она пришла в этот мир».

«Ты».

«Она. Я… — Нина с неловкостью сжимает губы. — Может, просто примете то, что со мной должно случиться в ближайшие годы? Я, она…»

«Так мне снова начать сначала? — спрашивает Вера с печальным видом. — Начать с того, как я его встретила?» — «Да, только сейчас просто рассказывай *ей*, говори ей», — просит Нина. Рафаэль говорит: «Вообрази, будто объектив камеры — это ее глаза». — «Ладно». — «Только старайся улыбаться, мико, не расстраивай ее». Они разговаривают очень деловито. И между фразами — паузы. Они звучат как люди, которые идут в тумане и подстраиваются друг под друга.

«А ты что скажешь, Гили? — спрашивает Рафаэль. — Ты такая тихая». Я не говорю ничего. Ведь так или эдак, они уже сами все решили. Ведь так или эдак, они в мгновение ока отказались от фильма, который мы собирались снять, от моего фильма. Меня молниеносно отбрасывают куда-то в сторону. У меня удушье. Слишком я стара для внезапных творческих поворотов типа этого. И, честно говоря, меня бесит, что она за секунду околдовала Рафаэля и Веру, заставив их делать именно то, что хочется ей. И какой она мастер манипуляций! А с другой стороны, ну да, разуме-

ется, с другой стороны… Но та новорожденная и та девочка из давних времен впиваются когтями в мою сонную артерию: только посмей перед ней растаять, нет никакой такой «другой стороны», ни на минуту не забывай, что она тебе сделала. И я иду и усаживаюсь в сторонке, на краешек тротуара и поднимаю опухшие глаза на своего папу, который подходит, и гладит меня по голове, и жалостливо смотрит на меня, и читает меня, как открытую книгу.

«Записывай, Гили, записывай все, и себя тоже».

Но прежде чем мы начинаем, проходит еще время. «Нина, — говорит Вера, — не сердись, пожалуйста, но я не могу продолжать, пока не проверю кое-что еще: ты правда уверена, что у тебя это самое?»

«Я больна, Вера. И я спячу, если ты продолжишь в этом сомневаться. Я *больна*».

«Ладно, ладно, не нужно так…»

«Сколько это у тебя?» — спрашивает Рафаэль.

«Сколько времени я знаю, что больна, или сколько времени мне осталось?»

«И то, и другое».

«Знаю по-настоящему, то есть знаю, что это наверняка то самое, уже полгода. Может, больше.

Восемь-девять месяцев, примерно с января. — Она вздыхает. — Покамест я в очень неплохом состоянии. И, как ты видишь, вполне в себе. — Она смеется. — Просто пусть мне сэр напомнит, кто он такой».

Рафаэль смеется, но он, как и я, помнит, что на Верином дне рождения, в субботу, Нина не помнила имен Орли и Адили, Эстериных внучек, а также спросила Шлоймеле, Эстериного мужа: «А как поживает ваша супруга?» И тут же обратила это в шутку.

«А врачи?» — спрашивает Вера.

«Спасибо, здоровы, как коровы».

«Нина!» — простонала Вера.

«Смотря какого врача спросить. В среднем прогнозы, которые я слышала, дают мне от трех до пяти лет до того, как начисто потеряю память. До этого еще смогу быть самой собой, но на самом деле есть опасения, что потом я и еще пару лет смогу протянуть. Ой, как уж мы будем надо мной смеяться!»

Теперь моя очередь застонать. Из меня вырывается странный голос, наполовину крик, наполовину вой. Что-то тонкое и нелепое.

«Ты у меня прямо вытащила слова изо рта!» — говорит мне Нина.

Она подходит к Рафаэлю и кладет обе руки ему на плечи. «Теперь понимаешь, во что ты вляпался?»

«Я тебе сказал, что буду за тобой ухаживать».

«Но ты понимаешь, что это включает и помощь для моего ухода, когда время придет».

Он кивает. «Ты, Вера и Гили».

«Я? — Я подавилась. — Почему это я? При чем тут я?»

«Потому что Рафи в последнюю минуту даст слабину».

«А что я?»

«Ты размазня, но башка у тебя крепкая».

Она не смеется. И она не до конца серьезна. Она глядит на меня. Все это время между нами идет разговор по какому-то секретному каналу. Настолько секретному, что мы еще и сами не знаем, какая информация по нему будет передана.

«Гили, — говорит она после того, как эта минута подвела все итоги. — Мне легче, когда я знаю, что ты где-то неподалеку».

«Спасибо».

«Продолжим?» — спрашивает Нина.

Но Рафаэль еще не в состоянии продолжать. Просит о передышке. Передает камеру мне и шагает туда-сюда по этому узкому переулку и ка-

чает своей огромной башкой. Так же вот рычал и шатался по коридорам больницы, когда я сделала попытку к самоубийству. Потом он бомбардирует Нину всеми вопросами, которые забыл задать с тех пор, как она ему рассказала. И как это с ним всегда, он, когда напуган, не вытаскивает из воды, а топит.

Нина уже вернулась в свою обычную мерзопакостность, и в этом тоже благо, ее ответы на его вопросы коротки и саркастичны. Деменция, и потеря памяти, и умирание, и смерть мелькают в них с частотой знаков препинания. Она произносит их также со странным удовольствием. Ей нравится причинять боль нам, а еще больше себе самой. Я ее снимаю средним планом и приближаюсь к крупному плану. Мне знакомо это покалывание, которое гнездится в извилине душевной кишки.

Но Вера в последнем взрыве сопротивления не уступает: «Я еще не на сто процентов уверена, что ты… что у тебя то, о чем ты говоришь. Нету у тебя этого! Сама посмотри, насколько ты в норме! Откуда ты такое взяла? Это вообще наследственное, а я… у меня память отличная…»

Нина… Я вижу, что Верины сомнения ее изводят. Она с трудом собою владеет: «Но, может, это

вообще от папы?»

«Как так от папы? Милош знал наизусть, может, сотню стихов».

«Но он умер молодым, и мы не могли знать».

И вдруг Вера бьет себя по губам в озарении: «Ой, его отец, Милоша… Твой дедушка… Когда я вернулась с Голи…»

«Что с ним случилось?»

«Случилось. Неважно. Глупости…» Вера плюется сухим плевком, на этот раз в левую сторону. Когда-нибудь я составлю справочник ее плевков.

«Что с ним случилось, мама?»

«Да, он бывало иногда заблудится, но неподалеку от дома, только внутри деревни…»

«Бинго!» — говорит Нина, и лицо становится серым.

«И жена привязывала ему бубенчик…»

«Избавь меня от…»

Вера прислоняется к стене дома. Рафаэль заходит в «Кабана Рояль», в туалет. Моет руки, моет лицо, смотрится в зеркало. Дверь слегка приоткрыта, так, что мы видим его в прямоугольнике света, как он оперся обеими руками о раковину, и вдруг голова его падает, как отрубленная. Он плачет. Он делает то, что ни Вера, ни Нина, ни я не способны сделать в этот момент, каждая из

нас из-за своего собственного увечья.

«Продолжим?» — спрашивает Нина, когда он возвращается. У Нины вдруг возникла над нами какая-то новая власть. Не только ощущение, что нож болезни ее от нас отрезал, но и то, что она здесь с нами делает — будто ей добавили нечто еще, тонкий слой какого-то другого существования.

Есть в этом что-то от призраков.

Если я буду снимать о ней фильм…

А я собираюсь снимать о ней фильм?

Рафаэль приходит и забирает у меня камеру: «Нина, я готов, когда ты готова». Нина снова прислонилась спиной к стене, стоит, сгорбив плечи. А теперь, Гимель, работай! Сейчас главное — профессионализм. Я стою перед ней и привожу в порядок ее воротник. Раньше он был скошен вправо, и эту кривизну стоит сохранить. Мелкая педантичность сценаристки, которую по-английски, вроде я это уже говорила, называют Script Supervisor. Глупости, это просто потребность моей руки прикоснуться к ее щеке.

И все это время она заглядывает мне в глаза.

Наступает вечер. Над нами зажигается уличный фонарь. Это маленький городок в Хорватии, в который я наверняка никогда не вернусь. Стран-

ное чувство разъединения. Парения над ничем. Может быть, это подобно тому, что ждет Нину в недалеком будущем. На минуту я ощущаю, в каком ужасе она живет сейчас. Любая фраза ошибочна, каждая оплошность, каждое мелкое недоразумение и забывчивость могут послужить свидетельством против нее.

Кто я без ненависти к Нине?

«Начинаем, Нина, мотор!», — бормочет себе под нос Рафи. Нина тяжело вздыхает. Закрывает глаза. Вертикальная складка на лбу становится глубже и потом разглаживается. Она открывает глаза. «Привет, Нина, — говорит она камере, — сегодня мы расскажем тебе историю. Это история красивая и трогательная, и она про тебя и про большую любовь, которая привела тебя в этот мир, и еще про…»

Но нам не дано было начать съемки этого фильма, потому что Вера вдруг описала полукруг, как фигурка на церковном шпиле, и встала лицом к Нине, спиной к камере: «Почему ты с ней так разговариваешь?» — спросила она шепотом, будто та, что в камере, может ее услышать. Нина вздрогнула от этой помехи: «Что значит так?»

«Так, будто она малость идиотка».

«Она и есть идиотка, — ответила Нина леденя-

щим кровь шепотом. — Я же тебе сказала. Когда она будет это смотреть, мозги у нее будут начисто стерты. Да останови ты на минутку! — приказала она Рафи, который продолжал снимать. — И сделай милость, Вера, перестань режиссировать, хватит, нарежиссировалась!»

Будто щелкнула хлыстом.

«Гили, записывать!» — прошипел Рафи.

«Но так разговаривают с малым дитем, — заупрямилась Вера. — Так бездетный человек разговаривает с маленьким ребенком».

«Может, у меня и правда не было особого опыта с детьми, — говорит Нина. — Может, дашь мне несколько частных уроков?»

Вера возвращается на место. Они стоят друг возле друга.

Задним числом выяснилось, что, может быть, у меня еще осталась одна работающая серая клетка, потому что в своей тетрадке я нашла запись: «Что-то в том, как они стоят, прислонясь спиной к стене, напоминает сцену перед расстрельной командой».

«Ниночка моя, привет, привет, зайка, — говорит Нина камере, и уже по этим словам я чувствую, что в общем-то она учла Верино (правильное) замечание. — Сегодня я хочу рассказать тебе

историю, и это история, которая связана с тобой, и не бойся, это хорошая история, история любви. Знаешь, Нина, тебя окружала масса любви, и тебя сделали с большой любовью. — Она вбирает воздух. — Вон рядом со мной стоит твоя мама. Ее зовут Вера, она посылает тебе привет… — Вера машет рукой прямо перед камерой. — И она тут со мной, сейчас она тебе расскажет историю твоей жизни, с самого начала».

В голосе Нины слышится облегчение, будто она нашла верный тон: «И если случайно ты не помнишь меня или Веру, так и не страшно, людям свойственно забывать. Только знай: та, что стоит рядом со мной, это твоя мама Вера, которая очень тебя любит. Которая всегда тебя берегла. А сейчас она расскажет тебе, как она встретила любовь своей жизни, Милоша, того, кто твой папа. Мама, пожалуйста».

Вера руками растирает себе щеки. Выпрямляется. Я телом помню эти ее жесты пробуждения. Эта старая львица однажды боролась за меня и победила.

«Я готова, детки».

«Дубль четыре, — шепчет Рафи самому себе. — Поехали».

«Это было празднование окончания гимна-

зии здесь, в Хорватии, в моем городе Чаковец, который когда-то был венгерским и назывался Чакторня…»

«Говори *ей,* — шипит Нина уголком губ, — и улыбайся ей, все время ей улыбайся, все время помни, как она в тебе нуждается».

«Я пытаюсь, Нина, но все это малость сбивает меня с толку».

«Знаю. Но ты подумай о ней, как она сбита с толку».

«Мне было чуть больше семнадцати, и я танцевала со всеми подряд, я была королевой бала и то, и сё, и вдруг подходит ко мне юноша и приглашает меня на танец».

«Говори помедленней. Чтобы она поняла. Без напряга. У нас есть время».

«И он, этот юноша, мне и говорит: «Знаете, госпожа — это как по-английски сказать «мисс», — объясняет она камере. — Есть кое-что, что я хочу, чтобы вы знали с самого начала: я родился в маленькой деревушке, в хлеву, на соломе, вместе со свиньей, курицей и овцой. Мои родители — крестьяне, но не имеющие своей земли, и мы очень-очень бедны. И я каждый месяц посылаю им половину своего жалованья».

От слова к слову голос ее все усиливается. Нина

стоит рядом с ней, слушает с опущенной головой. Иногда поднимает голову и улыбается улыбкой, широкой и направленной к камере. Я спрашиваю себя, что эта самая Нина будущего ухватит от этой информации. От двух этих женщин.

Ничего-то она не поймет.

«Он видит, что его бедность ничуть меня не испугала. Он говорит, что у них было войсковое построение и генерал-лейтенант сказал ему: господин штаб-ротмистр, у вас воротник рваный. А этот парнишка ему в ответ: таков он, мой воротник, и для церкви, и для похорон! Другого воротника у меня нет! Я сын безземельного крестьянина».

Нина разрешает Вере говорить и кивком, и улыбкой: «Да, так и продолжай. Говори ей, говори…»

«И мы танцуем, и я вижу, что танцевать он умеет. Я тоже очень люблю танцевать, до сих пор, и знаешь, Нина, когда днем дают музыкальную программу «Минуты волшебства»? Передача по радио? Я танцую себе с транзистором в руке…»

И она уже показывает камере, как танцует с транзистором, будто родилась в Гарлеме, покачивается с невероятной легкостью — не поверишь (девяносто лет!), напевает «Белла чао», песню

итальянских и югославских партизан времен ее юности. «И пока мы танцуем, он, Милош, почти со мной не разговаривает. Только красиво меня ведет, как джентльмен, не пользуется моментом, и только если я спрашиваю, он отвечает. И так вот он говорит мне, что окончил военную академию и даже получил диплом с отличием, что послали его в наш город, и он здесь никого не знает, и он один… — Она в смятении замолкает. — Так нормально? — шепотом спрашивает она Нину и Рафи. — Вы хорошо меня ловите?»

«Это клево, мама, ты за снимки не волнуйся, Рафи с Гили потом все отредактируют, так что ей будет еще легче понять». У меня все еще крутит в животе всякий раз, как Нина про себя в будущем говорит «она» или «ей». Будто и правда речь идет о двух людях, которых она отрезала друг от друга и каждый из них машет второму шляпой и идет своей дорогой.

Но чего уж мне так удивляться? Она ведь гений по части ампутаций.

Забыла написать про это раньше. С тех пор как Рафи позвонил и рассказал про ее болезнь, я каждую свободную минуту роюсь в поисках информации. Читаю я в основном по ночам, потому что сперва сама гоню сон, а потом уже и не могу

заснуть из-за того, что такого начиталась. Я читаю исследования про скорость стирания сознания и участки мозга, которые атрофируются. Стирается язык. Естественно, память. Способность узнавать людей. Способность ориентироваться во времени и в пространстве, понимать ситуацию. Делать выводы. Ощущение «Я» затуманивается.

Я смотрю на Нинину голову, на эту маленькую красивую коробочку. Какая драма творится там в этот момент! Война за жизнь и за смерть.

Как я ни искала, мне не удалось найти информацию про то, что изучены темп или последовательность исчезновения таких ощущений, как страх, стыд, чувство вины.

«Так расскажи, что ты подумала о нем, когда в первый раз увидела его, папу. Какое он произвел на тебя впечатление?»

«Никакого впечатления он на меня не произвел!»

«Никакого впечатления, — смеется Нина, — так вот совсем?»

«Твой папа, Нина, не был человеком, производящим впечатление. Совсем не красавец, то есть да, красивый, даже очень красивый, вся семья, все мужчины-Новаки красивы, женщины так себе, но мужчины — да! Очень! И мужики! Но вот он

был не таким прямо Новаком-мачо и не таким уж особым красавцем, и это тоже я в нем любила — что он и жесткий, и мягкий, и сильный, и слабый, и как будто несколько мужчин в одном. И он был очень худой, как борзая. Может, пятьдесят пять килограммов при росте метр семьдесят восемь. Так что с точки зрения телосложения и фигуры ничего особенного. Только характер, и какой!»

«Еще, расскажи еще». Вера направляет взгляд на камеру: «Я совсем не тот человек, Нина, который теряет голову от чьих-то чар, но его я *почувствовала*, понимаешь? Я почувствовала его, и это меня очаровало. Я не подумала — ох какой красавец! Ох какие бицепсы!»

Я сижу на панели, записываю. В нашей группе Вера говорит быстрее всех (а Рафи больше всех глотает слова, да и борода мешает). Я продолжаю гадать, что та Нина, Нина будущего, сможет понять из того, что Вера здесь рассказывает. Придется добавить субтитры, чтобы ей было полегче. Если она вообще сможет читать.

Но возможно не это будет для нее важным, в том фильме, который мы снимем.

Не слова, не факты, нечто, для чего нет слов.

«…Я сразу увидела, что у него светлая голова и что он свободная птица. Я это поняла по его

серьезности, я увидела, что нет никого в мире, кто бы мог ему приказать, что следует думать. И как он говорил о несправедливости, как говорил о своих родителях! И я подумала, он в общем-то гой[27], он серб и он солдат, что у нас общего? И если взглянуть на нас с точки зрения общественных правил и этикета, так вроде ничто не вяжется ни с чем, а вот пожалуйста — он душа, что пришла в этот мир специально ради меня».

У Нины мягкое выражение лица. Детская мягкость, какой я в жизни у нее не видела. Девочка, которой она была, стоит перед девочкой, которой была я, и у меня в голове медленно проходит мысль о том, какая у нас с ней тонкая кожа.

И тут же меня как пощечиной бьет то, что она рассказала моему папе на их прошлой встрече, пять лет назад. Про своих ухажеров. Тогда она еще жила в Нью-Йорке. «Женихи Пенелопы» — так она их называла, да еще и со странной нежностью: «Мои кобеля». «И именно когда в ней снова что-то ко мне вспыхнуло», — сказал мне Рафаэль в то утро, пять лет назад, после того, как Нина улетела обратно в Нью-Йорк. Он сидел у меня на кухне, в нашем доме в мошаве — обязан был

[27] Примечания: 27

Гой — нееврей (не-иудей в иудаизме, встречается в обиходной речи в значении «иноверец»).

прийти со мной поговорить, пусть и оба мы знали, что это ошибка, что это отравляет нас обоих. Он обхватил голову руками, будто то, что ему стало известно, тяжелей, чем это можно вынести. «И мы с ней были так близки в эту минуту, и тут она возьми да про них расскажи, — сказал и показал пальцами расстояние в сантиметр. — И это как кулаком в рожу». — «Как кулаками, — поправила я с такой милой улыбкой, на какую способна только ехидная и любящая дочка. — Для точности, папуль: один кулак, два-три-четыре…»

«Знаешь, Гили, — он даже и не услышал того, что я сказала, — когда мы были вместе, мы с Ниной, в те годы в Иерусалиме, я ни разу не сказал ей «любимая», а всегда «моя любовь». Любимые у меня были, после нее их было несколько, но лишь она моя любовь».

«И так вот, танец и еще танец, — рассказывает Вера. — И вдруг мне немного страшно. Страшно, но хочется еще, и еще, и еще. И я все время гляжу на него и думаю: кто он, этот человек? Человек, который явился незнамо откуда и за одну минуту захватил мое сердце?»

Нина прямо на цыпочках отдаляется, выходит из кадра.

«А отец Милоша, — продолжает Вера, — по-

ка Милош учился в гимназии, в городе, еще до того, как пошел в армию, его отец два раза в неделю шел пешком, может быть, пятнадцать километров в одну сторону, чтобы Милош поел их домашнего хлеба. И кукурузы с их поля, и кусок сыра, который сварила мама. Понимаешь, Ни́неле?» — спрашивает она у камеры.

Ни́неле. Я в жизни не слышала, чтобы она так называла Нину. Я увидела, что и Нина на секунду застыла.

«А я смотрела на него, пока он говорил, и думала: «Какая в нем независимость! Ему было двадцать два, и он выглядел таким молодым! Я спросила, как зовут его маму, он сказал: Нина. Я сказала: Какое красивое имя. Если у меня будет дочь, я назову ее Ниной».

Нина вздрагивает, клонится вперед, спина каменная, руки между колен.

«А он спросил меня: что госпожа делает завтра? Я сказала: завтра воскресенье, я поеду на поезде к подруге и на поезде же вернусь домой.

Он спросил: когда вы возвращаетесь?

Вечером.

И все. До свидания. Благодарю вас, госпожа, склонился как барон, отошел назад. Вышел из бального зала, отсюда, из этой двери он вышел.

И я уже знала».

И с этими словами она замолкает, погружается в себя.

«Все. Так это было. О чем мы говорили?»

«Что ты уже знала».

«Да, — вздыхает она. — Милош. Верно. Я вернулась с бала и сказала маме: «Мама, сегодня я познакомилась с молодым человеком, который пришел в этот мир для меня, а я пришла для него». Мама спросила: «И что же в нем такого особенного?» Я сказала: «Мама, он так гордится своей бедностью! Людям хочется скрыть свою бедность, и они лгут про нее, а он получает каждый месяц поленницу дров для печки и половину продает, а деньги посылает родителям, и ему так холодно, мамуля».

Назавтра вечером возвращаюсь я на поезде от своей подружки Ягоды и вдруг вижу там, на станции, свою маму. «Мама, что ты здесь потеряла?» А мама: «Я знала, что он сюда придет!» Оглядываюсь я вокруг и вижу в сторонке, у велосипеда стоит и смотрит кто-то вроде Милоша…»

Нина улыбается. По ее улыбке, по тому, как ее сухое, потрескавшееся лицо пьет, глотает этот рассказ, я начинаю понимать, что она без всякого сомнения слышит его впервые в жизни.

Десятки раз, не преувеличиваю, рассказывала мне Вера про свою первую встречу с Милошем. И кто знает, сколько еще раз рассказывала это на всяких сборищах в семье Тувии. И по меньшей мере десять раз рассказывала эту историю для работ о «своих корнях», которые внуки и правнуки Тувии писали во время подготовки к бар- и бат-мицвам[28]. Как можно украсть подобный рассказ у собственной дочери? Я почти кричу на Веру: да я бы ребенка родила только ради того, чтобы поведать ему такой рассказ! И Нина тоже выглядит побитой, совершенно поникшей. «Я тысячу раз слышала от тебя про Голи, про побои и пытки, про блох, и про болота, и про скалы, и ни разу не слышала, как вы с папой встретились».

«Может быть. — Верин рот криво изгибается. — Ты была маленькая, а тут Голи и война».

«Ну так пожалуйста, — шепчет Нина с посеревшим лицом, — расскажи мне сейчас. В общем-то, ей и мне тоже».

«Да, так вот я встретила Милоша, здесь, в этом доме. И с того дня и до тех пор, пока он не

---

[28] Примечания: 28

Бар-мицва, бат-мицва — термины, применяющиеся в иудаизме для описания достижения еврейским мальчиком или девочкой религиозного совершеннолетия. У девочек оно наступает в двенадцать лет, у мальчиков — в тринадцать.

умер…»

«Постой, — восклицает Нина, — не так быстро! До того, как он умрет, еще есть время».

«С того дня и до тех пор, пока он не умер, — упрямо повторяет Вера, — мы практически не расставались. Я почти пять лет ждала его, пока он не получит от армии разрешение жениться. В 36-м мы познакомились, в 41-м поженились, а в 51-м он умер. В целом нам выпало пятнадцать лет».

Нина подает Рафи знаки пальцами, манит к себе камеру вместе с оператором и в отчаянии хохочет: «Заметили, что в этих важных семейных датах про меня ни слова?»

«Да ну тебя, Нина, — сердито говорит Вера. — Тебе бы только пенять меня за мои ошибки! Я уже сейчас тебе говорю: их полно, не стоит и напрягаться».

Мы с Рафи переглядываемся. Как нам кажется, тут Вера не права: особых ошибок у нее нет, точно нет, есть только одна, которой хватит на целую жизнь. «А какой же у меня был выбор?» — отвечает нам Вера острым взглядом.

А Нина… сейчас мы все трое видим… ее глаза перебегают с меня — на Веру — на Рафи и обратно, и она как маленький загнанный зверек, который чувствует, что хозяева решают его судьбу.

«Перерыв», — объявляет Рафи, возвращает камеру в чехол, достает яблоки и разрезает перочинным ножиком на дольки. Свежий вкус яблок наполняет рот. Как только камера сомкнула глаз, всем нам полегчало. Мы сейчас же выезжаем и завтра отплываем на остров.

«Ну как мой разговор с этим фотографьé?» — спрашивает Вера, смотрится в маленькое круглое зеркальце и слюной приглаживает кудряшку на лбу.

«Поговорила прекрасно, — говорю я. — Ты у нас с рождения сказочница».

«Ну-ну, — вздыхает она, — вытащили бабусю из нафталина».

В восемь вечера, в самый ливень с громом и молниями мы пускаемся в путь. Едем на юг к Цриквенице, городу на побережье Адриатического моря, в котором решили переночевать, чтобы утром отплыть на остров. Вера с Ниной теснятся сзади, прижаты друг к другу, но каждая закрыта в себе. Я заполняю пробелы в своей тетрадке. Расшифровывала кое-какие пометки, которые сделала в течение дня, и вписала некоторые пришедшие в голову идеи. Потом перешла на собственные сообщения и написала Меиру, что день был жутко изнурительный и что эта

поездка во всех смыслах объемнее, чем то, что я предполагала. Этого чувака обременять не стоит, у него аллергия на чрезмерности. Несколько минут подождала. С ним ведь как: он может проработать целый день, не проверяя, нет ли у него сообщений. Но на сей раз ответ пришел быстро: «Береги себя».

Все ясно: мужик дико скучает.

Нас накрыл туман. Дождь полил еще круче, и внезапные порывы ветра стали раскачивать наш «лимон». Да и обогреватель начал выкидывать номера. Мы напялили на себя куртки, перчатки, а также всякие шерстяные шапки, какие каждый из нас взял в дорогу (и обнаружили, что все они связаны Верой). И вид у нас стал как у деревенских идиотов во время плановой экскурсии. Рафи вел медленно, его голова почти протаранивала лобовое стекло. Он снова и снова просил, чтобы я протерла его запотевающие очки. Два раза мы попали в яму величиной с братскую могилу и подумали: все! Машине копец, но она была «лимончик» хоть куда и выстояла и в бурях, и в переделках. Браво ей, браво!

«Почти с первых дней, что мы встретились…» — слышу я вдруг, как Вера самой себе бормочет на заднем сиденье, и я ныряю за Рафиной рабо-

чей сумкой, стоящей у меня между ног, достаю камеру «Сони» и включаю ее, пока на ощупь отстегиваю ремень безопасности, чтобы свободно поворачиваться и садиться на колени, снимаю свой подголовник, чтобы не мешал, и краешком глаза вижу, что Рафи мною доволен, а Вера уже в широком объективе, и Нина сбоку, с осоловелыми глазами, растерянная. «Я не спала!» — тотчас говорит она, будто кто-то утверждал обратное.

Значит, так она выглядит, когда просыпается.

На лице — ужас перед темнотой. До чего же страх уродует. Испуганная девочка, готовая к удару, к катастрофе.

И тотчас — все стерто.

Я увидела.

Лицо, ничего не выражающее.

Сфинкс, которому шесть с половиной лет.

«С первых наших дней, — говорит Вера камере, — Милош ежедневно точно в час дня проходил мимо нашего дома, того, что вы видели, и его офицерская сабля стучала «тах-тах» по тротуару. А я — тут как тут в окне. И он смотрит на меня, а я смотрю на него, и мы не разговариваем.

Вечером папа с приятелями в том кафе, где мы с вами раньше сидели, играет в преферанс, мама — одна, а мы с Милошем уходим, беседуем.

И неделю спустя я говорю Милошу: «Не могу я оставлять маму одну, с завтрашнего дня она будет с нами!» А Милош говорит: «За то, что ты так заботишься о маме, я люблю тебя еще сильней!»

Рафи делает мне пальцами знак, видно ли что-либо в такой тьме на мониторе камеры. Предлагает зажечь внутри, над Верой и Ниной, задний свет. Я также мастерю маленький рефлектор из серебряной бумаги, в которую были завернуты принесенные Верой пирожки. Не оптимальное освещение, но это красноватое зернистое изображение мне даже нравится.

«Только вспоминай», — просит Нина.

«Нина! — выговаривает ей Вера. — Я тебя не забываю даже на минуту».

«Спасибо, мама».

«И три года мы втроем так вот гуляем. Отходим от фабрики «Шерсть и Вязание» Братьев Гренер, сидим на воздухе на скамеечках и беседуем, потом идем до железнодорожного вокзала и возвращаемся обратно, и все время разговариваем… А вы вспомните, Ниночка, вспомни… — и Вера машет перед камерой искривленным пальцем, — моя мама была из Венгрии и по-сербски не говорила ни слова, а Милош был серб и разговаривал только на сербском. И я иду между

ними и перевожу. «Что она сказала?» — «Что он сказал?» — голова влево, голова вправо».

Нина с удовольствием улыбается. «Три года?» — спрашивает она. И Вера: «Трудно поверить, а?» Они смеются. На маленьком мониторе «Сони» нам видны две круглые, пухлые тусклые фигурки в куртках, до того тесно прижавшиеся друг к другу, что непонятно, где заканчивается Вера и где начинается Нина. Их лица — заплатки из красноватых пятнышек и темных теней. И здесь тоже… мне как раз нравится, что иногда трудно понять, кто из этих двух говорит, а кто слушает. Рассказ струится между ними и будто вновь расщепляется.

«А мама вообще скрывала от моего отца, что у меня парень не еврей, и ни у кого в городе не было смелости рассказать папе, что у его Веры не еврейский парень или что у нее вообще есть парень. И мы с ним и с мамой все время говорили, что будет, если он узнает, — что он сделает и что мы сделаем, и сбежим или останемся, и возьмем ли маму с собой. Ты понимаешь меня, Нина, все, что я говорю, да?»

Она полностью в курсе дел, Вера, будто эта самая Нина и впрямь смотрит сейчас на нее из глубин камеры. Нина, которая здесь, глядит на

нее сбоку, изумленная, но и несколько растерянная, и вдруг трогательным жестом обнимает Веру, будто пытается привлечь к ней внимание.

«Как раз со стороны семьи Милоша все было в полном порядке. Он пришел к своему отцу и сказал ему: «Я полюбил маленькую евреечку, и если ты не позволишь мне на ней жениться, я уеду и больше ты меня не увидишь». И его отец сказал: «Приведи ты хоть черную цыганку, хоть маленькую евреечку, жить с ней *тебе*, а не мне».

В феврале сорокового года какая-то еврейка сказала моему папе: «Слушайте, Бауэр, а вы вообще-то замечаете, как выглядит ваша дочь? Не дай бог чахотку подхватит, такие уж они исхудалые, она и ее приятель, сербский офицер — прямо два дохляка, которые крутятся по улицам, два дождевика без людей внутри. И так вот, Нина, солнышко, моему папе выдалось услышать про моего приятеля Милоша, и он чуть сознание не потерял! — Она сильно стучит себя по колену. — Он кинулся домой и спросил маму, правда ли то, что он услышал. Она ему в ответ: спроси свою дочь. И он орет мне: немедленно явиться в комнату. Я прибегаю, вижу его лицо и сразу все понимаю».

Рафи уже едет со скоростью меньше тридцати

километров в час. На шоссе только мы да ливень. Из-за того, что вокруг никого, он весь сосредоточен на нас и дарит нам всего себя. Интересно, пробивается ли Верин голос сквозь скрипение дворников и шум дождя на микрофон камеры? Рафи подумал об этом одновременно со мной и снизил скорость дворников, но это, как оказалось, опасно для жизни, и мы соглашаемся, что на предмет звука тоже пойдем на компромисс.

«Так вот, мой отец стоит возле большой печи, и нога у него дергается, как от тока, и он меня спрашивает: «Это правда, что у тебя есть кавалер?» — «Да». — «И это правда, что твой кавалер — офицер?» И я: «Да!» И он говорит: «Спрашиваю в последний раз, Вера, и хорошо подумай, потому что для тебя это последний шанс: это правда, что твой кавалер — сербский офицер?» И я, высоко подняв голову: «Да! Да! Да!»

И он аж побелел: «Сперва тебе придется меня убить!» А я: «Папа, разреши мне выйти за него замуж». И он: «Раньше, чем ты обречешь меня на такой позор, я выпрыгну в окно». А я ему: «Пожалуйста, открываю тебе окно».

Назавтра наутро отец пошел к раввину, раввину старой школы, очень либеральному, и тот сказал: «Господин Бауэр, мы уже три года смот-

рим на вашу дочку и ее молодого человека, на то, как они с достоинством прогуливаются вместе с вашей супругой. Мы в городе его уже знаем, и он прекрасный молодой человек. Гитлер уже вошел в Австрию, и кто знает, может быть, благодаря этому юноше одна ваша дочь из всех нас и уцелеет. Мы не осмеливались вам рассказывать, боялись, что вы убьете свою девочку. Пригласите его к себе домой, познакомьтесь с ним и увидите, кто он такой».

Моему отцу показалось, что он сходит с ума, и он приказал: «Приведите мне этого парня».

И мне, Ни́неле, в жизни не забыть этой картины: в нашей гостиной, у большого камина мой отец стоит навытяжку, как солдат. Входит Милош, падает на одно колено, берет руку моего отца и ее целует.

И папа вскричал: «Майн гот! Чтобы офицер встал на колено перед старым евреем? Вера, немедленно повели ему встать!»

И с тех пор мой отец любил его больше всех остальных зятьев. Бывало приговаривает: «Ой, мой любимый зять-гой! Нету в мире другого такого, как Верин муж!»

Она устало откидывается назад. Кивает персонажу, вероятно наблюдающему за ней из камеры,

протягивает к нему тоненькую паутинку, не до конца мне понятную.

«Хочешь еще послушать, Ниночка?» — спрашивает она у глухой камеры.

«Да. Расскажи», — говорит Нина, что рядом с ней, и голос тоже слабый и обессиленный. А у меня в голове вспыхивает образ Нины через два года, или через три, или пять. Сидит в инвалидном кресле в пустой комнате какого-то заведения. На стене напротив нее, между двумя цветочными горшками, висящими на синтетических гвоздях, установлен экран телевизора, показывающий эту нашу поездку. Ее голова опущена на грудь.

«Через год после нашей встречи из-за закона о том, что офицер не может жениться, пока не достиг двадцатишестилетнего возраста, Милош пошел и купил золотое кольцо…»

Она стягивает кольцо со своего искривленного пальца. Худые и искривленные у нее пальцы и блестят, будто сделаны из воска. Она держит это кольцо перед камерой, и я сосредоточиваюсь на нем. Верин рот как ободок на фоне кольца.

«Видишь, Ни́неле, — мягко говорит она объективу, — это кольцо, которое твой папа подарил твоей маме».

Рафи в панике барабанит мне по ноге. Нина.

Почувствовал, что я забросила ее. Сразу, прямо сейчас, ухватил, в чем драма. Нинины глаза — два то затухающих, то вспыхивающих уголька. «Смотри, как Вера начисто про нас позабыла», — говорят эти глаза.

«И Милош мне говорит: «Теперь ты моя жена перед Богом и передо мной». А я ему в ответ: «Нет ничего на свете, что бы нас разлучило. Такого в мире не существует». И я никому не показала кольцо, которое он мне подарил, ни маме, ни сестрам, ни подругам, спрятала его под большими кольцами, и мы продолжили жить, как раньше… И была у нас жизнь… да…»

Вера кладет руку на грудь и закрывает глаза. В первый момент мне кажется, что это еще один из ее жестов. Она сидит, откинувшись назад, с открытым ртом, бормочет, что ей жарко, что у нее стучит сердце. Я снимаю. Малость испуганная, но не упускаю кадра. Нина массирует ее одной рукой между лопатками, поит ее водой, Вера задыхается. Рвотные спазмы. Страшно. Рафи бросает через плечо напряженные взгляды, но показывает мне рукой, чтобы продолжала снимать (однажды он положил мне золотое правило: операторы во вре-

мя Хатиквы[29] не встают). Вера просит знаком, чтобы открыли окно. Буря влетела к нам через щелку, которую мы оставили. Ледяной порыв ветра ворвался внутрь со странным, почти человеческим воем. «Мамочка», — думаю я и вижу, что и Нина, которая технически мне мать, тоже внутри себя кричит: «Мамочка!» А машина, подстегиваемая и гонимая бурей, носится по шоссе туда-сюда, и Рафи мотает головой: нет-нет-нет, и во всем этом хаосе и кошмаре, а может, от завихрения, которое из-за грозы внезапно закрутилось в мозгу, мне вдруг приходит в голову мысль, что у природы имеется свой набор качеств первой необходимости, например особый такой юморок, стойкость в минуту одиночества, а в общем и целом этакая *кактусность* в отношениях с людьми… и в этом Нина, как никто другой, может неплохо меня понять.

«Знаешь, мама, — говорит Нина после того, как мы закрыли окно, а Вера пришла в себя, — ты всего этого никогда, ну просто никогда мне не рассказывала».

Она говорила это и раньше. Это не дает ей покоя.

---

[29] Примечания: 29

Хатиква (в пер. с *иврита* «надежда») — гимн Израиля.

«Не рассказывала? Многое из этого очень даже рассказывала».

«Нет. Только то, что было на Голи, вот это ты без конца рассказывала».

«Не может быть, — говорит Вера. — Может, ты позабыла».

Это был подлый удар, даже если и непреднамеренный.

«Ты считаешь, что я бы такое забыла?»

Вера не отвечает. Скрещивает руки на груди. Глаза устремлены куда-то вдаль, губы надуты, изображают невинность. Лисица, львица.

«Ну правда, мама, — шепчет Нина — ты ведь знаешь, как бы это могло мне помочь? Дать хоть чуток почвы под ногами?»

«Давай, Вера, рассказывай дальше, — вмешивается Рафаэль. Потушить пожар, пока не вышел из-под контроля. — Есть силенки?»

Вера: «А у *вас* силы есть?»

«Это не дает мне заснуть». — Он смеется и переводит глаза на руль.

«Но пусть Нина скажет. Что ты считаешь, Нина? Рассказать еще? Не хочешь немножко поспать?»

«Я уже выспалась».

«И еще нужно рассказать тебе, Ниночка, — Вера резко отворачивается от нее в сторону камеры, —

что твой папа Милош был человеком не очень здоровым. У него были тяжелые болезни, потому что он, дитя гор, высот, чистого неба и деревенского воздуха, вдруг очутился в городе, в армии, в дыму, с испорченной пищей, со всеми ядами, и у него открылась чахотка. — Она вздыхает. — Он кашлял по ночам, лаял как собака. Я, бывало, ставлю ему на грудь компрессы с луком и медом. Врачи говорили ему, что он чемпион страны по имени Гвардия-Кох, потому что он был, слушай внимательно, Ни́неле, он был самым больным чахоточником во всей Югославии! У него были две открытые каверны! И через полгода после того, как я с ним познакомилась, и после того, как мы танцевали на моем праздновании, он заболел еще и желтухой. Ну и его тут же положили в армейскую больницу в Загребе, и с тех пор Милош никогда не был в порядке. И у этого было много консеквенций. Рассказать?» Она спрашивает нас уголком рта, и Нина снова вскипает: «Рассказывай все, каждую деталь, я не знаю почти ничего, ты что, правда не понимаешь?» — «Ладно, ладно, зачем кричать. Я расскажу. Расскажу абсолютно все». Вера опускает голову. И долгие минуты так вот сидит. Лоб сморщен. Лицо хмурое, губы беззвучно шевелятся.

«Ой, Ниночка, — потом тихо говорит она, и мне кажется, что она саму себя подтаскивает за волосы к линзе камеры. — У него уже ничто не работало как надо. Все время боли в животе и поносы, и харканье кровью, и температура, и слабость, и особая диета, и ест как птенчик. «Да в порядке я, мико», — так он говорил. Он звал меня «мико», у нас это вроде «мой дружочек», он вообще говорил со мной так, будто я сын, парнишка, мы любили так говорить, и я тоже к этому привыкла, «мико, если ты и я в порядке, то и мир вокруг в порядке, мы вдвоем, с тобой на пару, целый мир перевернем!»

«Мико! — радостно и изумленно смеется Нина. — Верно, он так тебя называл… Это я помню…» Она снова приближается к Вере, медленно, несмело кладет голову ей на плечо.

Тем временем мы с Рафи начинаем свой разговор: его рука у меня на колене, и он нажатием мизинца, среднего и большого пальцев показывает мне в сторону камеры. Честно говоря, меня это злит. Как известно, фильм этот мой, но я вижу, что ему от своего статуса не отказаться. С другой стороны, в той гребаной ситуации, которая здесь разворачивается, лишняя пара глаз не помешает.

Так или иначе, мне очень скоро придется ему напомнить про договоренности и про то, кто с кем.

«А моя мама… ей вообще не мешало, что он не еврей, ей это было совершенно неважно! Я же тебе говорила. Мы, в основном мама, были евреями-атеистами, но она никак не могла понять, как молодая и здоровая девушка типа меня собирается жить с таким больным человеком.

А я сказала маме: с больным? Ну так с больным! Когда я полгода назад с ним познакомилась, он не был больным, и когда я с ним танцевала, он не был больным, и когда я увидела его стоящим с велосипедом на железнодорожной станции, он не был больным, так теперь я должна бросить его, потому что он заболел? Все как раз наоборот, чем больше он слабел, тем сильнее я к нему привязывалась.

А моя сестра Рози из Загреба, твоя тетя, Нина, потом десять лет со мной не разговаривала. Милоша она прозвала «вонючим сербом». — Вера брызжет слюной произнося букву «с». — А ее муж пригласил Милоша с собой в Загреб, чтобы с ним поговорить, и слушай… — Вера наклоняется, угощает секретом Нину, в самой глубинке камеры. — Этот мой зять, вроде симпатичный

мужик, сказал ему: «Я готов заплатить тебе очень хорошие деньги, если ты попросишь у армии перевод в другой город, подальше отсюда, и если ты забудешь, что в мире есть Вера». И Милош ему ответил: «Я очень беден, но я не корова, которую продают и покупают».

«И они не давали ему житья!» — кричит она и начинает разговаривать с Ниной-что-в-будущем, а я потрясена тем, как она за пару минут, не больше, схватила, а также впитала в себя эту странную, придуманную Ниной идею: разговор с Ниной-что-в-будущем на языке живом, простом и целенаправленном. Точно как пять лет назад, когда ей стукнуло восемьдесят пять. Тогда она решила, что обязана научиться пользоваться компьютером. «Я в хвосте не останусь!» Она убеждала и топала ногами перед комиссией по персональным делам кибуца и вытянула из них пособие на оплату двух четырнадцатилетних компьютерных фанатов. Два раза в неделю они с ней сидели, естественно, абсолютно в нее влюбились, и через два-три дня она начала общаться со мной по мессенджеру и по мейлу, с периодичностью раз в два часа. Железными когтями стучала по клавишам. Разгуливала по форумам и апельсинов, и мяты. Посылала ссылки на карикатуры

из «Нью-Йоркера» и свои рецепты варений и пирожков с повидлом («Милош, бывало, пальчики облизывал»), и через несколько недель у нее уже была империя связей и переписок со старыми приятелями в Белграде и Загребе и с новыми друзьями, которые возникали у нее каждый день то в Праге, то в Монтевидео, и их тут же присоединяли к семье, и они уже точно знали, кто такая тетя Хана, и где будут служить в армии внучки Эстер, и как дела с простатой Шлоймеле. И все это она делала быстро, с технической ловкостью и с потрясающей способностью понять внутренний мир вещей и устройств, будто сама была одной из них. И именно так она схватила, даже не заглянув в листок с инструкциями, как включить пылесос, или микроволновку, или смартфон и прочие приборы, которые Рафи без счета ей покупает, потому что так, по его мнению, он сохраняет ее молодой — приборы, над которыми я иногда бьюсь часами, чтобы понять, как открыть коробку, в которую они упакованы (мой возлюбленный в вопросах, требующих умелости рук, — абсолютный чайник).

(Поправка: в большинстве вопросов.)

«Еще сто тридцать», — считывает Рафи с дорожного указателя, и мы колеблемся, в каких

единицах измерения, в километрах или милях, и наша маленькая группка ведет срочное обсуждение, едем дальше или останавливаемся отлить, потому что холод начисто нас добил, и только Вера, у которой мочевой пузырь как у покойного президента Хафеза Асада[30], готова продолжать, пока не доедем до отеля. Но она в меньшинстве, и Рафи въезжает на огромную стоянку, которая сияет драгоценным светом и на которой в этот вечерний час увидишь лишь отдельных работников, обслуживающих прилавки с едой и напитками — пиццей, пастой, гамбургером и кофе; воздух согрет музыкой «метал», и нашей четверке очень трудно снова принять факт существования внешнего мира с его скрежетом зубов и колес.

Мы шатаемся по магазину, пялимся на длинные ряды полок с игрушками — зверюшками фосфорисцирующих расцветок, с огромными электрическими приборами, со старомодными бонбоньерками. И снова и снова натыкаемся друг на друга, будто хотим ухватить что-то, что мы уже держали в руках, но что при свете быстро исчезло, и в одном из переходов мы с Ниной нос

[30] Примечания: 30

Хафез аль-Асад (1930–2000) — сирийский государственный, политический и военный деятель, президент Сирии.

в нос упираемся друг в друга, и от этой встречи никак не увернуться, а ей вроде и ничего, и она говорит мне: «Напомни, о чем это мы сейчас размечтались?»

Она произносит это достаточно спокойно, что позволяет мне на нее среагировать, и я вдруг обнаруживаю приятное выражение на ее лице — у нее брови как вздернутые плечи. Я без мысли протягиваю руку, прикасаюсь к ее тонкой ключице, и это срабатывает. Не поверишь. Она знает, что с этим делать. Она прислушивается к моему дрожащему пальцу, кивает.

Это продолжается долго, пробегает много информации. Есть мгновения, когда мне кажется, что ей бы хотелось сменить направление, прикоснуться своим пальцем ко мне, но она достаточно умна, понимает, что это ни к чему. Потом обе мы отворачиваемся друг от друга и возвращаемся блуждать по лесу — продукту капитализма, и сердце мое стучит.

Где-то там, вдалеке, мой папа сидит на высоком стуле и пьет двойной эспрессо, а я иду к нему, как икринка тиляпии в рот своего отца. Подхожу и сажусь рядом, и оказывается, он уже заказал мне кофе с воздушной молочной пенкой и рулетик с корицей и изюмом, чтобы его погрели ровно

пятнадцать секунд.

На стене над нашей головой висит большое зеркало, и в нем можно увидеть Веру с Ниной, как они идут мимо друг друга по параллельным переходам. Рафи спрашивает: «Ну, есть у нас фильм?» — «Может быть. Мне кажется, что да». И он говорит: «Не сердись, что тут и там лезу к тебе с советами, этот фильм целиком твой». — «Конечно, — говорю я, — но хорошо, что сказал». — «Ага». После короткого молчания он говорит: «Я не знал, что это до такой степени серьезно». — «Только не забывай», — отвечаю я.

«А когда в армии узнали, что мы с Милошем обручились, — продолжает Вера сразу, как только Рафи завел мотор, — Милошу дали трансфер на тысячу километров, дальше всех, в Македонию, в Скопье, и это в наказание за то, что женится на еврейке, потому что в правительстве уже сидели сторонники немцев, и появились антисемитские законы, и в школах уже ввели нумерус клаузус[31]. И тогда мой отец сказал: «За то, что они послали Милоша к черту на рога, выходи за него замуж!» И мы с мамой тут же шагом марш! Раз-два — и

[31] Примечания: 31

Numerus clausus — количественное ограничение, процентная норма. В данном случае речь идет о евреях.

поехали в Македонию к Милошу, чтобы с ним пожениться.

Но по дороге решили, что заедем в деревню Милоша, чтобы мама встретилась с его родителями и со всей его семьей. А это крошечная деревушка в Сербии. Сперва мы ехали на поезде, и отец Милоша встретил нас на станции с лошадью и телегой. И моя мама влезла в телегу и сидела там в костюме, который ей сшил ее венский портной. И в шляпке с вуалью. И с голубым зонтиком, и в туфлях на каблуке. Проехали километров тридцать и попали к реке, и мой свекр сказал: «Давай, невеста, я протяну веревку с одной стороны, а ты — с другой». А мама сидит наверху и шепчет мне: «Куда ты везешь меня, Вера? В ад?»

И так вот мы тащимся шесть километров. Нет дороги. Нет электричества. Нет канализации. Только горы, и скалы, и местами речка, немцы из-за этого тоже туда не сунулись.

Приезжаем, и вся деревня выходит смотреть на такое чудо: госпожи приехали из города! И мне приносят подарки как невесте Милоша — три ореха, яйцо, два кубика сахара, цыпленка… Цыпленка хотели дать моей маме, а она как задрожит от страха, он вызвал у нее отвращение…

А оттуда мы поехали в Македонию, я и мама,

и Милош нас ждал. И объятия, и поцелуи, и он уже договорился со священником, нужен был только кто-то, чтобы сопровождал его, жениха. И священник дал нам лошадь с коляской, чтобы мы нашли какого-нибудь пьяного офицера, который бы на это согласился. Мы все это взяли, и пожалуйста: по пути встречается нам такой Симо Миркович, самый худший пьянчуга из всех, кого Милош там знал, ну мы его посадили в коляску и взяли с собой, и так вот и повенчались.

Но главное, что я забыла. Когда мы приехали к Милошу, то увидели, что у него началась еще одна беда, ему вырезали язву желудка… ой, дуреха, я забыла показать, вот уж дуреха!» И она порылась в своей белой сумке и выудила из нее мутный и древний нейлоновый пакет с несколькими фотографиями, и среди них — портрет Милоша, сделанный после операции. Я фотографирую этот портрет. Я считала, что пересмотрела все фотокарточки Милоша, и теперь думаю, почему этот вот портрет Вера до сих пор скрывала.

Милош с голой грудью и большой квадратной повязкой на животе. Он очень худ, хрупок, но отнюдь не немощен. Вера говорит, что эту его фотку она любит больше всех.

Этот полуобнаженный сербский офицер с вы-

пирающими ребрами, и огромными глазищами, и их пронзительным, почти сбивающим с толку взглядом — он мой дедушка.

Этот худой человек с высоким лбом и сильным, властным носом — это Милош Новак, Нинин отец, командир конной бригады Югославии, офицер конницы маршала Тито и в годы Второй мировой войны партизан, герой войны. Мой дед.

Он очень светлокож и очень худ. Эта худоба окружает его лицо какой-то аурой духовности. Щеки впалые, и потому уши выглядят большими и смешными. Но главное, конечно же, глаза. Есть в них что-то «Гили-подобное». Они как широко распахнутые глаза слепца, человека с душой очень сложной и пронзительной. И чем больше я в них смотрю, тем сильнее ощущение, что мы с ним могли бы стать друзьями. Что он — из моих людей.

Здесь он примерно тридцатилетний, на девять лет младше нынешней меня. Чем-то он напоминает мне папу, когда тот был подростком. Я даже могу угадать, что, когда Нина встретила мальчишку-Рафаэля на плантации авокадо, нечто в нем показалось ей знакомым и любимым. Может, потому так его и протаранила что было мочи.

А я, я на него похожа?

Если бы в какой-то альтернативной реальности наши взгляды случайно встретились на улице, догадались ли бы мы, что его кровь струится в моей крови? Что я — его внучка, единственная внучка? Замедлил ли бы он хоть на секунду свой шаг?

Эта мысль печалит меня (я чувствительна к символам случайностей, но сейчас не о том речь).

«Он так тебя любил! — говорит Вера Нине. — Знаешь ли ты, что он не давал мне тебя мыть? Говорил, что я недостаточно бережно с тобой обращаюсь, и все делал сам, мыл, вытирал, менял пеленку».

Нина просит фотку. Смотрит на нее, потом на меня. Долго. Я не сгоняю ее с моего лица. Как раз наоборот! Пусть увидит меня, пусть увидит, кто попался ей на пути. Пусть увидит, кого она потеряла.

И Нина шепчет: «Меня каждый раз это по-новому потрясает». Фотка снова передается от одного к другому, включая и водителя, и, судя по молчанию, я понимаю, что все они видят то, чего не вижу я.

Вера: «Поэтому я так и люблю смотреть на лицо Гили».

«Глаза», — говорит Нина.

«Такие глаза были только у одного человека на свете, — говорит Вера. — Милош умер, и сейчас они у Гили».

«Эй, — говорю я. — Что тут за торговля органами?»

Вера обращается к камере. «Поговорим о чем-нибудь веселом: это было в воскресенье, а вроде у тебя, Ни́неле, день рождения, тебе исполнилось пять? Шесть? И после того как закончился парад верховой езды, все наездники вдруг въехали на конях к нам на улицу с поднятыми вверх шашками, и все хором запели: «Нина! Нина!», а ты им так вот ручками…»

Вера вытаскивает еще одну фотографию: она стоит перед крошечным домиком, который Милош с семьей перед свадьбой построили в деревне. Домик как на детском рисунке: два квадратных окошка и дверь, черепичная крыша и труба. Вера здесь примерно двадцатидвухлетняя, в тонком шерстяном свитерке, и сверху виднеется очень симпатичный желтый воротничок, но взгляд у нее дерзкий, вызывающий, жаждущий жизни. Она красавица, брови тонкие, дугой, нижняя губка пухлая, сияющая, на лоб красиво упал круглый завиток волос.

«Уже когда мне было восемнадцать, Милош посылал мне очень красивые письма, ты бы, Ни́неле, не поверила, что их написал такой молодой человек. Но я видела у него и то, что меня пугало. Такую грусть в душе. — Вера наклоняется к камере: — Потому что он во всем разочаровался, да, и в людей не верил вообще. И это странно, потому что он был коммунистом, и идеалистом, и очень большим гуманистом, но одна я знала правду: уже в юном возрасте он перестал верить в то, что в человеке сидит добро».

Нина взвивается из-за того, что услышала, обнимает себя руками — ее жест одиночества.

Бывало, говорит: «Требуется великое усилие, чтобы внести в мир хоть чуток доброты, а вот зло — его только подавай, к нему надо только примкнуть».

И бывало, скажет мне: «Ты, Вера, принесла мне свет, подарила мне радость, дорогу. Когда я был один, не было у меня дороги и ничего у меня не было». Потому что пойми, Ниночка, у меня всегда было много друзей и вокруг меня всегда шумно, что поделаешь, такой у меня характер, есть люди, которые это любят, а есть — которые нет. А у Милоша не было ни единого приятеля, никогда. И когда был мальчишкой. Уже и в деревне он не

очень-то верил людям, верил мне одной».

Эти слова поднимают Нинин взгляд к Рафиным глазам, что в зеркале. У них, у этих двоих, идет вечный разговор. Верины слова разогревают в них пары`, в которых мне места нет.

И в тысячный раз до меня доходит то, что я, видимо, не осмеливаюсь осознать, — до чего сильно и глубоко — несмотря ни на что — было это их *вместе.*

«Мы собраны на двоих», — объяснил он мне как-то раз.

«И я открыла ему глаза, твоему папе. Он, например, вовсе не был революционером. Абсолютно! Иногда из-за того, что он делал во время войны, в лесах, люди думают, что он великий революционер, большой герой, смелый партизан, идеолог, но нет и нет, это пришло к нему только от меня. Это я с самого начала всему этому его научила».

«Вот что меня бесит, — внезапно прервала ее Нина. И можно было почувствовать, как она выпускает когти. — Любого человека, который такое про себя наговорит, назовут бахвалом, фанфароном и хвастуном, а вот тебе, честно, не знаю почему, все сходит с рук… это часть… Ты знаешь, что я имею в виду».

«Нет. — Вера быстро облизывает верхнюю гу-

бу. — Объясни, пожалуйста».

«От тебя это принимают. Все. Везде. В семье, в кибуце, твои дружки в Югославии, и не только принимают, но еще и в ножки кланяются. Как это? Нет, честно, мама, объясни мне, научи меня…»

Вера пожимает плечами. Жест отвратительный и жестокий.

Мне было пятнадцать или шестнадцать, я стояла с ней в ее кухне, мы что-то стряпали и болтали, и она, как всегда, упомянула Нину, свою открытую рану, и у нее вырвалось: «Нет у нее харизмы, у этой Нины», — так она сказала. Мне кажется, что я тогда даже не знала точного значения этого слова, но, естественно, с жаром с ней согласилась. Нету у нее харизмы, у Нины, да она и всегда была избалованной, капризной и принцессой, то ли дело мы, Вера и я, у нас наследственность перепрыгнула через поколение… Но как я могла так ей подыгрывать? Какой идиоткой я была, как позволила ей так себя под нее подстроить?

«И ты пойми, Нина-лапочка, — Вера пропускает Нинин взрыв не моргнув глазом, обходит западню и наклоняется к более покорной Нине, той, что в камере, — ты должна понять, что у мужчин Новаков… у них в крови никакого протеста. Они

тихие. Совершенно безынициативные. А я всю дорогу была бунтаркой. Я сражалась с малого возраста и всю жизнь».

«Сражалась за что?» — бурчит Нина, не в фокусе.

«Как за что, Нина? Ты еще не знаешь?»

«Хочу услышать. Хочу, чтобы это было записано».

«Я хотела больше справедливости и человечности».

Решительная складка меж бровей Веры. Восклицательный знак, который одним щелчком выпячивает челюсть, задирает нос — моя бабушка, милая, смешная, щедрая, теплая, безоговорочно преданная, фанатичная, жесткая и жестокая. Бабушка и серый волк в одной шкуре. Как ее выносить? Как вынести то, что она сотворила с Ниной?

И как продолжать оставаться собой и одновременно ее любить?

«Ну, если все так, — говорит Нина, — тогда объясни мне, как такая бунтарка, как ты, влюбилась в человека, который на самом деле, если верить твоим описаниям, был послушным солдатом?»

«Во-первых, — говорит Вера, — у него была своя голова на плечах, и у нас с ним было много-много

о чем поговорить. Полгода после свадьбы мы только говорили. Друг к другу не прикасались».

Папа давит на тормоза, шины визжат. Машина нас встряхивает.

Нина, задыхаясь: «Не прикасались друг к другу?»

«Что слышала». Вера скрещивает руки на груди. Смотрит куда-то вперед.

Нина просит объяснений.

«У нас с самого начала было соглашение, что полгода после свадьбы мы друг к другу не прикасаемся. И это была такая платоническая любовь, Нина, что ты представить себе не можешь… Мы были как магниты, и спали в общей кровати, и горели, как пламя, и — нет!»

«Но почему?» — почти кричит Нина.

«Так Милош сказал, в самом начале. Полгода в виде жертвоприношения. Когда ты отдаешь что-то самое тебе дорогое. Так он придумал, а мне нравились его идеи, и я пошла за ним, и мы этим гордились».

Нина на экране, моргает глазами. «И о чем же вы с папой говорили, пока не прикасались друг к другу?»

«О-о! Много говорили о том, что происходит в мире. Уже были Гитлер и Муссолини, было о чем

подумать. Идеи, программы, дискуссии, всякие способы найти новости, есть еще и сионизм. Где мы чувствуем себя дома и где чужаками».

Она говорит, но я, а может, и Нина с Рафи сейчас не с ней. Мысль о молодой паре, которая так себя зажала, которая так несгибаема, будто бросает на них жестокий луч прожектора.

«Например, в сорок втором мы получили из Москвы приказ, что сейчас лозунг: «За Родину, за Сталина!» А я сказала: «Милош, я с этим покончила. Где моя родина? Где есть пролетариат, там и моя родина! Я интернационалистка!» И Милош испугался: «Ой! Ты троцкистка! Ты нигилистка! Не говори таких слов!» И его жутко расстроило, что я так поступаю и что это, не дай бог, может отдалить нас друг от друга. А мне было ясно, что Сталин — это какая-то клюква. Что Сталин не разрешит моих проблем по поводу моего еврейства, потому что я хотела социализма, какой был потом у Дубчека, социализма гуманного…»

Она замолкает, вздыхает. Может быть, улавливает ветерок холодности и отчужденности, которым повеяло от нас. «Вам всего этого не понять, верно? Для вас это как мир динозавров…»

«С чего ты это взяла? Не так уж давно все и было», — бормочет папа, а я и Нина безмолвно

хмыкаем.

«Нет, нет, вам моего мира не понять. Ни моих войн, ни воздуха, которым я дышала». Она сгорбливается, вся сжимается. Ее одиночество дрожит, ничем не прикрытое, одиночество девяностолетней женщины, мир которой ушел и все друзья умерли.

«Ничего вы не поймете, — бормочет она. — Вы произносите «война», но война на Балканах — это не то же самое, что у нас в Израиле. У войны на Балканах логика другая. Война на Балканах — это прежде всего изнасилования. Здесь насилуют. Не то чтобы ему приспичило поиметь женщину. Ее насилуют, приставив к голове пистолет, чтобы она выродила твое семя, и тогда и ее мужу она не нужна. Такова логика войны. И тут сербы-четники[32] резали ножами детей коммунистов и потом слизывали с ножей их кровь. А хорватские усташи[33], бывшие прислужниками нацистов — я даже не хочу говорить, что они вытворяли. Бал-

---

[32] Примечания: 32

Четники — наименование сербских партизан, повстанцев и ополченцев, как правило, ирредентистского, националистического (великосербского), монархического и антикоммунистического толка.

[33] Примечания: 33

Усташи — хорватское революционное движение до апреля 1941 года; хорватская фашистская ультраправая, националистическая, клерикальная организация.

каны этим упиваются. В них осталось что-то от того, что делали с ними турки. Здесь сохранилась какая-то аномалия. Вы видели и их жестокость в войне, которая недавно здесь прошла, такого не было в мире, может, только в Средневековье творилось что-то подобное».

Молчание. Вера выпускает слова, чтобы в нас просочились. И в воздухе пробегает что-то неуловимое.

«Но вам хочется слышать другие вещи… Рассказы о любви… Голливуд…» — Она вздыхает.

«Рассказывай то, что тебе хочется рассказать», — тихо говорит мой папа.

Она закрывает глаза. «Я хочу рассказать про Милоша и про себя».

«С удовольствием послушаем», — успокаивает ее мой папа.

«Мы, например, очень интересовались книгами. А-ах, Ниночка, твой папа читал… Я не встречала другого мужчины, чтобы столько читал». Ее лицо постепенно возвращает себе обычное выражение, улыбается той Нине, что в линзе. Физически она повернулась к сидящей рядом с ней Нине спиной, и это начинает меня тревожить.

«А ты была маленькая, сладенькая, и твой папа

каждый вечер читал мне вслух книги, и один раз, тебе было года четыре, я сидела на его кровати и вязала, а ты возле кровати играла в куклы, и мы думали: девчушка маленькая и ничего не понимает. А он читал мне про Бауыржана Момышулы, который был казахстанским героем во Второй мировой войне. Ну вот, а через несколько недель у тебя поднялась высокая температура и начался бред, и ты стала кричать: Я Бауыржан Момышулы! Дайте мне пулемет, и я убью всех немцев!»

В машине — смех. А смех — это еще и возможность передохнуть. Нина вытирает глаза. Надеюсь, от смеха: «Видишь, Гили, даже мой бред тоже пришит к делу».

«Знаешь, когда кончается детство? — как-то сказал мне папа после моего очередного тявканья про Нину. — Когда человек начинает по-настоящему взрослеть? Когда он готов принять, что у его родителей тоже есть право на психологические заморочки».

«А у нас с твоим папой, Нина, была такая игра: проверить, как мы на пару размышляем о всяких проблемах. Идеях. Фразу он — фразу я. Посмотреть, как работает логика у нас вместе. Мы все обдумывали вместе. Все направляли вместе к той же точке. Одна голова, одна душа, и не думай, Ни-

на, и через полгода, в которые мы не прикасались друг к другу, это не стало только сексом и постелью, — серьезно объясняет она камере. — Это был союз наших душ. У нас был какой-то внутренний договор в мозгу, и особых слов не требуется.

Перед тем как я вышла замуж, Милош мне сказал: «Послушай, мы очень молоды. Ни у кого из нас нет гарантии, что мы всю жизнь проживем в любви к одному человеку. Но я тебе обещаю, что, если у меня в голове появится что-то, что потянет меня к другому человеку, я сразу тебе об этом скажу, а ты скажешь мне, и мы расстанемся как люди. Встаем в полный рост. И все, что мы натворили — глупости, ошибки, идем и рассказываем напарнику. Так ты никогда не изменяешь мне, а я не изменяю тебе. Такого между нами нет — измены».

Рафи барабанит по моему колену. «Господи, — говорит он по нашей внутренней морзянке, — она и правда в жизни ему не изменяла».

Умереть не встать, и ведь точно, не изменяла.

«Нет… он был что-то особенное, Ниночка». Ее неприкрытый взгляд в глубине моего объектива смущает меня, как физическое прикосновение к моему существу. В тесноте машины она выдает нечто драгоценное и глубокое, но выдает это той

Нине-что-в-будущем и, видимо, в жизни не выдала той Нине, которая здесь, с нами, той, которая сейчас, не сдерживаясь, к ней прижимается, и я могу разок увидеть вживую, как это выглядит, эта обнаженная тяга, этот скулеж.

«А твой папа, Ни́неле, мила мойа, солнышко мое, он не был красавцем или здоровяком, я это уже говорила, но он был такой приличный, стоящий… наши души говорили друг с другом, даже когда мы спали… я очень часто знала, что он скажет через минуту. Я знаю, Милош, чего ты хочешь… — Вдруг голос ее меняется, глаза закрыты, руки соединяются, как в молитве. — До сего дня я умею думать вместе с тобой, и я до такой глубины вместе с тобой, что даже после пятидесяти семи лет у меня на лице скрытые слезы из-за того, что ты ушел». Она шепчет тихо, почти неслышно. «Я что-то потеряла, такого счастья нет в мире. Думаю, ни одна женщина не удостоилась такого счастья с мужчиной. С мужчиной, который говорит, и думает, и любит, и слаб, и силен…»

Нина отодвигается от нее. Все ее существо говорит: каков же был у меня шанс против подобного?

«Но тут уже идет война и в мире Гитлер, и вдруг я не знаю, где Милош и где мои бедные родители,

и только потом я узнала, что их обоих забрали в Освенцим… — Вера колеблется, краешком губ бормочет той Нине, что рядом с ней: — А ей про Освенцим можно рассказывать?»

«Той… той Нине?» — спрашивает Нина.

«Да. Что она знает, чего не знает…»

«Попробуй, я понятия не имею».

«Представляешь, — бурчит мне Рафи, — забыть Освенцим! Вот это подарок!»

«Так или иначе, я в деревушке, в семье Милоша, холод жуткий, никакой еды, есть только два килограмма жира и, может, двадцать килограммов кукурузы на все семейство, и начинают приходить списки, кто погиб, а кто попал в немецкий плен. Их вывешивают на доске объявлений в школе, а Милоша в списках нет, и я говорю своему свекру: «Свекр, я отправляюсь его искать». А он мне: «С ума ты, что ли, сошла, невесточка, как ты пойдешь-то? Куда пойдешь? Вокруг война!» Но проходит день и еще день, он видит, что я стою на своем, и говорит: «Я пообещал сыну тебя беречь, и я пойду с тобой».

И так вот и пошла с наганом, который мне когда-то дал Милош, в одежде сербской крестьян-

ки, в дырявых опанаках[34] и со свекром в его деревенском прикиде, в толстых вязаных чулках, раздувающихся сзади штанах и с большим ремнем. Он был красавец. Красивый Новак. И вот мы идем пешком, а это сто километров, потому что идти надо все время в обход. Идем через горы, мимо загонов для овец. Когда наступает ночь, свекр мне говорит: «Ложись здесь!» Он стоит в воротах, стоит прямо, стережет меня с наганом в руке. В любой час ночи, как открою глаза, вижу, он стоит и стережет». Я поворачиваю камеру, чтобы поймать Рафи. Большое бородатое лицо, перерезанное морщинами. Спрашиваю себя, думает ли он о своих поездках в поисках Нины.

«И всю дорогу мы разговаривали. Ему все время хотелось узнать еще и еще про мир, кафе, театры, кино… И он был очень умным. Я же тебе говорила, все мужчины Новаки умные. А он, отец Милоша, был безграмотным крестьянином, но какие беседы, Нина! Какие рассуждения! Когда наступал вечер, мы, бывало, разведем костерок, загородим его камнями, чтобы со стороны не видно, и печем каротошку или какую кукурузу и разговариваем.

---

[34] Примечания: 34

Опанаки, опанки; ед. число опанак — кожаная обувь, распространенная у южных славян и считающаяся национальной обувью сербов и хорватов.

Он просил: «Расскажи мне, невесточка, про большой мир, расскажи про евреев, про их веру». Он в жизни своей не слышал, что есть такой народ, евреи. Он думал, что мы какие-то цинцары, это типа смешанного народа — греки с сербами, которые жили в Македонии.

«И все время он говорит мне: «Ты сумасшедшая, невесточка, что будет, если нас схватят?» — «Не схватят!» — «Но докуда ты собралась идти и искать?» — «До Германии! До Гитлера! Я его разыщу!»

Так вот и шли, с утра до ночи. Поедим немножко хлеба с салом, попьем из какой-то речки, ни единой живой души не попадается. Если кого увидим вдалеке, сразу спрячемся.

«Он был чистый человек, и я ему доверяла. У него были большие голубые глаза, как у ребенка. — Вера посмеивается. — Его жена, мать Милоша, красивой не была, но была сильней его. И такая чертовка, ого! Ты, Нина, послушай, что я расскажу…»

Вера устроилась поудобнее на своем сиденье, наклонилась к камере и весело потерла руки: «Я раз спросила свою свекровь, изменяла ли она ему во время Первой мировой войны, когда он служил в армии. И она ответила: ты ведь знаешь,

когда мы танцевали, я в волосы втыкала красный цветок… ну так вот, этот и тот вытаскивали этот цветок у меня из волос зубами…» И отсюда я понимала, что у нее были романы и с тем, и с этим».

«Я вообще тебе говорила и еще раз повторяюсь: Новаки — мужики очень красивые, ужас какие умные, но не притягательные. А бабы — чертовки. Абсолютно не красавицы, но в корешке — этакая пружинка. И сестры Милоша — ого! С ними было полно проблем, полно историй…»

Взгляды Нины и Рафи вновь встречаются в зеркале заднего обзора. Почти слышен звук их столкновения. Из-за положения, в котором я сижу, приходится изогнуться, чтобы заглянуть в зеркало. Рафаэль посылает Нине этакую кривую улыбочку, она ему ее возвращает, а я все вижу и до того сохраняю на лице бесстрастность, что Нина спрашивает его, тоже взглядом, рассказывал ли он мне. Он кивает.

«Я ведь просила не рассказывать», — говорят ее обиженные глаза.

«У меня от Гили секретов нет», — отвечают папины плечи.

А теперь Вера морщит лоб: «Минутку, о чем это вы там?»

«Да так, чики-чирики, — говорю я. — Перего-

воры уцелевших». Нина разражается смехом, а я наполняюсь дурацкой гордостью: сумела рассмешить грустную принцессу.

«Ты как будто малость в шоке», — сказала ему Нина. Это было пять лет назад, в августе 2003-го, в конце того дня, когда мы праздновали Верины восемьдесят пять. Нина потащила Рафи на вечернюю прогулку туда, где некогда была та самая плантация авокадо, на которой они повстречались. Сегодня там завод по производству дисплеев для телефонов, с его доходов кибуц живет совсем неплохо. «Я вижу, что тебе трудно, Рафи, солнышко, твои дела… Ты не можешь поверить, что то, что я тебе рассказываю, это правда. А может, вовсе и не правда… Послушай… — Она пронзительно рассмеялась. — Иногда утром, перед тем, как я по-настоящему проснусь, я несколько минут лежу и думаю: не может быть, что это моя жизнь. Что так она выглядит, что во мне сидит эта жуть…»

«Не знаю, зачем я тебе это рассказываю, — ухмыльнулась она. — Ведь все дело, вся соль в том, что каждый из них знает только частицу меня, только свою девчонку, а я вот иду и по собственной воле вручаю все, весь пакет другому человеку. Да еще человеку с камерой в руке, и это человек, на которого я полагаюсь больше всех на

свете, нет никого, которому бы я доверяла больше, чем тебе, ты ведь это знаешь, правда, Рафи?»

Рафи сказал, что да. У него аллергия на алкоголь, а от ее речей началась еще и мигрень.

«Но ты человек самый неподходящий для таких рассказов, — смеялась Нина. — И человек, который больше всех будет от них страдать… Ты еще можешь передумать…»

«Я слушаю», — сухо сказал он. Его поразило, что она предложила и даже потребовала, чтобы он заснял все, что она хочет ему рассказать — исповедь? Завещание? Еще один обвинительный документ против Веры? — ему было трудно решить, но по нему стал разливаться холод, и он догадывался, что это одна из тех минут, после которых уже ничего не исправишь.

«Потому что я и сама в минуты, когда просыпаюсь, когда мозг, как это говорится, заново меня включает, я и сама не могу осознать, что все это правда. Что я так искалечила свою жизнь. И сейчас я уже не вижу пути, по которому можно вернуться к жизни людей нормальных, обычных, порядочных… А у меня… здесь… — внезапно она сильно ударила себя сзади по затылку, — столько секретов и врак… и как мне от этого не спятить, скажи мне? Как я держу в этой коробочке весь

этот клубок…»

Рафи сказал себе, что он всего лишь глаз, который фотографирует и только потом попытается понять.

«Когда мы с тобой были вместе в Иерусалиме, то, что я при тебе, еще как-то меня держало. Очерчивало меня какой-то линией. У меня была граница. Я знала, где правильно, где свет и где начинается тьма. Это правда, что бо`льшую часть времени я хотела от этого сбежать, но и возвращалась. Послушай, Рафи…» — «Я слушаю», — пробормотал он. «Я сейчас отрываюсь, как не отрывалась никогда». Рафи сказал себе, что ничто из того, что она ему расскажет, его не сломает. «И знай, никому, ни единому человеку в мире я не… не так… и поэтому мне захотелось, чтобы ты снял меня, когда я это говорю, понятно?»

Он тряхнул головой.

«Не понимаешь, а? — В ее глазах было мрачное отчаяние. — Чтобы один раз, в одном месте в мире, все эти вещи, все эти враки собрались вместе, и тогда пусть на несколько минут они станут правдой…»

«Нина, — мягко сказал он, — может хватит, может вернемся к Вере?»

«…А я сейчас смотрю на себя, смотрю на себя твоими глазами и не верю, что это я, что это происходит со мной, что так закрутилась моя жизнь и моя любовь тоже, я говорю не о любви к кому-то, этого у меня сейчас нет. Я говорю о месте для любви, которое было у меня внутри, о месте, которым я могла испытывать любовь, простую, верную, как любишь папу и маму, когда тебе три года.

И осознать, что она стала до такой степени продажной? Так говорят: «продажной»? У меня вдруг стали убегать слова, малость перепила… Моя любовь продажна, да я уже и сама такая, и этого не должно было быть! — Последние слова она выкрикнула. И Рафи отпрянул. А она рассмеялась. — Я тебя пугаю, да? Это не то, что было написано мне на картах, Рафи, и думаю, это и не в моем характере… Мой настоящий характер у меня забрали, когда мне было шесть с половиной лет и вернули мне его через три года совершенно испорченным, изломанным… потому что я еще помню, какой я была, какой я была девочкой… Я помню ее, помню ее! — прокричала она с надрывом. — Потому что я была девочкой веселой, серьезной, но веселой, и она — самая большая драгоценность, которая у меня есть, и у нее я до

сих пор черпаю силу, кроме нее нет у меня силы… ты только представь себе: женщина в моем возрасте черпает все, что у нее есть, из шестилетней девочки…»

«Удача, что она у тебя есть, — сказал он. — А теперь пошли обратно. Вера будет волноваться».

«Я вдруг вспомнила, просто так, ничего серьезного, мне было шесть лет, и папа поехал со сборной по конному спорту в Рим, и он привез мне оттуда белые сандальки, ужасно красивые… А в другой раз привез мне кофточку silk — как это называют? — из чесучи и сказал, что она еще больше подчеркнет мои глаза… но я хотела сказать тебе что-то другое. У меня мысли разбегаются… Я в последнее время малость забываю то и это, смешно, из-за всей этой сумятицы, из-за того, что я скрываю, из-за своей двойной жизни, хорошо бы если только двойной… тройной, четверной… но мы говорили про что-то другое… что я хотела… погоди, вот, я вспомнила про разницу между тем, что мы видим снаружи, и тем, что на самом деле… посмотри на меня, позабудь на минуту, что ты немножко меня любишь, сделай ради меня усилие, скажи, что ты видишь. Довольно нормальная баба, верно? Уже не молодушка. Не та, что, как говорится, кружит головы, кроме,

к счастью, твоей головы, но это уже зависит от твоих собственных заморочек, я за это ответственности не несу… Так вот, баба достаточно обыкновенная, с первого-то взгляда. На ее фирме в Бруклине (она там работает уже семь лет), может, пять человек из тысячи работников знают ее частное имя, этой мисс Новак, или вообще знают, что у нее есть частное имя… Женщина малость анемичная, и мяса на ней не так чтобы, хотя иногда, скажем, при определенном освещении, она довольно привлекательная, почти красивая, но ясно, что уже не в расцвете лет, согласен с формулировкой?»

«Я потом скажу». Он, Рафи, вдруг сообразил, как важно ей было, чтобы он заснял ее сейчас, сразу после того, как закончилась семейная тусовка, и той же самой камерой, которой были сняты все моменты, из которых она изгнала себя.

«И вот представь себе, что под тонкой кожей мисс Новак, этой бледной блондинки из секции делового, экономического и технического перевода, что в отделе языков Среднего и Ближнего Востока — Иран, Турция, окошко для иврита, — под этой кожей кто-то бешено, исступленно скачет — дьявол, но настоящий, с хвостом и красными безумными глазами, и что это за дья-

вол, Рафи, откуда он взялся, скажи мне, если ты вообще с ним знаком, если ты хоть раз в жизни испытал, как он жжет тебе мозги и кишки, пока не доберется до члена, и как хватает тебя за яйца и, как перчатку, выворачивает тебя наизнанку, и на тебя ему наплевать, понимаешь, на меня ему абсолютно наплевать, и я это принимаю, мне это подходит, *сут ми вэл*, мной он всего лишь пользуется ради того, чтобы выжить. Ради своего наслаждения, *своего*, гораздо больше, чем *моего*, и он стругает меня о любой промелькнувший член, только это ему и подавай, этому моему дьяволу, и я подписала с ним контракт, который мне подходит, ведь единственное, что ему надо — это движение, трение, понимаешь? Темп, движение, дрыганье — видимо, это то, что вырабатывает у него электричество, и мне это тоже нужно, ты ведь знаешь, быстрота, трение и постоянные перемены, смена моих кобелей, наивных моих мужиков, которым и в голову не придет, что они никак не *он энд онли* (единственные) на моем веере… но теперь ты знаешь и ты единственный в мире, Рафи, кто знает, что их четверо, на данный момент четверо, попеременно, так-так-так-так!» Руки ее двигались очень быстро, как у карточного мошенника, который работает на тротуаре. Ее

веки задрожали, и глаза закрылись, и в ее клокочущих в горле словах было что-то странное, пьяное, но и вызывающее. «А может, скоро и четверых не хватит, я уже предупреждаю тебя, Рафи, что может и четверых не хватит, потому что как это с четверыми, я уже изучила, верно? Я научилась кидать четверку в воздух, и ни один из них не падает вниз, и ни один не сталкивается с другим, и в скором времени может сложиться ситуация, когда мне придется дозу увеличить, стать этаким жонглером с пятью, нет, минутку, шестью, ведь почему бы и не с шестью, а может, через некоторое время и шести не хватит, и мне понадобятся семь, что такого…»

Она тяжело дышала. Щеки пылали. Когда он увидел ее такой, так сказал мне мой папа, когда увидел ее взгляд, то понял выражение: «Чуждый огонь»[35].

Кстати, в конце он показал мне все, что заснял, всю фотосессию, без купюр. Показал мне после

---

[35] Примечания: 35

Библейская история сыновей Аарона Надава и Авиуда, которые согрешили, нарушив Божье повеление относительно возжения фимиама, и немедленно погибли, будучи истреблены огнем, снисшедшим от Господа. Это случилось, когда евреи находились в пустыне Синайской. Сущность их вины в том, что они принесли пред Господом огонь чуждый, то есть огонь обыкновенный, а не тот, который по повелению Божию должны были брать с жертвенника всесожжения. (Пятикнижие — Левит 10: 1–2.)

бесконечных моих просьб и уговоров. Я все время молилась, чтобы он не показывал, чтобы оказался ответственным взрослым и меня пощадил, чтобы был *моим папой*, но под конец он сломался, а потом, так он сказал, раскаивался из-за этого каждый день своей жизни. И я тоже.

На чем я остановилась.

«Как ты сейчас смотришь на меня, Рафи… Я знаю, что ты думаешь, но я хочу, чтобы ты дослушал до конца и только потом решил, о'кей? После этого вынесешь приговор человека такого, как ты, приличного, осторожного, здравомыслящего. — Она выплевывала эти слова. — И, может, решишь отправить меня в ссылку, на перевоспитание, может, в школу на каком-нибудь острове, острова как раз хорошо вяжутся с моей семьей, особенно *нэйкэд айлэнд* (голые острова) типа Голи, только ты, Рафи, запомни, запомни, что этим меня не запугаешь, потому что я уже давным-давно там, на этом острове, я там с тех пор, как мне было шесть с половиной, и я там одна, меня сослали туда без всякого суда и следствия и сослали в одночасье, я даже не смогла привести в суд кого-то, кто замолвит за меня доброе слово, и ты — единственный из всех людей на свете, который, может быть, сумеет сказать про меня что-то

хорошее, и единственный, который еще верит, что меня можно оправдать, верно ведь, Рафи?»

Ее пальцы растопырились и задергались, как у утопающего.

«Оправдать не только по поводу этих самых, ну, кобелей — оправдать вообще… Если бы можно один раз, всего один раз окунуть меня в какой-то раствор и вытащить из него чистой, и непорочной, и совсем-совсем *обыкновенной* — вот по чему я больше всего тоскую, забудь про все остальное, просто *обыкновенной,* какой была когда-то, понимаешь, до того, как все случилось с Верой, и Милошем, и со мной. Оказаться еще раз, пусть хоть на пять минут, в Белграде, в том утре, когда мама отправила меня к своей подруге Йованке, и я вышла из дома, было уже холодновато, октябрь в самом разгаре, и на тротуаре были нарисованы мелом и почти стерты классики, и я попрыгала, и был листопад, я так хорошо это помню! — Она откинула голову и закрыла глаза. — Листья были большие, желтые и красные, и к углу нашей улицы как раз подъехал продавец каштанов со своей тележкой, и, помню, я посмотрела назад, на наш дом, я чувствовала, что мама утром была рассеянной и чем-то встревоженной… Вера, как ты знаешь, никогда не бывает рассеянной, а в

то утро она напялила мне свитер задом наперед и два раза пробовала заплести мне косы, а ее руки как будто не… и когда я посмотрела назад, то увидела, что в нашей двери стоит высокий и толстый человек в черной куртке, и он глядит на меня, и это меня напрягло, и я быстро пошла к дому Йованки, а не побежала обратно домой, к маме, чтобы она не оказалась наедине с этим вот человеком, я его испугалась, я сбежала, у меня сработал инстинкт, что от него сто́ит подальше, но как я вообще вдруг про это заговорила?»

Она посмотрела на Рафи загнанным, испуганным взглядом.

«О чем это я говорила?»

«О том, чтобы быть обыкновенной».

«Обыкновенной, да, ясной. Чтобы можно в меня заглянуть и увидеть до самого дна. Но у меня это уже невозможно, моя линза испорчена начисто, вернее, линз несколько, одна на второй, на третьей, на… сколько же можно, скажи ты мне? Сколько врак можно впихнуть в жизнь одного человека, прежде чем его мозг даст течь? Они приходят ко мне, один следом за другим, иногда двое в день, один уходит, и через пару часов я принимаю другого, и боже тебя избавь подумать, что я это делаю ради денег, если кто-то из них

ошибается и предложит, он вылетает из сборной, за это нет прощения, но во всем остальном я сладкая и хрустящая, я невинная, и мягкая, и по-матерински нежная или сволочная, это как угодно покупателю, Нина согласна на любой вариант, на любую идею и чем безумней, тем лучше, ты не представляешь себе, Рафи, что это такое — раз за разом вываливаться в грязи, и именно это сводит с ума моих господ — что дозволено все, любая дурь, любой каприз, тебя тошнит от меня? Заткнуться?»

«Я сейчас только снимаю».

«Я же сказала, снимай, мне нужно, чтобы вся многолетняя ложь вылилась за раз… Рафи, бедный ты мой… какая жизнь могла бы у тебя быть, если бы твоя душа не зацепилась за гвоздь, который есть я… продолжать?»

Камера кивает.

«И они не способны поверить в свою удачу, в то, что эта тощая серая телка из отдела *со энд со*, ну та, с которой они полюбезничали без всяких там задумок, просто из вежливости, чтобы сделать ей приятное, — что эта анемичная сова вдруг вспыхивает, и пылает в их объятиях, и корчится, и безумствует, будто они спят с тремя-четырьмя-пятью разными женщинами, и только целовать

себя в губы она не позволяет, и в этом она как раз похожа на своих сестер-проституток, ой, Рафи, заинька ты мой». И тут она шагнула вперед, и обвила руками его шею, и выдохнула в отчаянии, а потом пришла в себя, отступила и сказала в камеру: «Я треплю языком и треплю, а главного не сказала… а что главное, вдруг не вспомню… что там главное? Скажи мне ты…»

«А главное то, что ты все это выдумываешь, чтобы свести меня с ума», — тихо сказал Рафи со злостью, которую с трудом удержал внутри.

«Ох, дай бог, — вздохнула она. — Дай бог… если бы была возможность, какое-то чудо, чтобы вернуть все это в лунку фантазии… Все это правда, Рафи, и ты не понимаешь, ты слишком хороший и слишком чистый, чтобы такое понять, а теперь выслушай и позволь мне все сказать до конца, потому что второй раз в жизни этого не случится, чтобы я рассказала такое кому-то, а то, что мы здесь снимем, ты красиво передашь мне в руки, и я выброшу это в самую глубокую яму, какую найду. А главное, что я хотела тебе рассказать, главное — это последние минуты перед тем, как он постучится в дверь, этот очередной… это минута, когда мой мозг просто вскипает *перед тем*, как он пришел, кобель номер два или номер

три, рубишь? Главное — эти пять-десять минут до этого, когда я представляю, как он выходит на станции метро, и я вижу, как он идет ко мне, идет и приближается, и каждый его шаг я чуть-чуть задерживаю в воздухе — потихоньку, *дарлинг*, — а он летит ко мне, как стрела, но как в замедленной съемке. И вот он проходит мимо маникюрного салона девиц Макория, потом там «Дели» и индийская бакалейная лавка, и я уже почти сдохла от ожидания, ой, Рафи, почему мы не остались дома, в моей комнатке в кибуце, когда мы были детьми, почему ты не запер меня там после того, как мы переспали, чтобы сидела, пока не излечусь от этого яда, от этого наркотика?»

Рафи молчит.

«А тот уже на углу, возле аптеки, и на лице возникает улыбка, потому что от моих жарких волн он уже весь мокрый, они поднимаются к нему с тротуара, от асфальта, и это, как бы сказать, огненные круги, как в цирке… у меня выскочило слово…»

«Обручи?» — неохотно шепчет Рафи.

«Об-ру-чи… — Она с удовольствием смакует это слово. — Но только он их и видит. Все идут мимо и их не замечают. Проходят слева от них или справа, и только он проходит сквозь мои

огненные круги и прыгает внутри них легко, как элегантный лев, и его грива раздувается, и его костюм лопается на его меху, и он знает, он чувствует, что сейчас по дороге ко мне он перепрыгивает через огненные круги, и он понимает, что полностью утратил способность независимо передвигаться по улице, и единственное, что сейчас его влечет, — это я. Я — сильнейший магнит. Ну что я парю тебе мозги, Рафи, заткни меня, когда тебе осточертеет слушать, как это тебе еще не осточертело, и вот, гляди, включи воображение, будь рядом, не уходи сейчас, увидишь собственными глазами, как старый лифт кряхтит внизу и медленно-премедленно поднимает его ко мне, девятый этаж, десятый, одиннадцатый, двенадцатый… и он, этот господин, хочет, он весь-целиком — одно жгучее желание. Меня он хочет, Рафи, меня, понимаешь? А я вся — одно желание, чтобы он меня желал, и вся — огонь, потому что сейчас он избрал меня, свою маленькую Нину, и я внутри его абсолютного желания, и его член, он как стрелка компаса, указывающая на меня, потому что в эту минуту из всех миллионов, живущих в Нью-Йорке, он выбрал именно меня. Он ясен и однозначен, и, кстати, все мои кобели таковы, нет такого, что «не знаю, что со мной сегодня, у меня

такого в жизни не случалось», нет. Полностью отброшен, и тут же нашли ему замену, потому что меня, милый мой Рафи, обязаны желать. Понял? Понял?»

Рафаэль вздохнул. Голова у него болела так, будто кто-то внутри ее сверлил. «Ты пьяная, Нина. Пошли обратно к Вере в комнату, сварим тебе крепкий кофе…»

«Желать и вожделеть, и снова желать, пока в мозгу не останется места ни для единого факта, кроме одного: что меня желают, вот условие для того, чтобы ко мне попасть, избрать, меня следует избрать…» — она закричала и вдруг завыла от слез.

Рафи проглотил слюну. В последние минуты он был где-то вне самого себя. Сейчас он почувствовал, будто гипнотизер щелкнул пальцем прямо около его уха и разбудил Рафи. И его боль пробудил. «Что?» — спросила она после нескольких минут молчания.

«Что что?»

«Скажи что-нибудь, плюнь на меня, раздави меня каблуком, как сигарету, вызови кибуц для побивания камнями. Я сама не верю, что такое сделала».

Ноги ее подкосились, и она осела на крышку

мусорного бака. И охватила голову руками. «Не могу поверить, — простонала она. — Изо всех на свете именно тебе? Дай сюда камеру».

«Насчет этого решим утром. Когда протрезвеешь от сотола».

И она, к его удивлению, согласилась. Подняла к нему свои измученные глаза. «Ну скажи хоть что-нибудь, не оставляй меня так, истекать кровью».

Он сел рядом, глубоко вздохнул и прижал ее к себе.

«В твоих глазах я не грязная?»

«Не знаю я, что чувствую».

«Я в твоих глазах грязная».

«Когда-то, когда мы были… когда только начинали… когда я разыскивал тебя по всему Израилю, я дал обет. — Он вздохнул. — Ладно, чего там, я тебе расскажу. Я дал обет, что всегда буду вбирать в себя твои яды, пока ты совсем от них не очистишься, и тогда, так я думал, мы сможем начать по-настоящему жить».

«А что сейчас?»

«Не знаю. Мне кажется, что я достиг предела своей абсорбционной способности».

«Предела или уже вышел за границу этого предела?»

Ее голос сломался. Рафи молчал. Думал о том,

что, может, и впрямь пришло время убрать ее из своей жизни.

«Понимаю», — сказала она.

«Пошли обратно, там Вера ждет».

Нина прильнула к его руке, прижалась к нему. Он подумал о ее теле, о жизни ее тела. Как-то раз она сказала ему, что можно написать два совершенно разных рассказа: один — про нее, а второй — про ее тело.

Его рука на ее плече ощущалась более легкой, чем обычно.

«Она из-за меня замерзла, — сказала Нина. — Ее от меня тошнит».

Его захлестнуло отчаяние из-за нее, из-за того, что она так далека, за пределами всего, что ему понятно. Он чувствовал, что она падает, хромает к пропасти. Он схватил ее, повернул к себе и поцеловал в губы.

И целовал, и целовал. И она тоже. И они целовались.

Потом разъединились, и стояли, и глядели друг на друга.

«Ну, — сказала она задыхаясь, — вобрал в себя немножко ядов?»

«Можно подумать, что это наш первый поцелуй», — пробормотал он. Мимо них прошла

стайка девочек-подростков. «Закажите себе комнату!» — крикнула одна из них, а другая добавила: «В убежище для бомжей!»

Нина с Рафи расхохотались.

«Мой первый поцелуй уже с каких пор», — сказала она.

«Какой сладкий у тебя рот», — сказал он.

«Поцеловались… — пробормотала она. — Что ты со мной сделал, Рафи?»

«Поцеловал женщину, которую любил всю жизнь».

Она издала легкий вздох. «Ты просто чокнутый», — сказала она и вдруг яростно вскипела, будто он только что безмозгло испортил ей сложнейший проект, над которым она трудилась годами.

Но тотчас пришла в себя и прильнула к нему всем телом. «Беги, — сказала ему. — Спасай себя. — Они снова поцеловались. — Мы уже на глубине девяти поцелуев», — пробормотала она. Он засмеялся, и Нина обрадовалась. — Он снова ее поцеловал. Она уточнила: «Это поцелуй разлуки? — Он снова ее поцеловал. Ее голова лежала на его руке. Глаза были закрыты. Губы растянуты в улыбке. — А у тебя такое бывало? — сказала она. — Ты начинаешь что-то есть, и только тут

до тебя доходит, как же ты изголодался!» Ее тело расслабилось, растеклось в его руках.

«Ни разу до этого мы не были так близки друг к другу душой и телом», — сказал мне Рафи после того, как я кончила просматривать отснятый им материал, и мне захотелось умереть.

Но утром следующего дня, за два дня до назначенного срока, не попрощавшись ни с папой, ни с Верой, Нина улетела обратно в Нью-Йорк.

«Мы со свекром входим в Белград, на дворе ночь, а нам нужно добраться до Хорватии, в мою страну, и я перво-наперво хочу посетить наш с Милошем дом в Земуне, что прямо рядом с Белградом. Хочу хоть десять минуток побыть в нашей красивой квартирке и взять немного одежек и вещей, чтобы их продать, ну а деньги помогут нам отыскать Милоша.

Но в Белграде комендантский час, и там понтонный мост, а по нему уже едут немецкие солдаты. И тут я вижу военную машину с венгерским флагом, я кричу водителю по-венгерски: «Возьми меня!» И он перевозит нас со свекром через мост. И вот мы уже в Хорватии, вокруг тьма-тьмущая, мы идем и подходим к моему дому. А там дома высокие, четырехэтажные, и я вижу, что мои жалюзи Айслингера открыты, и снаружи на

веревках висят униформы немецких солдат. Я в темноте поднимаюсь по лестнице, подхожу к двери, а на двери красная табличка с этой их птицей и написано: «Занято немецкими войсками».

Тут я приоткрываю дверь, заглядываю внутрь, а там свет, и солдатня, и проститутки, и осколки моих красивых хрустальных рюмок, и я тихонечко закрываю дверь, спускаюсь обратно и говорю свекру: «Малость подождем, а после я зайду», а он мне: «С ума, что ли, сошла, невестушка, да не дам я тебе туда возвращаться, потому что пообещал твоему супругу тебя беречь». А я говорю: «Мне нужны мои вещи, чтобы Милоша спасти, и у меня есть план». А он мне: «Да где ты будешь Милошато искать? Милоша небось уже и на свете нету», а я ему в ответ: «Есть Милош, и я его найду!» И так вот мы строим большие планы и оба не думаем, что мы вообще-то посреди Хорватии и что на моем свекре одежки сербские, а я одета как сербская крестьянка, и когда мы про это вспомнили, то жутко перепугались.

И я сразу подумала: ничего-то я не умею толком делать, и наверно это доказательство, что я недостаточно люблю Милоша. И вдруг вижу неподалеку от моей ноги, может, в двух метрах, на панели, лежит что-то, похожее на человека, и

говорит мне: «Мико, как ты ко мне пришла?» И я ему: «Милош, откуда ты узнал, что из всех мест на свете надо прийти именно сюда?» — и Милош мне отвечает: «Я знал, что ты придешь в нашу квартиру за вещами, чтобы была возможность до меня добраться». И я ему говорю: «Милош, ты выглядишь очень больным, ты правда живой?» — и он говорит: «Я живой, но тяжело ранен. Я досюда почти две недели полз».

«Не может быть», — шепчет Нина.

«Что значит не может быть?» — настораживается Вера.

«Все правда так и было?»

«Так все и было».

«Ну, честно, вы как из сказки…» — Она что-то бормочет. Мне трудно разгадать, что она хочет этим сказать.

«Да, — говорит Вера со странной веселостью, — мы как из сказки».

«Продолжай, бабушка», — прошу я.

«…И Милош рассказывает, что его дивизия распалась, хорватские фашисты захватили сербов в плен и заперли в гимназии в городе Бьеловар, а Милош выпрыгнул в окно и упал на живот, на котором ему делали операцию. Швы разошлись, и вот он плетется по улице и все время падает, да

на нем еще и сербская униформа, и тут он видит магазин одежды «Гринхуд», еврея! Постучал в дверь, сказал: «Господин Гринхуд, откройте мне». Еврей испугался, но открыл. И Милош сказал ему: «Моя жена — еврейка, Вера Бауэр». «Бауэр? Я был знаком с Кларой Бауэр из фирмы «Бауэр», конечно же, ее мать! Давай, входи поскорей». Он его накормил, сжег сербскую униформу и дал хорватскую одежду, и Милош несколько дней ночевал там в кладовке, пока не сказал: «Теперь я должен идти встречать мою жену».

Вот что Милош нам рассказал, и я замечаю, что он говорит со мной как с женщиной: «пошла, взяла», не как с парнем, и, может, это потому что с нами его отец или потому что он по мне не особо скучал. И покамест мы сидим втроем в темноте на панели, я себя держу в руках, чтобы его не обнимать и вокруг него не плясать, и он тоже держит себя в руках и меня даже кончиком ногтя не касается, из почтения к отцу. И тут мы видим, что солдаты и проститутки начинают выходить наружу, пьяные такие, распевают. Я говорю своим мужчинам: «Теперь мне пора». И иду. Если там кто есть, пьяный солдат или проститутка, я его убью. Я беру в руки свой наган, вхожу в свой дом, а там — ни души, только все кверху дном. Эти

проститутки и солдатня разгромили всю квартиру. И я начинаю выбрасывать свекру из окна драгоценности моей мамы, которые я запрятала в коробки из-под мармелада. Я нашла и немного денег, и еще набор серебряных столовых приборов. Набила два чемодана и сбросила вниз простыни и пуховое одеяло, которое сохранилось у меня по сей день. Рафи недолго, пока жил дома, и потом Гили любили спать под ним даже летом».

Рафи сказал, что это одеяло пахло заграницей. А я помню, что мне нравилось ощущать, как это одеяло окутывает меня со всех сторон. Я снимаю Нинино молчание.

«И так вот я выкрала свои вещи и потом спустилась вниз, вернулась к свекру и Милошу и сказала: «Сейчас мы потихоньку забираем Милоша обратно домой».

Теперь в чем проблема? Проблема в том, что Милош едва передвигается, опирается на меня, у него боли. Шов от операции открылся, и из него капают гной и дрек. И он обеими руками держится за живот, чтобы кишки не вывалились наружу, но мы же вместе, значит, все в порядке, и его отец идет на несколько шагов впереди нас, как будто не смотрит, не видит, как я приглаживаю Милошу волосы, чтобы не падали ему на глаза, и

я думаю про себя, дай бог нам так идти всю нашу жизнь, больше этого я не прошу. Но у Милоша кончились силы, и я тащу его на спине, потому что у его отца ранение на спине после Первой мировой войны.

И так мы доходим до моста. Три часа ночи, мы ждем, пока чуть-чуть рассветет, и тогда они снова прокладывают мост и перво-наперво пропускают крестьян, у которых земля в Сербии. Я подошла к крестьянину с телегой и двумя коровами. «У нас тут раненый, — говорю я ему. — У меня есть серебряные вилки и чайные ложечки, и это все тебе». Он говорит: «Положи все сюда». Мы влезли на телегу, и он довез до конца моста, а там, за мостом, базар «Зеленая корона», и крестьяне уже там. Я оставляю Милоша с отцом и беру кольцо с брилантом…»

«С бриллиантом, — рассеянно поправляет Нина, — говорят «бриллиант».

«Я так и сказала».

«Ты сказала «брилант», ладно, неважно. Продолжай».

«Именно так. Брилант!»

«Ну хорошо, не злись. — Нина откидывает голову назад, шипит про себя: — Сорок пят лет в Израиле, а разговаривает как новоприбывшая».

«И там есть что-то типа *таверны*, — говорит Вера, делая ударение на этом слове, — а это слово я верно произнесла, Нина? Или это тоже из словаря новоприбывших?» Нина смеется. «Один-ноль в твою пользу, мама, да ну меня… хватит, продолжай».

«И я захожу внутрь и кричу: «У кого есть лошадь с телегой, я за это отдам кольцо с брилантом». И хозяин проверяет кольцо и говорит: «Это стоит трех телег с лошадьми». «С меня хватит одной телеги!» Мы усаживаем Милоша на телегу, я крепенько укутываю его в простыни и пуховое одеяло, что забрала из квартиры, говорю хозяину, чтобы отвез его в деревню Милоша, а я, мол, хочу проскользнуть в деревню ночью, чтобы никто не пронюхал, что Милош вернулся, потому что могут настучать и опять его забрать, а мне потом снова его искать. И так вот мы туда приехали, и его мать, моя свекровь, в тут же минуту зарезала барана, сняла с него меховую шкуру и завернула в нее Милоша, и зашила его большой иглой, и Милош проспал там внутри почти два дня, и когда вытащили его наружу, к нему на лицо уже стал возвращаться цвет, и мы положили его в маленькую комнатку без окна, и занимались им только я да его мать.

А бедный Милош переживал за меня больше, чем за себя. «Как ты держишься, Вера? Такая жизнь вовсе не для тебя!» А я ему: «Какая мне разница? Я с тобой? Значит, все в порядке! Ты жив? Ты рядом? Все в порядке!»

Рафи показывает на указатель: еще сорок миль или километров, дождь малость поутих. Наш «лимон» плывет с беззаботностью, пришедшей после великого напряжения. Рафи потягивается и наполняет своим телом и своей зевотой — рык Льва Лео — весь салон машины. Потом мы довольно долго едем в молчании. Нина вроде начинает клевать носом.

«И все время я еще и работала там, в деревне, — рассказывает Вера камере тихо, почти шепотом. — В поле работала и на винограднике. А Милош болел и лежал, и его мать мне сказала: «Ты должна обработать две полосы, и для твоего мужа тоже!» — «Но он же твой сын!» — «Но ест-то он здесь!» Это крестьянская логика, и я ее приняла».

Я всматриваюсь в лицо Нины. Напряженность и озлобленность как-то схлынули. Она слушает с закрытыми глазами. Улыбается.

«Каждое утро я смотрела курице в попку, проверить, есть ли яйцо, и варила корм для свиньи

— картофельные очистки, кукуруза и туда еще отрубей, а по утрам я пекла для всех хлеб из кукурузной муки, большие буханки, еле вытаскивала их из печи. И варила еду для мужчин, которые работали в поле, капусту или фасоль, это их национальная еда. Мяса почти что и нет. Только в праздники. Иногда курица. Свинью режут, может, раз в году».

Она протирает глаза. Нина рядом с ней клюет носом. Вера внезапно резким движением притягивает ее к себе, чтобы прижалась к ней, голова к голове.

«Мне нравится жить в деревне, — произносит она сквозь Нинины волосы и берет Нинину руку в свою и медленно ее поглаживает. — Мне там нравилось, Нина. Все мне было гоже. Мылась я в подвале в большой бочке. Ноги у них моют каждый вечер, а я как их невестка встану, бывало, на колени, стащу с них ботинки, а свекру сниму носки и мою ему в воде ноги».

Она почти шепчет. Надеюсь, что «Сони» что-то из этого улавливает. Может, слова уже и не столь важны. Ее губы возле уха Нины, которая силится не заснуть. Нина-что-в-будущем будто исчезла, в мгновение ока растворилась. Такое ощущение, что все вещи возвращаются на круги своя.

Посажены наконец-то в верное время и верную семью.

«А мне в деревне каждый любил рассказывать. Я как-то умела им понравиться. Мне все было интересно. Каждый человек был для меня особенным. И так вот мать Милоша рассказала мне, что свекровь у нее злющая и противная, а свекровь рассказала мне, что его мать изменяла отцу Милоша, когда он был на Первой мировой войне… А мне все это было очень интересно, все хотелось проглотить…»

Камера на Нине. Она улыбается, глаза прикрыты, ищет на Вере удобное местечко, устраиваясь поудобнее.

«…И я ходила на кладбище, поговорить с женщинами, которые сидели на могилах мужей и плакали, и спрашивала их: «Скажите мне, пожалуйста, дорогие соседушки, какой он для вас был, этот дорогой усопший, прошу, расскажите мне про него». И все помнила. Я и до сих пор все помню, будто это было вчера».

Ее рот на Нининой щеке. Нина открывает глаза, еще как в тумане, может быть, пытается вспомнить, как во всем этом оказалась, и постепенно сдается сну. Что-то в этой картине переворачивает душу: Рафи ее везет, я ее снимаю, Вера

рассказывает ей историю. Мы все трое бодрствуем, а она заснула.

«И меня там любили, потому что я не типа «госпожа». Хожу в заношенном, вонючем, и там вместо туалета дыра в земле, и кроватей не было вообще, и когда мы с Милошем приехали в первый раз, они одолжили в соседней деревне две кровати, покрыли их для нас соломой, а тут блохи, и женщины еще не брили ноги, и у меня полно волос, и блохи в них скачут.

«Фу, бабушка!» — смеюсь я.

«Фу — это теперь, — сухо говорит Вера. — А там все было иначе. Там нищета, и война, и Балканы. Но я этого хотела, хотела стать частью этого. В первый раз в жизни почувствовала себя частью чего-то. И я варила еду, а они все шли работать, и в полдень я, бывало, положу на плечи большую палку с кастрюлями, которые висят с двух сторон, и иду по полям в виноградник, к ним. И пою себе, и радуюсь, и мне лучше всех в мире, потому что Милош рядом со мной, и он потихоньку выползает из своих хворей и страданий, а крестьяне вокруг: «Эй, Милослав, кто это там идет? Кто это поет, как птичка?» — «А, да это невестка Новака! Несет им поесть!»

Нина спит. Через несколько минут и Вера задре-

мала, и они сидят голова к голове. Я выключаю камеру. До конца пути мы с папой едем молча.

А сейчас на меня спустилась какая-то серовато-размытая депрессия. (Напишем про ночь, подоконник, что напротив маленькой якорной стоянки с лодками. Адриатическое море, городок, названия которого я и не пробую повторить, чтобы не пришлось делать операцию на челюсти.) В мини-баре один белый свет. По набережной, что напротив, летают пачками сухие листья и нейлоновые пакеты. Это прибрежный городок, не слишком популярный — полоса гостиниц, расположенных лицом к морю, и ресторанов, открытых даже и сейчас, пустых от посетителей, освещенных белыми неоновыми лампами, и поднимающих клубы дыма, вонючего и чуточку соблазнительного из-за запаха шаурмы. И во всех в них — длинные прилавки с ящиками, набитыми отвратительного цвета мороженым из цитрусовых. В трех других номерах этой гостиницы спят Вера, Нина и Рафаэль. Завтра утром, если море позволит, мы отплывем на голый остров, который лежит где-то там, в тумане. Это остров (не помню, писала ли я об этом), с которым связана уйма всего из моего детства и юности, пусть я и не пробыла на нем ни единой минуты; и там

закончится наша поездка, и я смогу вернуться и снова стать самой собой, а не голограммой светопреставления, которую папа с Ниной создают каждым своим жестом, не аллергической дрожью, проползающей у меня по позвоночнику, как пожарник по столбу к месту загорания, всякий раз, как они заговаривают друг с другом, глядят друг другу в глаза, обнимаются и вздыхают.

И вдруг до меня доходит: они все еще меня делают.

Середина ночи. Когда они не крутятся вокруг меня, я сразу с Меиром. Не способна прервать думы о себе и о нем, и о том, что будет. Я поклялась себе, что на период поездки его вычеркиваю, чтобы мозги не засорять. И ничего не выходит. А может, полегчает, если я про него напишу. Или про нас. Нет, не про нас, про нас мне сейчас не подходит. Я напишу про нишу, которую мы для себя создали. Стартап не шибко крутой, скорее из разряда низких технологий, скажем так, но нам подходит и дает нам возможность держать голову над водой в периоды, когда я не на съемках: на горе, что напротив нашего дома, мы закапываем среди сосен умерших домашних питомцев. Люди — в основном живущие по соседству, но не только, — привозят нам собак, кошек, попугаев,

хомяков. Один раз даже похоронили пони и два раза — ослов. Однажды зарыли дрессированного сокола (нашли для него красивейший кувшин, на котором нарисована охотничья птица), и у нас есть целый участок для кроликов. Обычно на похороны приезжает родитель с ребенком, но иногда собирается целая семья. Я всегда принимаю участие. Меиру, пока он разогреется да раскроется, требуется время, а я тем временем накрываю маленький стол — термос с кофе, чайник, сок, печенюшки, фрукты и букет цветов. Меир вынимает животное из багажника хозяев машины — в большинстве животных привозят завернутыми в простыню или в одеяло, это наше условие. В эти минуты выходит на свет вся красота Меира, его тихие, мягкие отцовские качества.

Нет, что тут скажешь.

Проблема во мне. Потому что я не уверена.

Могила вырыта заранее. Меир кладет животное в ямку и засыпает его землей, это всегда тяжелая минута для всех. Потом он кладет на могилу картонную табличку с именем собаки, или кошки, или попугая. Иногда семья просит поставить также фотографию животного. Порой они просят прибавить к имени зверька и их фамилию. И всегда проходит маленький церемониал (мы

оговариваем это с семьями заранее), и тут ребенок читает своему хомячку прощальное письмо или девочка играет своей собачке на гитаре. Если семья заранее ничего не приготовила, Меир пытается их разговорить. Расспрашивает про их зверька и про семью. Почти всегда начинаются воспоминания, и люди и смеются, и плачут. Приятно видеть, как он смягчает их горе.

После того как церемониал закончен, мы приглашаем семью прогуляться среди могил. Это улучшает им настроение. Они чувствуют, что их любимый зверек здесь не одинок. Когда они уезжают, мы остаемся посидеть возле могилки, пьем чай и разговариваем о семье, которую только что узнали. В последнее время возникли некоторые проблемы. Видимо, кто-то из жителей мошава на нас донес, и Керен Каемет ле-Исраэль[36] грозит предъявить нам иск и разрушить наш заповедник — земли же государственные, а вы как думали! Налоговое управление тоже собралось за нас взяться… Ладно, поживем — увидим. Как-нибудь выплывем, выше нос. И тут нате вам, стук в дверь.

---

[36] Примечания: 36

Керен Каемет ле-Исраэль (ККЛ) — Еврейский национальный фонд. Одна из крупнейших в мире экологических организаций.

На пороге Нина с заложенными за спину руками. «Не гони меня».

Я отодвигаюсь, ее пропускаю. Она входит. На часах полвторого ночи. Она ставит на стол бутылку виски. На этикетке нарисован белый медведь, и из бутылки уже отпито на два пальца. Она просит разрешения присесть на единственный стул, имеющийся в номере. Я — напротив нее, на краешке кровати.

«Не могу уснуть», — говорит она.

«Вижу».

«Вонючая гостиница».

«Да? Как по мне, так совсем ничего».

«Не дает никакого… не знаю, ощущения дома?»

Из меня выскочил смех, как плевок.

«Почему? — спрашивает она. — Я сказала что-то смешное?»

«Нет, только что я бы на твоем месте не употребляла слов, которые мне непонятны».

«Ой, да ты зубастая».

Как будто мы всякий раз должны проделать одна к другой весь путь, с начала до конца. Она пьет и протягивает бутылку мне. Я не пью никогда, и у нас дома алкоголь — это дьявол, которого я извела. Одного из них. Но я смачиваю губы и закашливаюсь до полусмерти. До того жжет, что

из глаз слезы.

«В моей деревне есть паб, — говорит она, — вернее, два. Хозяин одного говорит, что его виски — лучшее в мире, а хозяин второго, которого я люблю больше, что его виски — лучшее в деревне. Вечерами, в конце дня я люблю там бывать. По вечерам, особенно во время полярной ночи — четыре месяца без солнца, людей начинает туда тянуть. Типа желание поболтаться вместе в теплой каше. Так оно».

Я слушаю.

«Иногда приходят ребята со спутниковой станции «Полярный круг». Иногда шахтеры из шахты. На эту их встречу надо посмотреть… И почти каждый вечер мы поем».

«*Ты* поешь?»

«Мурлычу».

Она пьет, глотки весьма щедрые.

«Вокруг деревни, — говорит она, — огромные горы, чудища, и они покрыты снегом, четыре месяца полнейшая тьма, я, кажется, уже говорила? Такая темень, на метр ничего не видно. Люди ходят с фонарями. Самое странное — это идти в такой темнотище по берегу моря. Слышать его, но не видеть».

«Там красиво?»

«Красиво ли? Словами это сложно описать. Да и вообще, слова — они не сильная сторона этого места».

«То есть?»

Она с минуту думает. «Нет. Это испортит мне тамошность».

Ее прямота мне по сердцу. Мне, например, кажется, что они с Меиром прекрасно уживутся, если она не попытается его окончательно замучить.

«Все же как-то намекни».

«Это как конец света и сотворение мира вместе».

«Тебе там хорошо?»

«Хорошо ли? Трудно сказать. Хорошо, что там всего мало. Квинтэссенция. Нигде мне не было так тихо внутри, в глубине, как там».

У меня вырывается вздох. Мой мужик — квинтэссенцивник.

«И от того, что все такое урезанное, — говорит она, — ты начинаешь прислушиваться к малейшей ерунде. К любым намекам».

«Да, — говорю я. — Это ощущение мне знакомо».

Мы обе делаем усилие. Ощупью пробираемся к месту, где будет шанс…

«И сколько ты уже там?»

«Два года. С тех пор, как сбежала из Америки».

«Сбежала?»

«Недопонимание со стороны налоговых властей. — Она смеется. И я тоже. У нас общий враг. Еще минута, и заговорим о косвенном налоге и признанных расходах. — Но я все равно собиралась уезжать. Была обязана переехать. Я человек, который вечно в движении».

«Заметила».

«И там, на севере, что-то устаканилось».

«Знаешь, — говорю я, сделав самоубийственный глоток, — смотрю я на тебя и думаю: ну быть того не может, что эта женщина выкинула меня из своей жизни, когда мне было три с половиной года».

«Это факт».

«И ты даже… что, не думала даже, скажем, извиниться?»

«Нет. Нет. Абсолютно».

«Нет?» — почти ору я. Вот это наглость!

«За такое не извиняются. И даже если я извинюсь, прощения не будет. Мне с этим ужасом жить».

Глаза в глаза. Что-то такое есть в ее взгляде, и на минуту я ей верю. А потом вспоминаю про

«Артистов жизни» Вана де Велде[37], человека, который научил меня «Тайнам брака» («Люди, которые крайне бедны на чувства, разыгрывают роль людей излишне эмоциональных. Это так называемые артисты жизни). И я начинаю верить чуть меньше.

«Расскажи еще», — говорю я.

«Про что?»

«Не знаю. Про то место».

«Чего там больше всего в окрестных горах, так это медведей. Полярных медведей. Белых. Очень красивых».

«Настоящих?»

«Абсолютно. Примерно две тысячи. Раз в несколько недель один из них заходит в деревню, поискать еды в помойных баках или кого-то сожрать. У нас в мобильниках есть «тревога-медведи», но все-таки раз в несколько месяцев кого-то да сожрут. С тех пор как я там, сожрали четверых. Отчасти в этом и интерес».

«Какой интерес?»

«Страх».

Я даю ей знак объяснить.

«Это не то что страх перед кем-то, кто клянет

---

[37] Примечания: 37

Теодор Хендрик Ван де Велде (1873–1937) — голландский гинеколог, сексолог, директор Института гинекологии в Харлеме.

тебя на светофоре, или перед мужиком, который преследует тебя в переулке. Это ощущается в совершенно другой части тела».

«А что, у людей там нет, ну, не знаю, оружия? Пистолета?»

«Если ты идешь за границы деревни, ты обязан взять с собой ружье, но такое, каким ты умеешь пользоваться. С которым тренировался на стрельбище».

«Ты там ходишь с ружьем?» Сочетание ее с оружием вызывает во мне тревогу. Она смеется. «Ночью, когда я возвращаюсь из паба к себе в квартиру, я иду без ружья».

«Одна?»

«Я там одна».

«А-а».

Она смотрит на меня испытующим взглядом. Это малость абсурдно, но мне кажется, что она взвешивает, достойна ли я ее доверия. «Иду по главной улице и кричу медведю, чтобы шел».

«Кричишь в голос?»

«Люди думают, что я в стельку, но я трезвей не бывает».

«Идешь и зовешь медведей?»

«И на иврите тоже, если по случаю есть медведь, знающий языки».

Белый медведь накидывается на нее сзади, когда она одиноко идет в ночи. В абсолютном молчании он рвет ее на куски. Огромные когти терзают ее хрупкое тело. Ему наплевать на то, кто она. Наплевать на то, что она начинает забывать имена. На то, что когда-то она бросила свою дочку. Для него она — мясо. В моем воображении она не кричит и не зовет на помощь. Напротив, у нее жуткая улыбка, улыбка человека, который хочет стать просто мясом. И ко мне являются ее кобеля и тот корморант из Иерусалима, они ведь тоже ее жрали. И когда они на ней, я из-за их плеч могу увидеть ее жуткую улыбку, улыбку черепа, и думаю, сколько чужести может проглотить человек и остаться при этом самим собой.

«Где ты была? — спрашивает она меня. — Сейчас, в эту минуту, где ты была? Что увидела?» Ее взгляд роется во мне лихорадочно, с отчаянием.

«Пока не стоит, — говорю я. — Дай привыкнуть».

«И у нас есть угольная шахта, может, последняя во всей Скандинавии. Все остальные закрыли из-за загрязнения, и нас оставили пачкаться».

«Когда-нибудь в шахту спускалась?»

«Я там работала».

«Ты работала в шахте? По-настоящему добы-

вала уголь?»

Она смеется, пьет. «Я им варила. Несколько месяцев. Полно углеводов».

Есть какое-то странное очарование в ее манере разговора, особенно после того, как глотнет виски. Лунатическая, с паузами отстраненность, будто рассказывает о ком-то другом.

«А ты вообще-то варить умеешь?»

«Я варю отлично, Гили. Дай бог, чтобы ты разок дала мне что-то для тебя сварить».

И вдруг как укус пчелы в язык: «Слушай, Нина, я обязана кое-что спросить».

«Все, что пожелаешь».

«Сколько дней ты кормила меня грудью?»

Ее рука на минуту прикасается к пуговице на блузке.

«Почему тебе это так важно?»

«Не имеет значения. Просто скажи: три или четыре?»

«Ни одного».

«А, да?»

«У меня во время беременности началась экзема на сосках, и кормить я не могла».

Значит, Рафи мне соврал. А уж коли так, чего же он так поскупился?

«Мне очень жаль, Гили».

«Неважно. Все нормально». Но трудно выразить словами, до чего мне стало больно.

«Можно спросить кое-что еще?»

«Все, что захочешь, Гили». — Ей приятно произносить мое имя.

«Я еще не поняла — какая у тебя связь с тем местом?»

«С деревней? Никакой».

«Никакой-никакой?»

«Никакой».

«Просто место, куда тебя случайно занесло?»

«Нет. Это особое место. Самое благостное из всех, где я бывала».

«Но?»

«Без но. Оно благостное. Оно ко мне равнодушно. Ничего на меня не расходует. Не делает усилий. Ему наплевать, живет ли там такая, как я, или вот-вот перестанет жить. Это не безразличие, которое существует на улицах Нью-Йорка или Нью-Дели. Там тоже никому до тебя нет дела, но в тех горах, на севере, с морем вокруг, это как бы полное слияние со всеми».

«И тебе это подходит?»

«Трудно понять, верно? Это мне подходит больше всего».

«Поясни».

Она улыбается мне простой, теплой улыбкой. «А ты не даешь увильнуть. Заставляешь задуматься. Я уже долго по-настоящему ни о чем не задумывалась. Ладно, скажу тебе, что мне там подходит. Мне подходит, что каждый вздох еще на дольку меня стирает. Мне чуть меньше оставаться Ниной. Что ты строишь такую мину?»

«Так, просто. Больно это слышать».

«Больно? Правда?»

Я киваю. Как же не больно? Человек — он не из камня.

Нина поджимает губы: «Хочу кое-что тебе сказать, но позволь мне договорить до конца».

«Давай».

«Ты — плод со своего дерева, и как ни отрицай, а ты — часть чего-то». Я не знаю, издевка ли в ее голосе, или зависть ко мне, или что-то еще.

«Я? Насмешила!» Но, думаю, она права.

Еще меня взбудоражила мысль, что она вообще высказывает обо мне мнение, что у нее есть обо мне какие-то мнения.

«Ты принадлежишь к своему гурту, Гили, и у тебя есть свое место, и свои люди, и свои причины, и свои пейзажи, и цвет земли, и запахи, и иврит, и у тебя есть Вера и Рафи, и Эстер, и Хана, и Шломо, и все племя вообще. А у меня? — Она смеется. — Я

листок, несущийся по ветру. Правильнее сказать: ну, та птица, которая никогда не садится на землю? У меня вылетело из головы название…»

«Альбатрос, но это просто легенда. На самом деле он иногда, да касается земли». — «Я если и касаюсь, так только для того, чтобы разогнаться и снова взлететь». — «И у меня есть любовь», — говорю я и думаю, что, возможно, это последний раз, когда я выражаю это такими словами.

«Да. Рафи мне рассказал. — Она серьезно кивает головой. — И скоро у тебя будет ребенок».

Я теряю дар речи.

«Ой, — говорит она. — Я не должна была…»

«Я не беременна».

«А, нет?»

«Нет!»

«Странно. Обычно я в этом не ошибаюсь».

«Но как тебе вообще пришло в голову, что я…»

«Не знаю. У меня есть такой нюх… Беременность всегда включает у меня все сирены».

«Не верю, что ты вообще позволяешь себе так…»

«Погоди минутку. Разреши объяснить. Когда я вчера увидела тебя в аэропорту, когда я на тебя свалилась, еще раз прошу прощения, но просто меня тряхануло, когда я увидела, что ты это…»

«Что это?»

«Продолжаешь эту гребаную династию».

«Да не беременная я, говорят же тебе!» — ору ей в лицо, и обе мы растерянно глядим одна на другую, потрясенные этим воплем, который прорубил между нами дыру в воздухе, и это верно, что на мгновение я почти испытываю искушение поверить в то, что она чувствует нечто скрытое, ну, скажем, материнским чутьем, но даже если что-то и есть, *а его нет!* — она будет последней, кто у меня это почувствует.

Чуть покачиваясь, я подхожу к окну, открываю его и глубоко вдыхаю воздух. Все тело покрыто холодным потом. Ну же, прочь из моего номера и из моей матки!

Она бормочет у меня за спиной: «Но когда это случится, хоть постарайся, чтобы это был сын».

Я в такой ярости на нее, что от отчаяния начинаю хохотать. Через минуту и она ко мне присоединяется. Мы смеемся, малость истерически. Я не так чтобы понимаю. Это смех, который во время хохотанья меняет цвета. Когда-то в моем детстве были такие конфеты.

«Но ты скажи», — говорю я, когда мы обе успокоились.

Мы глядим друг на друга. Я обязана выяснить,

что же она все-таки почувствовала.

«Спрашивай, Гили».

Я захватываю воздух.

«Ты правда считаешь, что я могу стать чьей-то матерью?»

«Гили, — говорит она, — ты будешь хорошей матерью».

«Да?»

Целую жизнь можно впихнуть в две буквы и вопросительный знак.

«Да, — говорит она с абсолютной уверенностью, которая непонятно откуда взялась. — Матерью, тире, хорошей».

Какое-то время спустя, много времени спустя, она говорит: «Рафи рассказал тебе про тех мужиков?»

«Да».

«Это нечто, что я…»

«Я правда не хочу сейчас об этом слышать».

«Разреши мне сказать. Это дело тянулось у меня два с половиной года».

Я стервенею, оплакиваю момент благодати, который исчез. «Это твое дело».

«Выслушай, пожалуйста. Я два с половиной года была как… ну, как называют человека, который ходит во сне?»

«Нимфоманка».

Я причинила ей боль, это видно. Но она протягивает мне бутылку с какой-то странной нежностью. Я сосу еще и еще.

«Каждый раз, как убегают слова, — говорит она, — у меня прямо стресс».

«Понятно».

«Гили, честно, ты что-то ко мне испытываешь?»

«Нет».

«У меня все время чувство, что я, как бы это сказать… ну, ты понимаешь».

«Нет».

«Как будто я все время играю очень близко к верному звуку».

Я не понимаю. Поразительно, до какой степени она чувствует то, о чем не знает. Я возвращаюсь к окну. В него влетает холодный ветер. Нина подходит и встает возле меня. Мы смотрим на ночное море. На его белые мурашки.

«Но сейчас, примерно год назад, — говорит она, и мне уже знаком циничный поворот лезвия в ее речах, — наконец возник некто, кто желает меня и только меня, и он вцепился в меня не на жизнь, а на смерть, и никто другой мне больше не нужен».

«Кто? Очередной любовник?»

«Моя болезнь».

Как печально, что в конце концов мимику ей вернула болезнь. А не мой отец. Она неуверенно кладет руку мне на плечо. Что сейчас с этим делать… Я опускаю плечо, высвобождаюсь. Ничего не случилось. Она стоит у открытого окна, обнимает руками саму себя.

Легкий стук в дверь. За ним три громких удара, кто-то нервно крутит ручку, и есть только один человек, который так вот нетерпеливо входит и не выносит препятствий. Я открываю, облокачиваюсь на ручку, слегка не в фокусе после последних минут. «У меня было предчувствие, что все вы здесь», — брюзжит она и, минуя меня, проходит в номер. Точно так же она без всякого предупреждения врывается в наш дом в мошаве с полными сумками в руках. Сейчас она садится на край кровати. На ней ее вязаная шапка со свисающими вниз кожаными ушами. И куртка, надетая на пижаму. «Класс! — говорю я. — Начинаем пижамную вечеринку». Вера нюхает воздух. Учуивает виски и спешит к бутылке. Она пьет. Пьет как надо. Вытирает рот рукой. «Не сливовица, но недурно», — говорит она. Предлагает мне, но я отказываюсь. Бабушка изучает меня. «Ты в

порядке, Гилуш?»

«Я в порядке».

«Поговорили друг с дружкой?»

«Поговорили», — отвечает Нина, и меня пробирает дрожь: только сейчас до меня дошло, что свою беседу с Ниной я не засняла.

«Ну и чего? — Вера снимает куртку и шапку. — Снимай сейчас».

«Камера осталась у папы. Пойти принести?»

«Нет-нет! — хором кричат они. — Оставь. Дай ему поспать».

Вера прикладывает бутылку к губам и пьет. Они с Ниной держат бутылку за горло́, а не за пузо, и пьют совершенно одинаковым макаром. Она передает ее Нине. Завтра обе будут хорошие. Прокатятся по всему острову и даже не вспомнят, что там побывали. А я такие минуты не снимаю.

«Слушай, Вера, — рычит Нина, и в ее голосе легкая муть из-за виски, — объясни мне, пожалуйста, и ты, Гили, объясни, ты ведь девушка с головой и в людях разбираешься, так?»

«С точностью до наоборот».

«Объясните мне сейчас, почему я так и застряла там, в Голи? Почему не могу воспринимать это проще?»

«Чего тут простого?» — ворчит Вера.

«А просто то, что была диктатура. И как и при сотнях диктатур в истории, эту женщину, Веру Новак, кинули на три года на Голи, а по дороге загубили жизнь ее дочке, *биг дил*, что такого? Что с возу упало, то пропало, а дальше вперед, с высоко поднятой головой!»

И она смотрит Вере в глаза, как человек, который решился глянуть прямо в солнце, и что будет, то будет. Я проклинаю себя за то, что не взяла камеры. Рафи обрушится на меня за то, что не позвала его прийти с камерой. Обрушится и будет абсолютно прав, но я не в состоянии оторваться от этой парочки, точно не сейчас, когда тут все рвется на куски.

А к тому же и мне не принять, чтобы здесь оказался кто-то еще, кроме нашей троицы.

«Но почему я-то увязла в этом дерьме почти на шестьдесят лет? — Нина потянула носом. — Пятьдесят шесть лет пребывать в возрасте шестилетней девочки, это не карикатура? Не идиотизм?» Пока Нина говорит, Вера все кивает головой и издает какое-то грудное гудение, будто репетирует свой ответ.

Нина считает по пальцам. «Пятьдесят шесть лет торчать в лагере по перевоспитанию, не многовато ли? Не пора ли уже стать воспитанной?

Над всем приподняться? Простить? Не пришло ли время оставить это позади и двинуться дальше? Ну правда… — Она затыкает рот кулаком, пытаясь побороть рыдания. — Мы здесь втроем, мы — и все, нет Вселенной, мы сами вселенная, и я хочу, чтобы вы обе сказали мне в лицо, четко и ясно, что во мне сдвинулось по фазе? Где у меня сбилась программа?» Она смотрит на Веру страдальческим взглядом, с мольбой и ужасом в глазах.

Вера набирает побольше воздуха, выпрямляется. Вот-вот заговорит. Сейчас это произойдет. И тут, внезапно, будто кончилась последняя капля материала, который ее держал, Нина срывается. Она воет в голос, открыв рот, обливаясь соплями. Вера спешит утереть ей лицо, кладет Нинину голову себе на плечо. Нина совершенно не в себе. Вера смотрит на меня поверх ее головы, и я вспоминаю, что она про нее говорила («Нина слабачка, Нина избалована»). Как уже близко мы были к тому, чтобы высказать правду.

Внезапно Нина в пьяном пылу обнимает Веру, целует щеки и лоб, падает перед ней на колени, целует ей руки, просит прощения еще и еще за все, что ей причинила. За все душевные страдания и тревоги, и за стыд. Она размахивает пустой

бутылкой, требует, чтобы мы ее наполнили. Мы с Верой поднимаем ее, доводим до кровати и укладываем. Я стягиваю с нее туфли, ступни ног у нее маленькие и изящные, никакой мужик не сбежал бы от ее кровати, если бы увидел их рядом с собственными ботинками. Но у нее, как и у меня, и как у Веры, мизинец на правой ноге немножко налезает на соседний палец. Будто хочет к нему прильнуть.

И вдруг она садится в кровати: «Мико, расскажи мне, как я родилась!» — «Тихо-тихо, ложись, деточка. Откуда ты вдруг сейчас вытащила свое рождение?»

«Нет, сейчас!» — Она с силой хватает Веру за рукав. Можно подумать, что она требует у нее подтверждения или доказательства того, что и правда родилась.

Я кидаюсь к своей тетрадке. Если нет снимков, так пусть хоть слова. Например, три слова: «Рафи меня убьет».

«Ниночка, — Вера садится рядом с ней на краешек кровати и берет ее за руку, — ты родилась двадцатого июня сорок пятого года. В Белграде. В эту самую ночь к нам случайно приехали приятели из моего города Чаковца, они были коммунистами, как и мы, и когда почти началась

война со Сталиным, всех, кто был коммунистом и за Сталина, сразу послали на передовую, чтобы они своими телами обнаруживали мины. И тогда ночью, когда замерз Днепр, все сбежали».

«Представляешь, Гили? — хохочет Нина, открывши рот. — Я ее спрашиваю про то, как родилась, а в ответ получаю Днепр, да еще и замерзший».

«Нет-нет, — протестует Вера, — ты сейчас услышишь почему: в сорок пятом приятели приехали с бригадой из России, на войну с немцами. А вечером к нам домой пришел наш близкий друг, Пишта Фишер, пришел у нас переночевать, и он дико уставший, а я ношусь по дому со схватками, мешаю ему спать. Этот бедняга Пишта Фишер пришел, чтобы хоть одну ночь выспаться, а тут я со своими родами».

«Вот подлянка!» — до слез хохочет Нина. Я тоже умираю со смеху. Кошмар, кошмар!

«Смейтесь-смейтесь, — брюзжит Вера. — Роды были ужасные… Двенадцать часов! Мы, Бауэры, рожаем огромных детей. Гили единственная родилась крошкой, недоноском, но я была почти пять килограммов, когда мама меня рожала, и за всю жизнь прибавила только сорок два килограмма. И во время беременности я выглядела

как чудовище. А ты, Нина, была шестидесяти сантиметров, гигантесса! И такой была красивой малышкой, смотрела на меня открытыми глазками, будто уже хочешь со мной поговорить…»

Вера круговыми движениями ласкает Нинины волосы, разглаживает ей лицо. «Уже когда ты родилась, у тебя были такие вот кудряшки, да еще и в Милоша. Как персик».

Я возвращаюсь к окну и открываю его. Все еще темно. Но море поспокойнее. На волнорезе, возле маленькой лодочки немолодые женщина с мужчиной танцуют без музыки, при свете фонаря, висящего над причалом. Странный танец, эротический, с координированными движениями, они то сходятся, то расходятся, и руки их то вытянуты, то снова опускаются. Я дико истосковалась.

За моей спиной Нина лежит в кровати и лепечет: «Расскажи еще про нас, про меня и про Милоша».

«Он тебя тренировал, помнишь?»

«Ничего не помню».

«Все время проводил, как бы это сказать, испытания. Учил тебя, как находить улицы в городе, проверять по карте, держать компас, быть самостоятельной. Быть как партизанка в твоем городе. С самого твоего раннего возраста говорил тебе: «А

теперь сходи к Йованке, она тут недалеко, пару улиц пройти, и передай ей эту бумажку».

А на бумажке было написано: «Йованка, просто черкани, что ты ее встретила». И через десять минут ты возвращаешься. «Папа, там колокольчик ужасно высоко, мне не достать». А Милош: «Меня не касается, как ты до него дотянешься. Голова есть? Вот и подумай». И ты, бывало, туда возвращаешься, и когда в дом входит какой-то сосед, ты как кошечка заходищь за ним следом, так, что он и не заметил».

«Я так делала? — Лицо расплывается в светлой улыбке. — Ничего я не помню. Весь этот период у меня стерся, все мое детство стерлось…»

«Да», — говорит Вера.

«Из-за того, что случилось потом».

«Да».

«Когда ты уехала на Голи-Оток».

«Когда меня бросили на Голи-Оток».

«А меня вы оставили одну, вы оба, ты и папа, в один прекрасный день».

«Ты была такая умница. Все хватала на лету».

«Вы меня выдрессировали».

«Боже упаси «выдрессировали». Просто тебя подготовили. У твоего папы было любимое выражение: «Каждому человеку выпадает один-

единственный шанс поучаствовать в игре». И так вот он и жил. И столько раз бывал в опасности на войне, и жизнь тоже была войной, и все было логикой войны, так что он подсознательно понимал, что свою дочь он обязан подготовить, и все у него было запланировано, даже и то, что ему по какой-то причине в определенный момент придется покончить с собой. Наши жизни зиждились на кончике ножа».

Нина закрывает глаза.

«Вообще, — про себя говорит Вера, — жизнь постоянно играет со мной».

Нина спит. Вера снова аккуратно гладит ее лицо. Разглаживает морщины.

«Я сейчас очень устала», — говорит она самой себе и ложится рядом с Ниной.

Вдруг до меня доходит, что вообще-то там рыбаки, эта пара на причале. Видимо, муж с женой, которые вернулись с моря и складывают сети.

«Выключай свет, Гили, и иди к нам сюда, потому что вот-вот уже нужно вставать».

В любой другой вселенной мне бы в голову не пришло лечь в ту же кровать, что и Нина, но здесь я улеглась рядом с ней. У нас на троих всего одна подушка, примятая нашими головами, но одеяло широкое, и его хватает на всех.

Я гляжу в потолок. Тело у Нины теплое. Она чуть похрапывает, а через минуту за ней следует и Вера. Меир говорит, что я тоже храплю, но он ни за что не соглашается спать порознь. Он не может заснуть, не прижавшись к моей попе и не обвив меня рукой. Иногда мне от этого душно, а иногда приятно.

Я думаю о том, что Нина мне сказала. Я кладу руку на живот. Я умираю от страха.

Вдруг я не слышу Вериного храпа и дыхания тоже. Только этого мне не хватает. Я приподнимаюсь и вижу, что она лежит на спине. Рот открыт. Глаза вылуплены и незрячие. Она меня не видит, и я уверена, что все, ушла, ушла наша Вера за минуту до того, как вернулась на остров. И тут глаза ее фокусируются и снова становятся разумными. Она приподнимается на локте с другой стороны от спящей Нины и беззвучно мне шепчет: «Я думаю, она уже знает». А я шепчу в ответ: «Только когда ты сама ей расскажешь, она по-настоящему узнает». — «Нет, нет, это ее убьет». — «Говорю тебе, она знает, бабушка, даже и не зная — знает». А Нина, что между нами, тихо вздыхает, кривится, как перед разговором или плачем, или, может быть, она ищет слово, которое сбежало от нее во сне.

И потом она успокаивается.

Успокаивается морщинистый лоб, успокаиваются щеки, успокаивается рот. Она самой себе улыбается, натягивает одеяло на подбородок и поворачивается на бок, лицом ко мне.

Ее ведут. Солнце лупит по бритой голове. Она, пока шла, задремала. Женщина с вонючей сигаретой во рту охватывает рукой ее спину и сует большую грубую руку ей под мышку. Время от времени щупает ее грудь, мнет, щиплет, а когда она пытается уклониться, получает сбоку быструю и жесткую плюху.

«Тебя забирают, — вслух говорит она себе. — Остерегайся ее». Но через минуту снова погружается в дремоту. Только знает, что нужно ставить ноги одна перед другой. Ее тащат, как тряпичную куклу. «Но куда меня ведут?» — спрашивает она. Голос у нее хриплый и прерывистый, и она не уверена, что исходит он из нее. «И что там с тобой сделают?» Хохот надзирательницы ее будит. «Ты совсем спятила, — весело объясняет ей надзирательница. — Когда сюда попала, такой не была. Я тебя помню, раз присутствовала на твоем допросе, ты была как железная». Судя по звуку шагов и тяжелому дыханию, они вдвоем, она и надзирательница. Уже очень долго караб-

каются вверх. Гора высоченная. «На этом острове горы разные, — говорит она самой себе, серьезно кивает и считает по опухшим пальцам, которые уже почти и не гнутся: — Есть та гора, где лагерь мужчин, работающих в каменоломне. И есть гора, где ты толкаешь валуны…» Надзирательница хохочет, хлопает ее по спине и почти сталкивает вниз. Вера пытается улыбнуться. Чувствует, что тут полагается улыбка. Но шутку не понимает. Ей показалось, что она услышала удар металла о камень. Может, ружье. Может, ее ведут на расстрел? Тропа сейчас, видно, узкая, потому что надзирательница, вынужденная идти сзади, направляет ее ударами по плечам и по спине — направо, налево, кричит на нее всякий раз, как она засыпает или у нее в глазах темно. Она натыкается на камень, падает, упираясь руками, встает, слизывает кровь. «Вкуснятина, — рычит она, — блохи знают толк в еде». И запыхавшаяся надзирательница позади стонет: «У тебя еще хватает сил на приколы?» — «Где тут приколы?» — спрашивает она.

И вдруг — резкий поворот направо, и на секунду на распухшие веки падает тень, видимо, она в узком проходе между двумя скалами. Прохладное дуновение коснулось лица, она сразу замедлила ход. Тело застопорилось само по себе. Кожа по-

хотливо вбирает в себя тень и прохладу, затылок сжался в ожидании удара.

«Что не так, шкура, чего встала?»

Тропка стала глухой и каменистой, Вера и надзирательница еле дышат. Пот градом. Надзирательница останавливается. И Вера тоже. Надзирательница чертыхается, Вера не понимает из-за чего. Надзирательница одной рукой опирается на Веру, снимает ботинок. Разливается вонь дерьма. Видимо, та вытирает ботинок о скалу. И матерится еще сильней. И отхаркивается. «Повернись, шкура». Надзирательница тщательно трет свой ботинок о Верину кофту. И Вера слышит, как открывается пробка. У надзирательницы на поясе висят две фляжки. Она слышит, как льется вода. Надзирательница моет руку. Теперь она слышит громкие глубокие глотки. Рот у Веры пересох. Весь в ранах. Язык толстый, тяжелый. «Может, она даст тебе попить, — говорит она. — Может, она добрая. Может, она твоя добрая мать? Нет, она злая. Она мать злая, о тебе не позаботится», — воет Вера. Надзирательница корчится от смеха. «Ты что-то с чем-то, ей-богу! — говорит она и сердечно хлопает ее сзади по голове. — Мне девчонки говорили, что ты такая, а я им не верила. Честно? Из-за этого я и выскочила, когда

спросили, кто возьмет тебя наверх. У тебя все мозги наружу, будто без крышки, а? Все льется наружу». Вера останавливается и съеживается. То, что надзирательница сейчас произнесла, вызывает в ней страх. «Да вроде бы я в последнее время здесь и не бывала», — неуверенно шепчет она, и надзирательница надрывается от смеха.

Еще один резкий поворот, на этот раз влево, и начало еще более тяжелого подъема. Они карабкаются, цепляясь руками и ногами, стонут, кашляют. И вдруг внезапно она на открытом месте. Может быть, добрались до вершины. Свежий ветер, нездешний ветер ласкает лицо. И ощущается острый запах моря, не такой, как когда она в бараке и вокруг вонь всех этих женщин. Одна параша на тридцать человек. Вдали, внизу звуки волн, разбивающихся о берег. Там, видимо, скалы и звук красивый, красивый до боли.

«Будешь стоять здесь, шкура. Лицом сюда!» Сильная пощечина. Надзирательница кашляет, мокрый густой кашель курильщицы. Сплевывает.

«Что значит здесь? — бормочет Вера. — Побыстрому думай, Вера, что с тобой сделают. Может, сбросят в море. Эта надзирательница слышит все. Берегись ее!»

«Точно, шкура, я слышу все. Стой навытяжку и рот на минуту захлопни, мы твои выкрутасы поняли. И больше уже не смешно».

Солнце. Зной выжигает Верины мозги. Так или иначе, скоро все закончится. Слишком многое об этом говорит. Через пару секунд ее уже не будет. Прощай, память о Милоше, прощай, память о маме с папой, прощай, Йованка, верная моя подружка… прощай, Нина… кто знает, где ты сейчас. Что с тобой сделали. Если я подумаю о тебе, я умру еще до того, как в меня выстрелят. Надзирательница сзади, хватает ее за плечи и передвигает немножко влево и снова вправо и чуть-чуть назад. Что это такое, эти па, будто она с ней танцует.

«Прямо стой, мразь!»

Что она делает, какое ей дело до того, как ты стоишь. Только пусть уж скажет, что сейчас будет. Живот вздувается. Она вся вспотела. Но сейчас пот холодный. Надзирательница раздвигает ее руки по сторонам. Недовольна. Поднимает ей руки вверх. Недовольна. Бьет по рукам и возвращает их на прежнее место. Матерится. Видимо, Вера в чем-то ошибается. Вера, она вообще одна большая ошибка. «Как такой сморчок, как ты, вообще здесь выжил? — плюется надзиратель-

ница. — Ноги вместе! Спину выпрямить!» Вера — приставляет ногу к ноге. Шепчет: «Что она делает? Может, ей велели тебя сфотографировать перед тем, как швырнуть в море». И от этой мысли ее начинает трясти. У нее все дрожит. Даже веки. Губы и то, что осталось от ее красивых щек. Тело боится, умирает от страха, но сама она — нет. Ей просто наплевать. Наоборот. Только стыдно, что надзирательница видит, как трясется ее тело. «Два шага вперед, мразь!» Вера не знает, к чему идет. Большим пальцем, торчащим из носка рваного ботинка, она пытается нащупать край пропасти. Надзирательница ухмыляется: «Раньше надо было думать, шкура, перед тем, как решила предать товарища Тито!» — «Быстрей!» — кричит Вера и с трудом дышит. О ком же сейчас подумать? Сколько осталось времени? Где Милош? Где ты, любимый, жизнь моя? Где моя маленькая Нина, которую выбросили на улицу? Ага. Так вот взяли да и выбросили на улицу.

Тишина. Вера не может угадать, где стоит надзирательница. Откуда она нападет. И будет ли это пуля или удар. И внутри солнечного пламени ее вдруг опоясывает черный ледяной круг. Ужаса смерти. Не впервые этот круг вокруг нее сомкнулся. Во время Большой войны она была в

лесах с партизанами. Дважды побывала в руках четников, которые приговаривали ее к смерти. И ей удавалось бежать. Она подделывала документы и похищала оружие и людей, тысячу пятьсот человек она спасла, они с Милошем на пару, и три раза сама спаслась от изнасилования. И после войны она вместе с Милошем служила в контрразведке Народно-освободительной армии Югославии, она действительно не знала страха.

Но тогда у нее еще были глаза.

Внезапно что-то стукнуло в голову, и она концентрируется, выходит из ступора, в котором пребывала последние недели, с тех пор, как в одну ночь ослепла. До этой ночи она выдерживала все — допросы, пытки, инсценировки вывода на расстрел, голод, жажду, каторжные работы, уговоры настучать, выдать, потому что именно этого они и хотели — имен, имен. Кто рассказал анекдот про Тито? Кто поморщился, когда рассказывали анекдот про Сталина? Даже кошмарные мысли про Нину и про то, что, возможно, с ней происходит на улицах, ее не сломили. И тут навалилась слепота и ее доконала. Еще десятки женщин ослепли вместе с ней за одну ночь, вся левая группа бараков. Эпидемия. С материка привезли врача, и он поставил диагноз: гемарлопия,

которую иначе называют куриной слепотой. Потому что в дневные часы женщины снова видели нормально, да и после того, как им стали добавлять витамин А, все они выздоровели. И только у Веры это не прошло. Она не видела ни ночью ни днем. «Это тебе в наказание, — сказала ей начальница Марья, которая каждое утро поднимала ей веки кончиком плетки. — Подумай хорошенько, бандитка, за что ты несешь такое наказание».

В первые дни Марья и надзирательницы посчитали, что она притворяется, изображает из себя слепую, чтобы освободиться от работ в скалах. Ее избили, наказали голодом и посадили на десять дней в карцер метр на метр, где ни кровати, ни стула, ни окна. Бетонный пол, четыре стены и параша. Она спала по диагонали. А ей и плевать. Даже если когда и покинет остров, Нину разглядеть все равно не сможет.

«Ты чего так трусишь?» — грубо орет Вера на свое бедное тело, которое продолжает дрожать. Она надеется, что мысли остаются внутри головы. В последние дни у нее все смешалось — что внутри, что снаружи. «Но где же надзирательница? Сзади? Отошла разбежаться? А я как стою? Лицом к морю или к горе? В какую сторону повалюсь?» Тишина. Надзирательница, видно,

малость ею забавляется. А может, и нет, кто здесь что поймет. «Может, она сейчас крестится? Или молится перед тем, как меня столкнуть?» Вера вздыхает. Спрашивает себя, научил ли Милош Нину, не поранившись, падать с высоты. Всегда ее подготавливал, тренировал на предмет всяких воображаемых бед, а что получилось в конце? Получилось, что у жизни сюрпризов больше, чем у него. Как, бывало, мама говорила: «У Бога на беды придумок не оберешься». Она прощается со своей мамой. Они обнимаются. Мама уже почти десять лет назад ушла в Освенцим. Узницы, которые побывали в Освенциме, а потом прибыли в Голи-Оток, говорят, что здесь тяжелее. Там было ясно, кто твой враг и кого нужно опасаться. Здесь же установка — сделать каждого врагом каждого. Чтобы ты ни на кого не мог положиться. Где же надзирательница? Верино тело съеживается, спина сжимается, та самая спина, которая проглотит удар или выстрел. А может, она выстрелит ей в голову? И какая мысль будет последней? Милош, Милош. Она несколько секунд пролетит по воздуху и раскрошится внизу о скалы. Она не закричит. Были тут женщины, которые прибывали на остров беременными и рожали, или у них случался выкидыш, и новорожденных

или зародышей у них отбирали и выбрасывали в море. И эта мысль снова вернула ее к Нине. С тех пор как она ослепла, ей не удавалось увидеть ее в воображении. Вместо Нининого лица всегда вставало неясное, размытое пятно. Будто Нина таким образом ее наказывает, замазывает и стирает саму себя. Но сейчас Нина светлая, четкая и улыбающаяся, и, может быть, это наилучший знак того, что Верино решение было правильным. Что и Нина понимает, как правильно Вера поступила. Вот оно, красивое, невинное, доверчивое Нинино личико. Вот они, хрустально чистые зеленые глазки, в которые можно нырнуть и почувствовать, что человек по природе своей добр. «Ах, — в отчаянии стонет Вера. — Можно сейчас? — кричит она надзирательнице. — Давай. По-быстрому!»

Надзирательница: «Сигаретку не хочешь, шкура?»

Вера тяжело стонет. Какую еще сигаретку? Откуда вдруг сигаретка? Из того же неожиданного места, откуда сыпятся удары и пощечины, которые кому-то вдруг пришло в голову тебе надавать. А то, может, это часть процедуры расстрела? Вере удается призвать Милоша. Видит его так, будто он стоит тут, рядом с ней. Высокий светлый лоб,

идеи и мысли роятся там без перерыва. Большие и смешные уши. Глаза, каким нет равных. Милош говорит своим приятным голосом, своим речитативом, тик-тик-тик-тик, как человек, который бежит по камешкам, проложенным по дну речки. «Привет, мико, я знал, что ты все-таки меня найдешь». — «Я даже мертвая тебя найду, Милош!» Она улыбается. Возле нее вспыхнула спичка, острый запах дыма. Ей в рот всунута сигарета. Губы так сильно дрожат, что с трудом ее обхватывают. Вера с жадностью затягивается. Сигарета вонючая, но горит как надо. Она снова задается вопросом, не пристраивает ли надзирательница так вот, с такой заботой, Верино тело, чтобы оно упало в какое-то определенное место между валунами. Она слышит, как открывается пробка на фляжке. Может быть, приговоренному к смерти дают отпить последний глоток воды. Журчание воды рядом, внизу, у ее ног, вода выливается, в нос ударяет острый запах. Запах мокрой земли. Не просто земли, Вера жадно вбирает ноздрями запах почвы жирной, плодородной, да где же на этом острове такая почва? Ей здесь вырыли могилу?

«Каждые два-три часа кто-нибудь будет приходить, ставить тебя как надо», — говорит надзира-

тельница и ударом в лоб заставляет ее вздернуть опущенную голову.

«Ставить для чего, начальница?»

«И не хватало, чтобы ты оказалась не точно на том месте, на которое тебя поставили, чтобы сдвинулась хоть на миллиметр. Это будет твой конец». Надзирательница вырывает из ее рта сигарету и бросает ее в пропасть. Вера представляет, как она летит следом за ней. Как потрясно полететь, стать горящей золой. Но, видимо, ее еще здесь ненадолго оставляют.

Без сигареты солнце печет еще беспощадней. Милош исчез. Нина исчезла. Веки вспухли от солнца. Но запах земли острый и приятный.

«Открой уши, шкура: та, которая придет в обед, отведет тебя сюда к валунам, посрать и пожрать. У тебя на это десять минут».

«Есть, начальница».

Ее не убьют. Во всяком случае, не сейчас. Ее тащили на эту высоту не для того, чтобы убить. Потрясающее облегчение разливается по всему телу. Зря так боялась. Саму себя напугала. На этом острове те, у кого есть воображение, страдают больше, чем те, у кого его нет. У нее воображения никогда не было. Ни юмора, ни воображения. Пока не попала на Голи, вообще не была способна

подумать ни о чем, чего не существует. И все же только здесь оказалась, сразу сочинила игру в придумки, которая ее спасла: будто ей нужно докатить валун до вершины горы, потому что наверху ее ждет аптекарша, и у этой аптекарши в руке лекарство для Нины, ведь Нина больна, у нее, у малышки, жар. Ничего серьезного, может быть, грипп или даже ветрянка, болезни здоровых детей. Но что-то жаропонижающее все же нужно взять, чтобы Нина не страдала, и главная аптекарша сказала, что подождет Веру еще час, но не больше. И она сейчас воюет со временем, а не с валуном, потому что валун просто застрял посредине. И она его толкает и толкает, и стонет, и задыхается, и толкает. Ведь Нина ждет…

Пока она вдруг не поднимет голову и не вздохнет с облегчением, потому что добралась-таки до аптеки, что на вершине горы, успела в последнюю минуту. Главная аптекарша собственной персоной ей улыбается, вручает ей пакетик с таблетками. И теперь Вера должна скатить этот валун вниз, и это самая трудная часть дела. Ей нужно стоять под валуном, который весит больше ее самой, и, уперевшись ногами в землю, удерживать его, чтоб не покатился вниз и ее не раздавил. Она уже видела здесь женщин, кото-

рых раздавил валун, с которым они работали. Но с ней такое не случится, она рассчитывает каждый свой шаг, потому что в конце спуска, на площадке, где валуны, Нина дожидается своего лекарства. Ждет очень сильно, Вера может протянуть ей это лекарство и увидеть на личике малышки улыбку. На маму можно положиться. И ей, Вере, тотчас нужно вернуться, встать в очередь с теми, что толкают валуны наверх, к аптеке, которая через час закроется, принести лекарство против Нининого гриппа.

Но дальше этого фантазировать не получалось. Жалкое у нее воображение. От аптеки до Нины, от Нины до аптеки. Где это и где Милош и Нина с их играми во «вроде бы», их сказочными чудищами с глазами на кончиках пальцев, их черной птицей, которая летает только над теми, кто лжет, их историями, которые Милош для нее сочинял! Вера, бывало, сидит в другой комнате, штопает носки или вяжет и поражается, откуда у Милоша для Нины такие фантазии, потому что с Верой он говорил только о проблемах жизненных, связанных с действительностью, о принципах социализма и о классовой борьбе, а к Нине из него выходил человек другого мира. И сколько они с Ниной вдвоем хохотали. А тем временем

тело все время само по себе потягивается от дикого облегчения, что его не убили. У трусливого тела все косточки хрустят. Оно набирает побольше воздуха. Она зевает, целая цепь гигантских зевков… Сама себя не в силах остановить. Тело требует, чтобы она так вот, разинув рот, вдохнула воздух полной грудью. Она жива.

«Вы только взгляните на нее, — изумленно говорит надзирательница, — у нее еще и зубы целехоньки!»

Про солнце она пробует не думать. Пылающий желтый шар подвешен прямо над ее головой и ее поджаривает. Ее выпаривает. В теле ни капли влаги не останется. Ее кровь стала густой и медлительной. Блохи с ума сходят по этой крови. Когда она работала в болотах, это когда только сюда попала, пиявки присасывались к ее ногам, медленно наливались ее кровью и потом отваливались, толстые и счастливые. Были женщины, которые пытались их есть, но на вкус они отрава. Здесь пиявок нет. Но солнце. Женщины, которые прогибались на допросах, женщины, которые называли имена, которые доносили, которые стучали, получали разрешение надеть шапку или соорудить себе шапку из кофты или какой тряпицы. Сразу видишь, кто сломался и начал

сотрудничать с УДБА. Вера и еще десять или двенадцать женщин оставались без головного убора. Она остерегалась разговаривать с кем-то из этой группы. Они были опасными не меньше всех прочих. А они-то как раз делали попытки, ловили ее взгляд, бросали какое-то подбадривающее или острое словцо, когда шли мимо каждая со своим валуном, на подъеме или на спуске с горы.

С тех пор как надзирательница оставила ее на утесе, прошло часа два или три. Или час. Поди знай. Может, тебя вообще забыли. Она снова говорит вслух. Обязана услышать человеческий голос. «Почему ты обязана стоять? Что это за работа — не двигаться, просто быть? Это наказание? Что они с тобой здесь делают?» И тут, когда ноги под ней почти уже подогнулись, — шаги. Легкие и быстрые, постукивающие по каменистой тропе. Надзирательница. Не та, что утром. Судя по звукам, помоложе.

«Подвинься, бандитка, товарищ Тито дарит тебе обеденный перерыв и сортир».

Сильной рукой хватает ее за локоть, тащит к себе. Они идут. Нужно ставить одну ногу впереди другой. Ей суют в руку фляжку. И грубую ржавую жестяную тарелку. Вера чувствует носом кусок хлеба, картошку и что-то еще. Помидор? Такое

возможно — помидор? Видимо, в стране какой-то праздник. Что у нас за месяц? Сухой рот наполняется слюной. В голове туман. Помидор она не пробовала уже больше года. Нельзя начинать есть. Надзирательница пропевает песню любви к Иосипу Броз Тито. Вера сильно кусает щеки изнутри. Способ сдержаться. Иногда в столовой надзирательницы заставляют их голодать почти полчаса. Стоят и распевают перед ними эти песни, сами себя распаляют.

«Скажи, шкура, ты правда ничего не видишь?»

«Да, начальница».

«Врунья, вонючая бандитка».

«Да, начальница».

«Но чего тебе врать-то? Товарищ Тито вралей не любит».

Быстрая тень скользит туда-сюда над открытыми глазами. Эта тень ей знакома: так надзирательница проверяет, действительно ли она не видит.

«Эй!» — лает надзирательница ей в лицо. Это тоже знакомо. И кулак в скулу. Не плакать. Вера здесь не проживает. Запах помидорки сводит с ума. Вот-вот ей разрешат, и придет великая радость.

«Такая сюда поступила или тут обзавелась?»

«Что тут, начальница?»

«Ослепла».

«Поступила здоровая».

«Дай тебе бог не выйти отсюда живой, аминь! — ржет та. — У тебя пять минут, лопай, товарищ Тито желает тебе приятного аппетита».

Утренняя надзирательница сказала, что десять. Главное, что ей уже позволено есть. Первым делом Вера обеими руками запихивает в рот помидорку. Здесь вишенку не оставляют на закуску. Облизывает и обсасывает. Помидорка мягкая и переспелая, с гнильцой, но кругленькая и сочная, вкусная. От потрясения в кишках переворот. «Может, есть чуточку бумаги, начальница?»

«Ну а как же, только попроси. Розовая с рисунком, как на заказ для вашей жопы, ваше королевское величество!»

Вера щупает все вокруг. Трогает валуны. Ставит жестяную тарелку на землю. Отползает от нее на четвереньках. Помнит, что нужно взять фляжку. Пытается заучить количество шагов и направление. Встает на колени, скукоживается, знает, что та на нее смотрит. Когда-то даже представить себе такое было невозможно.

На секунду она застопорилась. Что важнее: попить или пописать? Запах мочи острый, скон-

центрированный, и от него слегка кружится голова. Во фляжке, может, три глотка. Вода кончается гораздо раньше жажды. Слава богу, запоров у нее нет. Тут есть женщины, которые с ума сходят, потому что им отводят время по минутам. Она подтирается рукой, а руку чистит о валун. На этом острове почти нет земли. Ветры оставляют скалы голыми. Даже травинки здесь не найдешь. Вера ползет назад к тарелке. Тарелку ей подвигают носком ботинка. Кортофелина недоваренная, но большая. Она быстро ее жует. Сколько времени у нее осталось? Повариха Мими, бывало, готовила для маленькой Веры «ресторанта кромпир», картошку как в ресторане. От одного названия слюнки текут. Она закрывает глаза и ест картошку, сваренную в кожурке, перетертую в пюре, пожаренную в желтом масле и посыпанную сверху хрустящим жареным лучком. Но картофелина, что у нее во рту, издает звуки яблока. Кто сказал, что у нее нет воображения? Она жует картошку и видит перед собой дивные картинки, дом ее детства, и в нем — кухня. На полках — варенья и компоты, груши, сливы, вишня, их вскипятили в воде и закатали в большие банки, для консервирования. И томатный сок, который варили, пока он не закипит, а потом осторожно заливали

в бутылки. Она жует с пагубным пристрастием. Она алхимик. Превращает картошку в красные жареные перцы, приправленные оливковым маслом с лимоном и чесноком. В огурчики с укропом, которые замаринованы на солнышке. В колбасы, копченные во дворе. Она улыбается с полным ртом. Ест дичь, которую мариновали в пикантном соусе целую неделю, ни минутой меньше, чтобы выветрить запахи леса, что в ней. Дикарство, что в ней… Голова идет кругом от этих запахов. Нет надзирательницы. Нет блох. Нет мертвых глаз, которые видят только черное и белые мерцания. Нет комнаты в Белграде с двумя дверьми и тремя полковниками в униформах, которые ей говорят: «Для того, чтобы решить, у вас три минуты». Осталось две. Осталась одна. Нет мысли, которая оставляет в мозгу ожог от безумной ошибки величиной в целую жизнь.

«Но я еще не попила, начальница. Во фляжке было мало воды».

«Не мое дело».

И ее снова перемещают. Чуть вправо. Назад и влево. Шаг внутрь, два шага назад. И эта надзирательница тоже недовольна. «Пошевеливай жопой, шкура. Здесь вот и стой!» Марионетка, но что это за спектакль?

«С этой минуты и пока за тобой снова не придут, ты не шевелишься, ясно? Даже не дышишь!»

«Ага».

Ошибка. Пощечина, за ней плевок. По руке катится слюна. Обильная.

«Да, начальница, извиняюсь».

«А что я сказала?»

«Не шевелиться и не дышать, начальница». Солнце выжаривает мозги в бритом черепе. Там, в мозгах, есть участки, которые булькают, как кипящая вода. Но есть и одна клеточка, благодаря которой она вдруг становится настороженной и острой, партизанкой, лесным зверем, который ничего не пропустит: то, как втягивала воду надзирательница перед тем, как в нее плюнуть. Она уловила, как вода заполнила ее рот, прежде чем она плюнула в Веру.

«Когда зайдет солнце, одна за тобой придет и спустит обратно в барак».

«Да, начальница». Слюна надзирательницы ползет по локтевой впадине, но надзирательница не торопится. «Скажи мне вот что, так, от чистого сердца: ты с твоими подружками и правда задумали привести на нас Сталина, чтобы победить товарища Тито?»

«Да, начальница». Хоть бы уже испарилась.

Когда Вера работала на болотах, они пили там загрязненную воду. Женщины стояли в воде целыми днями, отправляли в нее все нужды, а потом ее пили. Жажда побеждала страх перед тифом. Плевок надзирательницы медленно ползет по Вериной руке. Она чувствует, как он скатывается, сперва прохладный, потом разогревается, медленно просыхает. Испаряется.

А надзирательница как раз начала любопытничать: «Так как же тебя не прибили на месте, ну-ка скажи? Как это тебя пожалели? Была лоханкой кого-то наверху?»

«Нет, начальница».

«Таким продажным шкурам, как ты, положено сдохнуть».

«Да, начальница». Да катись ты уже к дьяволу, ну пожалуйста, пусть свершится чудо!

«Это то, что я всю дорогу говорю. У товарища Тито слишком доброе сердце, если он таких сук, как ты, оставляет в живых».

«Да, начальница».

«Отравляют нам воздух нашей родины».

«Верно, начальница».

«Запомнила: с места не сходить, не дышать».

«Да, начальница».

Шаги. Тишина. Видимо, убралась. А если и нет,

все кончено. Язык шарит по руке. Дотягивается до самой локтевой впадины. Ничего. Высохло и испарилось. Кожа сухая и соленая.

Сразу после заката приходит надзирательница, чтобы забрать ее обратно в барак. Вера с трудом держится на ногах. Женщины в бараке глядят на нее с любопытством. Хотят узнать, куда ее уводили, что она целый день делала. Они знают, что говорить ей запрещено. Среди них есть стукачки и есть тюремщицы, переодетые в заключенных, и есть провокаторши, которые являются сотрудницами УДБА, и у них есть стол у «хозяина» в Белграде.

Вечером женщины ее окружают, будто случайно ее касаются. Шепчут, только обмолвись словом, там тяжелее или легче, чем с валунами? Есть ли нормальные передышки? Одна ли она там? Видит ли там — то есть слышит ли мужиков, которые работают на каменоломне, в другом конце острова? Или хотя бы чувствует ли принесенный по ветру запах их пота? Она не отвечает. Выпивает четыре чашки воды, падает на койку и спит. Пока не приходят ее будить, еще до рассвета.

Ее снова ведут, одну ее из всего барака, и снова ставят ту же пьесу. «Стой так, нет, так, сдвинься

сюда, выпрямись, подними руки, опусти руки, раздвинь ноги, сдвинь обратно, теперь не шевелись, поняла меня?» — «Да, начальница». Ты не шевелишься, пока кто-то не придет и не поставит тебя снова. И снова вынимается пробка из фляжки, и Верины губы раскрываются, как губы новорожденного, и вода выплескивается на землю, прямо к ее ногам, и запах влажной земли и искринки капель на ее руке, и все они испаряются прежде, чем она успевает слизнуть их языком.

В следующие часы, в следующие дни она то и дело слышит издалека, с моря шум мотора. Лодка или корабль проплывает мимо острова по дороге к суше или к одному из островов отдыха, что расположены по соседству. Возможно, загорающие на палубе люди замечают новую крошечную фигурку, которая стоит руки по швам на вершине лысой горы. Небось решают, что это скульптура, которую там поставили. И может быть, начальница Марья ставит ее там специально, чтобы люди с лодок ее заметили и решили, что она какой-то символ, вот только чего, что она символизирует? Маленькая женская фигурка. Издали она наверняка выглядит как мальчик или девочка.

И вдруг ее пронзает мысль: она монумент. Памятник Нине. Ее здесь установили в честь Нины.

Потому что Нина выброшена на улицу. И так вот каждый, кто проплывет на своей роскошной яхте, увидит и узнает, что за наказание ждет такого человека, как она, Вера. Женщина, которая слишком сильно любила.

Спустя два часа, в четверть пятого утра я просыпаюсь с тяжестью в груди, волны паники прокатываются по всему телу. Я лежу и жду, когда успокоится пульс. В течение нескольких минут я — добыча для всевозможных мыслей и картин. Даже договор, который у меня с Меиром, — не предаваться плохим мыслям о себе до девяти утра, — даже он сейчас не действует.

Нина крепко спит, Вера рядом с ней, тесно к ней прижалась, свернулась, как зародыш. Я тихонько трогаю Веру за плечо. Она открывает один глаз, надевает очки и быстро, без вопросов, без жалоб присаживается в кровати. Я укутываю ее в свитер Меира, привезенный для того, чтобы понюхать и придать себе силы, и вспоминаю, что нужно взять новую тетрадку для сценария — две уже исписаны, — и в последнюю минуту решаю захватить и свой хронометр, который сопровождает меня во всех постановках, повешу его на шнурке на шею, не помешает.

Вера ждет около двери и пока ни о чем не спра-

шивает. Мне довольно одного взгляда, чтобы понять — она точно знает, что должно случиться. Я не позволяю возбуждению собою овладеть (взвинченность, конечно, осталась). Есть работа. И мы ее сделаем. Нина переворачивается на другой бок, протягивает руку, ищет что-то в кровати с моей стороны, меня ищет. Ищет во сне. Мы стоим и, как под гипнозом, глядим, как ее рука шарит, вздрагивает, уступает. Она вздыхает во сне, а мы перестаем дышать — что скажем ей, если проснется, как объясним? Мы выходим на цыпочках. Меня душит отвращение. Хватит, хватит этих врак. Мы спускаемся в лобби, пустое и темное, кроме одного пятнышка света над стойкой ресепшена и другого пятнышка над шикарным вазоном с искусственным колеусом. Я подтягиваю кресло для Веры, усаживаю ее и бегу к лифту, притащить Рафи. За секунду до того, как дверь лифта закроется, я фотографирую ее своим телефоном: маленькая старушка в глубине пустого лобби. Я поднимаюсь на третий этаж. В зеркале лифта я вижу лошадь. Я использую шок внезапности, чтобы сформулировать быстрый и объективный приговор. Большая и сильная женщина с темными мешками под глазами. «Женственность малость подкачала», — делает

заключение скрипт-супервайзерша, которая на протяжении трех этажей разглядывает меня не моргая и без снисхождения (да тут еще и раздутый *вест* и демо-брюки с кучей карманов). Короче говоря, на меня смотрело лицо продюсера. На прощание я улыбнулась отражению и тихо постучалась в дверь Рафи. И он мигом мне открыл. Рабочая одежда. «Сони» на кровати.

Ощущение, что всю ночь просидел, ожидая, чтобы я пришла и его позвала. В лифте мне удается скорчить улыбку, и он тут же чувствует: «Все в порядке, Гили?» — «Все в порядке». — «Нервничаешь»? — «Маленько». — «Ты недостаточно пишешь». Я ему напоминаю, что всю дорогу сюда я снимала.

«И все-таки, — говорит он, — детали, мелкие детали».

«По поводу мелких деталей…»

«Что с ними?»

«Сталин и правда планировал в 48-м вторгнуться в Югославию?»

«Не знаю. Но так считал Тито. И были на то причины. Из-за этого он и построил здесь ГУЛАГи или, как их здесь называли, для сталинистов и шпионов».

«И по-твоему, бабушка с дедушкой и правда

были сталинистами?»

«Вера с Милошем? Она тебя заживо сожрет, если ты только вякнешь про такое предположение».

«Ну а ты, ты-то что думаешь?»

«Я в принципе всегда ей верю».

Я смеюсь. «Это уж точно делает жизнь куда более легкой».

Он что-то бормочет про вопросы, которые человек так много лет держит у себя в брюхе, что потом уже не осмеливается их задать. Мне ясно, что говорит он не про Сталина с Тито.

В лобби мы быстро организуемся. Усаживаем Веру так, чтобы свет ярко ее освещал. Выставляем еще кресло для меня. За те минуты, что я отсутствовала, она успела снять с себя свитер и причесаться (волосы у нее поредели, я уже писала? Из-под них проглядывает розовый череп, как у птенчика, у которого еще не выросло оперение), покрасить губы и ресницы и наложить чуточку румян. «Какая ты леди, бабушка!» «Леди-шмеди, но девушка всегда должна быть тип-топ. Я и тебя тому же учу». Она неодобрительно смотрит на мою копну волос, завитушки и кудряшки. «У тебя там птица может свить гнездо».

«Бабушка, — говорю я, — ты же знаешь, что мы

сейчас собираемся сделать, правда?»

«Да, да». Она глубоко вздыхает. Я поправляю ей воротничок. Вдыхаю ее острые духи (и надушиться успела!). Убираю ей волосы назад, чтобы не показывать, до чего они жидкие. Она замечает какую-то грязинку на моей блузке. Ее рука скользит по моей руке и на минуту на ней задерживается. Странная атмосфера, минута перед казнью. Когда приговоренный и палач вместе курят.

Перво-наперво я думаю, как ее смягчить. «Теперь, бабушка, перед тем, как начать, я хочу, чтобы ты рассказала мне что-нибудь приятное про тебя и про Милоша, неважно что, в трех-четырех фразах». — «Про Милоша? Да я уже все тебе рассказала». — «Ну так еще раз. Что-нибудь миленькое, смешное, перед тем, как мы начнем, я обязана это услышать». На самом деле это типа маленького трюка, которому я научилась у папы: за секунду до хлопка я вхожу и шепчу артисту на ухо какое-то подобие сценки или строчку из песни, которая как-то с ним вяжется. Не все режиссеры от этого без ума, но эй, сейчас это *мой* фильм.

И бабушка — она моя.

Вера тут же поддается на уловку: морщит лицо, о чем-то скороговоркой сама с собой говорит,

начинает улыбаться. Прием сработал. «Мы, бывало, без конца танцевали, мы с Милошем». Я прошу раскрыть побольше. «Когда Милош уже выздоровел от чахотки и всех своих холер, и мы из его деревни вернулись в Белград, и у нас была красивая квартирка, а я еще не была беременна, мы вдвоем были такие счастливые… Бывало, закроем жалюзи, включим патефон и часами танцуем! Мы соблюдали те же движения и тот же ритм, что туммим[38], и умели кружиться в тот же момент…»

Рафи поднимает большой палец. С его точки зрения можно начинать. Вера полностью настроилась.

«И Милош так красиво потел, Гили, у него была гладкая кожа, может, я тебе когда-то рассказывала, без единого волоска, кожа, как замшевая. И после того, как побывал на солнце, он был как нигеро…»

Рафи легко передвигается за ее спину и оттуда делает мне знак — часы и ребром ладони по горлу. Но попробуй останови Веру, если в воздухе Милош: «И мы проводили время с друзьями, и

---

[38] Примечания: 38

Урим и *туммим* — упоминаемые в Библии предметы, при помощи которых первосвященник от имени народа или царя вопрошал Бога. Находились внутри наперсника, который носил первосвященник.

они кричали, что хотят видеть, как я танцую, а ты знаешь, как я танцевала? На столе чардаш! На столе стояли стаканы, и я танцевала между ними, и ни один стаканчик не упадет на землю! И я так вот приподнимала юбку…»

Ну вот, маленький трюк вышел за границы дозволенного.

«И до сих пор, знаешь, я больше всего люблю по радио передачу «Чарующие минуты»… там бывают песни, под которые мы с Милошем танцевали, танго и медленный фокстрот, и каждый раз, когда такое передают, я не могу удержаться и танцую, и сразу в слезы».

«Круто, бабушка, это здорово. Именно то, что мне хотелось услышать».

«Правда? — Она улыбается. — Значит, я тебе помогла».

«Еще как! А теперь поговорим о том деле, ты знаешь о чем».

«А, да». — Она утонула в кресле.

«Бабушка, я не могу взойти на остров раньше, чем мы поговорим». Рафаэль чуть меняет положение кресел. «Но что будет, если она вдруг придет? — шепотом спрашивает Вера. — Не лучше ли это сделать в номере у Рафи?» — «Дай-то бы бог, чтобы она пришла», — говорю я, а она: «Нет,

нет и нет! Это ее убьет!»

«Она обязана знать!» — говорю я, хотя почему-то и сама не так уж в этом уверена. «Обязана? — Вера бьет по моим коленям рукавом своего свитера. — Что значит «обязана»? Как она может быть обязана, если она не знает, что обязана?» — «Она знает, — я говорю то, что шептала ей ночью. — Она знает, даже и не зная». — «Такого не бывает. Или знает, или нет». — «Бабушка, послушай: все, что Нина делает, все, что она говорит, все, что ее душа, все, что ее боль, все, что не дает ей жить, все это оттуда». Вера щелкает языком, отталкивает мои слова. И мне хочется ее схватить и тряхнуть, и может, что-то наконец проникнет в этот кусок кристалла. «Такая у нее жизнь, бабушка! Она обязана знать, почему так выстроилась ее жизнь!» Вера издает длинный насмешливый выдох, а я знаю, что права, но собственный голос кажется мне голосом руководительницы детского кружка:

«А знаешь, что мне больше всего мешает, бабушка?»

«Ну, скажи».

«Что я не до конца уверена, кого ты защищаешь, когда держишь это в секрете? Ее или себя?»

«*Себя*? Гили!» — потрясенно брызжет слюной

моя бабушка, и на протяжении длинного и клокочущего возмущением взгляда мы — враги сердцем и душой, и это невыносимо, невыносимо.

«Все эти разговоры про то, что человек должен знать всю правду, как вы это говорите, и *справляться*, это очень красиво, Гили, и очень пристойно, и морально, браво… — и она трижды хлопает в ладоши, — но я тебе говорю, что нельзя вдруг прийти к женщине почти шестидесяти трех лет от роду и сказать ей: послушай, милочка, то, что ты думала, было несколько не так, ты вообще всю свою жизнь проживаешь в определенном заблуждении». — «Во лжи», — уточняю я. «Нет и нет! Ложь — это когда кто-то хочет причинить тебе зло. А здесь это может быть, *может быть*, когда у кого-то не было выбора».

Рафи показывает мне знаками, чтобы мы говорили потише. Он прав. Если мы запутаемся в этом споре, она вообще наглухо закроется.

«И еще я говорю тебе, Гили, и крепко-накрепко запомни то, что я тебе сказала: если она узнает, она не захочет жить, она не захочет жить! Я свою дочь знаю!»

«Может, позволишь ей решить самостоятельно? Она не младенец!»

«Если она узнает, она вернется в состояние младенца».

«Значит, лучше держать ее во лжи до конца?»

Вера сама застопорилась. Часто мигает. В ее иссушенных временем глазах я читаю: это уже ненадолго.

Она скрещивает руки на груди. Губы сжаты. Рафи подает мне рукой знак, мол, валяй дальше.

«Хорошо, поняла. Ладно. Вера, расскажи нам, пожалуйста, что произошло».

«Не так. — Она хлопает ладонью по своему бедру. — Так со мной не разговаривай!»

«Как это так? Как я разговаривала?»

«Как будто ты со мной уже не знакома».

Обе мы задыхаемся и надуваемся. Трудно ей, трудно мне. Мне трудно, что ей трудно.

«Хватит, бабушка», — говорю я, и у меня малость сорвался голос.

«Гили…» — Она обласкивает меня своими глазами, теми, в которых я всегда лучше всех.

«Прости, бабушка, я ужасно нервничаю. Давай уже перейдем через это. Расскажи мне, что произошло».

«Хорошо, рассказываю. — Она выпрямляется, кладет руки на ручки кресла. — Рафи, твоя фотография работает?»

«В сентябре пятьдесят первого Милош во время каких-то скачек, в которых он участвовал, сломал кость в плече, и половина тела у него была в гипсе. Он был в отпуске по болезни, но каждый день ходил проведать своих солдат в кавалерийской части. И однажды утром, когда он был дома, вдруг зазвонил телефон. Срочный вызов к генералу. Он поехал и, что там было, мне не рассказал.

Но на другое утро Милош вдруг принес кольцо для Нины. И я сказала: «Ты что, с ума сошел?» Как мы закончим месяц? Пойми, Гили, это было только двенадцатое число месяца, и у нас в кармане уже совершенно пусто! Я в четыре утра шла в очередь за бутылкой молока для ребенка! За первыми кожаными туфлями для себя я простояла в очереди день, ночь и еще день! До тех пор у меня были только туфли из джута, которые складываются в гармошку, и вода в них просачивается, как в губку…»

И она со скандально-ошеломляющей непосредственностью вытягивает левую ногу, крутит ею в воздухе туда-сюда и с удовольствием ее разглядывает. А я вспоминаю, как, будучи маленькой девочкой, смотрела на нее и училась, ведь другой учительницы для подобных вещей у меня не было, и сейчас еще помню, помню ее улыбку,

улыбку женщины, которая любуется своими красивыми ногами.

«И в это самое время, я хочу, чтобы ты поняла, Югославия посылала, например, полные вагоны мороженых яиц в Чехословакию, и вдруг в один прекрасный день связи прервались, и один вагон остался в Белграде, на железнодорожной станции, и нам было сказано, что граждане могут прийти с мисками и взять себе яйца, потому что они льются из вагона. Мы пошли втроем и взяли целое яйцо, и всю дорогу хохотали из-за яичницы, которую на всех соорудим. И в этой вот ситуации Милош идет, покупает кольцо и дает его Нине?»

Мы с Рафи то и дело поглядываем на лифт.

«Назавтра генерал вызвал его снова. Сперва Милош сходил купить дров и угля на зиму. Мысленно он уже подготовил меня к зиме, которую мне придется коротать в одиночку, а тут он сказал мне вот что: «У меня из-за гипса жуткий зуд в плече. Может, просунешь мне чего-нибудь типа пакета с бинтами?» И я, дуреха, проложила ему между гипсом и телом пакет с бинтами».

Она качает головой, будто до сих пор не верит. «Ночью он попросил у меня прощения, потому что должен что-то срочно написать, и сел на кухне и накатал, может быть, двадцать страниц.

Написал для Нины. Рассказал ей о жизни, которая у него была, начиная с детства в деревне, в гимназии, куда уехал в город, а потом про армию и мировую войну, и как мы оба во время войны спасали партизан от «квислингов»[39], и написал и обо мне, написал очень красиво… как мы познакомились на празднике и как он ждал меня на железнодорожной станции. Он написал это для Нины, чтобы она знала, и все это у меня отобрали в УДБА через несколько дней, когда производили обыск в доме, и во время допросов мне зачитали его письмо к Нине, все, с начала до конца, хотели меня сломать, а у меня ни один мускул на лице не дрогнул…»

Рафаэль просит нас остановиться. Что-то в освещении ему мешает. Слишком много теней на наших лицах. Он снова перемещает кресла, ставит их напротив друг друга и сдвигает поближе.

«И еще об одной вещи он попросил в тот вечер,

---

[39] Примечания: 39

Квислинг — синоним слов «коллаборационист» или «предатель». Связано с именем Видкуна Квислинга (1887–1945, Осло, Норвегия) — норвежского политического и государственного деятеля, офицера, дипломата, национал-социалиста, главы норвежского правительства после оккупации Норвегии германскими войсками в период Второй мировой войны. В ходе послевоенной чистки в Норвегии Квислинг предстал перед судом и был признан виновным в хищениях, убийстве и государственной измене. По приговору суда Квислинг был расстрелян 24 октября 1945 года.

чтобы Нина заснула в нашей кровати, возле него, и только потом он перенес ее к ней в кроватку, а я, идиотка, все это видела и не поняла, что так вот он прощается со своей жизнью… как я могла этого не понять?»

Ее птичья грудь быстро вздымается и падает. Вещи, которые она рассказывает, я в такой интерпретации не слышала ни разу. Ни с этими подробностями, ни с этой интонацией.

Вот оно снова, сильный момент в доко: когда интервьюируемый во время съемки меняет договоренность с режиссером и с самим собой и, не планируя этого заранее, показывает себя таким, каков он есть.

«Утром он сказал мне пока, поцеловал меня и Нину, отправился к генералу и домой не вернулся, а на часах уже два. Я звоню в министерство внутренних дел, и мне говорят: «Уже никого нет, все разошлись по домам».

А у нас, если Милош опаздывал на одну минуту, он звонил. Я уже чувствую — что-то стряслось. Я лечу на автобусе к его приятелю, тоже полковнику, и тот на меня смотрит и говорит: «Его вызвали в Службу военной безопасности, но не переживай, мы его вызволим». Я да, переживаю. Конечно же переживаю. И бегу к заместителю

министра. Пойми, из-за того, что Милош был командиром конного подразделения при Тито, мы были знакомы со всеми сливками армии, а этого заместителя я знала еще со времен какого-то отпуска, который мы когда-то проводили вместе, и он еще очень поглядывал на меня из-за спины своей супруги. Не важно. И мне говорят: «Заместитель сейчас как раз на охоте. Приходите завтра». Назавтра я прихожу — «Он у врача за городом». И я уже поняла. Большое спасибо.

В среду семнадцатого октября я разбудила Нину рано утром и сказала ей: «Я иду искать папу. А ты вставай, съешь завтрак, который я тебе приготовила, я тебя причешу, а после этого прямиком иди к Йованке, там пообедаешь и останешься с ее девочками до вечера. И тогда уже я за тобой приду». Нина была сонная и не поняла, почему нужно вставать так рано, но все съела, ничего не оставила на тарелке».

«Простите, бабушка, папа, остановитесь на минутку. Я вдруг подумала… мы что, начисто отказались от Нининой идеи?»

«Какой еще идеи?» — возмущается Вера, которую я прервала.

«Говорить с Ниной-что-в-будущем? С той Ниной, какой она когда-нибудь станет?»

Мы все трое молчим. Если мы не обращаемся к Нине-что-в-будущем, так мы, как видно, снимаем нечто, что в ее фильм не войдет. Чего она не узнает.

Рафи говорит: «Мне кажется, нужно предоставить принять решение Вере».

Вера размышляет. Морщит лицо. И потом категорический жест рукой: «Сперва продолжим. А в конце решим».

«Как это в конце? Сейчас, именно сейчас нужно решить, делаем мы это или нет».

«На чем я остановилась? — Вера перешагивает через мой вопрос. — Вижу ее как сейчас, сидит за столом в голубой пижамке, пьет молоко… Правда, такая была хорошая девочка».

Вера решила.

«Доела, оделась, я заплела ей косички и написала записку Йованке. И когда она вышла из дома, я посмотрела из-за занавески, никогда я этого не делала, и только в тот день что-то внутри мне подсказало на нее взглянуть, посмотреть, как она идет и как скачет на тротуаре по «классикам», нарисованным какими-то детишками, и какое у нее тельце маленькое и симпатичное, и она идет, словно танцует».

Молчание. Дикая тяжесть. Она вздыхает, скло-

няет голову. Это скорбь, нечто, что сейчас режет меня внизу живота. Впервые, но по девочке Нине. По будущему, которого у нее не будет. По человеку, которым она не станет. По мне. Я протягиваю Вере бумажную салфетку, она отталкивает мою руку.

«Я не стыжусь своих слез!»

«Фильм бежит», — бормочет Рафи.

«И вдруг я вижу, что снаружи стоит крупный такой мужик в кожанке. И сразу подумала, что он из службы безопасности, а там и черная машина с включенным мотором и затемненными окнами. И этот человек смотрит вслед Нине и машет ей головой в сторону черной машины. И я еще подумала, почему он так смотрит на мою девочку и почему он указывает ей на водителя, но я также подумала, что он пришел мне рассказать, что Милош вот-вот освободится! А он через секунду дубасит кулаком в мою дверь, и я, идиотка, говорю ему: «Слава богу, что вы пришли, входите, пожалуйста, может, выпьете стаканчик чаю?»

Он вошел, снял перчатки, оглядел квартиру, хлопнул перчатками по рукаву кожанки, сел и вдруг этак любезно — Вера изображает его перед камерой: манеры человека мягкого, деликатного: «Вы курите, мадам?»

«Да».

«Тогда прежде всего закурите сигарету. Да. Очень сожалею, но я вынужден вам сообщить: он совершил попытку самоубийства».

А я закричала: «Что? Он жив или мертв?»

«Этого сказать я сейчас не могу. Вы едете со мной. И получите всю информацию в военном госпитале, только вот прежде чем мы выйдем, есть пара вещей, которые я должен выяснить по поводу ваших связей с Россией».

И целых полчаса он задает вопросы, а я отвечаю, уже не помню что, ничего не знаю. Спрашивает про Россию, про Сталина, про шпионаж, которым мы как бы занимались. У меня все смешалось. Я еле держу себя в руках, так, что в конце он говорит: «Теперь пошли, возьмите с собой то, что вам потребуется надолго».

Я ничего почти не беру. Только пальто, сумку. Все тело дрожит. Мы выходим. В машине сидит водитель в черных очках, и человек в кожанке вдруг кричит: «Вниз ложись, шкура! Чтобы никто тебя в машине не увидел!»

Мы приезжаем в военный госпиталь, все быстро, спехом-спехом, с криками, и вдруг останавливаемся, и он мне говорит: «Ты входишь в эту дверь, а я жду тебя здесь. И тебе, и твоей дочке

будет лучше, если дашь правильный ответ».

Какой ответ, кому — этого не сказал.

Я вхожу в комнату, где уже стоят полковник медицинской службы и еще два полковника, потом я поняла, что они из военной адвокатуры.

Меня встречают вежливо. «Мадам, мадам, госпожа, примите наши соболезнования». И один высокий с лысиной зачитывает мне правительственную бумагу: «Вчера, шестнадцатого октября, в шестнадцать часов двадцать минут, когда охранник удалился на одну минуту в туалет, Милош Новак вытащил из-под своего гипса несколько бинтов, связал их вместе, привязался к кровати и так сильно качал головой, что разрезал себе шею и мы уже не смогли ему помочь. А сейчас мы вас вызвали, чтобы вы подписались под тем, что вы с ним сталинисты и что вы отказываетесь от своего супруга как от врага народа, как от русского шпиона, засланного Сталиным».

«Погоди, бабушка, помедленней. Я не поняла: они хотели, чтобы ты созналась в том, что ты сталинистка?»

«Конечно, они этого хотели!»

«А ты?»

«Что я? Я не призналась».

«Потому что не была».

«Именно так».

«И что случилось?»

«Послушай, Гили, я даже была готова подписать им, что я сталинистка и сам дьявол во плоти, но точно не то, что Милош сталинист и враг народа. Это — нет! Тут стоп!»

«Дай разобраться, из-за того, что ты не согласилась сказать, что Милош — предатель, только из-за этого они сослали тебя на Голи-Оток?»

«Да».

Если так, значит, я не ошиблась и мне не пригрезилось. Я лежала в реанимации без крови в венах, и она мне рассказала, может, решила, что я без сознания. Может, думала, что я вот-вот умру, и захотела раз в жизни облегчить душу.

И с тех пор я все годы знала, чувствовала и не смела ее спросить, правда ли это.

«До меня им вообще было меньше всего дела, — говорит она сейчас. — Им нужен был Милош. Он был им важен. И он во время Второй мировой войны был большим героем, он был командиром конницы Тито, и они хотели только того, чтобы его жена объявила во всеуслышание, что Новак Милош — предатель, поборник Сталина и враг Тито».

«А если бы ты сказала?»

«Что сказала?»

«Не знаю… Что он, допустим… поборник…»

«*Гили!*»

«Я только спрашиваю, бабушка. Допустим, ты бы…»

«Ни за что на свете! Никаких допустим! Мой муж предателем не был! Он был идеалистом! И человеком самым честным и чистым!»

«Да, ясно, это мы знаем…»

«Нет, не знаете! Никто не знает так, как я. Одна я во всем мире знала, что это за душа! И только я могу о нем говорить, и нет для него больше никого, Гили, и поэтому я не подпишу ничего, даже если меня кинут на Голи, и даже если меня убьют, и даже если возьмут Нину…»

Она замолкает. Глаза ее сверкают. Маленькая головка трясется от гнева.

«А допустим, бабушка, только допустим, что ты готова была сказать, что Милош — предатель… они бы и правда тебя отпустили?»

«Не знаю. Может быть да. Сказали, что да».

«И ты бы вернулась домой к Нине?»

«Может быть. Да. Но тогда Милош считался бы врагом…»

«Это мы знаем, но…»

«Что значит «мы», Гили? — Она смотрит на

меня поверх своих очков. — Здесь тоже идет допрос?»

«Нет, здесь только мы с Рафи, хотим узнать. Давай вернемся еще на шаг назад, бабушка».

Сейчас даже слово «бабушка» режет мне слух.

«Спрашивай. — Она вытаскивает свое круглое зеркальце и приводит себя в порядок. — Ну давай, спрашивай».

«Я спрашиваю еще раз, потому что обязана понять. Ты не согласилась сказать, что Милош — предатель, и поэтому они бросили тебя на остров?»

«А какой у меня был выход?»

Я гляжу на нее в отчаянии.

«Рафи, — она обращается к нему, но глаза глядят на меня. — Ты мне обещаешь, да?»

«Обещаю что?»

«Что то, что я здесь рассказываю, ни в коем случае не будет в том фильме, который хочет Нина».

Рафи молчит. Его сиротская преданность в смятении. Я пронзаю его взглядом, но и Вера — мастерица по части взглядопронзаний.

«Послушай, — выкручивается он, — по-моему, нам стоит хоть раз привести этот материал в порядок, чтобы он был четким и полным».

«Так ты мне не обещаешь?»

«Я предлагаю сейчас не решать».

Ее руки впиваются в ручки кресла.

«Хочешь продолжать?» — спрашивает Рафи.

«Я уже не знаю, чего я хочу и чего не хочу».

«Интересная реакция», — отмечаю я для себя.

«Тогда давай. — Я наклоняюсь к ней и медленно глажу ей руку — наша семейная рэйки[40]. — Скажи мне, что точно они тебе сказали».

«Сейчас это так важно? Сказали!»

«Да, это важно. Это важнее всего».

«Ну так спрашивай».

«Что случилось в той комнате?»

«Что там было? Давай поглядим… Было, что он, высокий офицер с лысиной, мне сказал, и я помню каждое его слово: «Мы говорим с вами начистоту, госпожа. Так как сам ваш муж на допросах не произнес ни слова, ни в чем не сознался, значит, за ним никакой вины нет, и вы можете потребовать его пенсию для себя и для дочери, но это лишь в том случае, что вы нам подписываете бумаги».

Я в ответ: «Вы хотите, чтобы я вместо него сказала, что он — предатель?» Он говорит: «Да». И я

---

[40] Примечания: 40

Рэйки — это техника исцеления с помощью прикосновения ладонями. Используется в нетрадиционной восточной медицине.

говорю: «И что будет еще?» Он: «Ничего. Только то, что завтра в «Борбе» и еще двух-трех газетах появятся статьи, что Вера Новак отказалась от врага народа, от предателя Милоша Новака».

«И они видят, что я молчу, и полковник из адвокатуры говорит: «Новак Вера, здесь, в этой комнате, имеются две двери. Одна, та, что слева, — на свободу, вы идете домой к своей дочери. А другая, та, что справа, — в концлагерь на Голи-Оток, на много лет, на каторжные работы. Для решения у вас три минуты».

А я… мой мозг мертв. Все тело неживое. Уколи меня иголкой, Гили, и я не почувствую. Умер Милош. Умерла моя большая любовь. Чего мне еще хотеть?»

Она ищет в сумочке сигарету. Вытаскивает мятую пачку «Европы». Я уже многие годы не видела, чтобы она курила. Я думаю о маленькой Нине. Которая в тот утренний час, наверное, уже пришла к Йованке.

«И тогда полковник медицинской службы говорит: «Может быть, вы не поняли. Может быть, вы хотите попить воды и подумать получше?»

«Ничего я не хочу, только умереть». Ей не удается зажечь сигарету, и я ей помогаю.

«Послушайте, Новак, еще раз говорю: мы играем

с открытыми картами. Из оборонных соображений мы не хотим афишировать тот факт, что он умер у нас. Его похоронят в анонимной могиле. Когда вы поставите свою подпись, вы возьмете дочь и уедете с ней в другой город. Вам нужно просто черкануть здесь, на бумаге, маленькую закорюку, и после этого вы будете про это молчать всю вашу жизнь. Даже собственной дочери не скажете ничего. Итак, у вас на раздумья две минуты».

«Да подпиши же наконец!» — вдруг слышу я себя, как рычу голосом призрака. Рафаэль испугался, но Вера так погружена в свой рассказ, что, видимо, меня не услышала.

«Я им сказала: «Мне не нужны ни две минуты, ни полминуты. Я от своего мужа не отрекаюсь. Мой муж, я его любила больше жизни. Мой муж никогда не был врагом народа. Делайте, что считаете нужным». Она стряхивает пепел на закрытую пачку сигарет.

«И тогда второй полковник, невысокий, сказал: «Коли так, вы уже завтра уплываете на корабле на Голи-Оток. Вам известно, что такое Голи-Оток?»

«Известно».

И он сказал: «Нина, ваша дочка, остается на улице».

«Это ваше решение», — сказала я.

А он: «Нет, решение только ваше».

Я ему сказала: «Я очень вас прошу, добрые люди, Нина никак с этим не связана, Нина может пойти к моей сестре Мире, или к моей сестре Рози, или к моей подруге Йованке. Ее не обязательно выбрасывать на улицу».

И полковник повторил: «Выслушай меня внимательно, женщина. Ты отправляешься на Голи-Оток, на каторгу, а Нина, твоя маленькая и хорошенькая дочка, останется на улице, и даю тебе слово, улица есть улица».

Вера кладет руку себе на грудь.

«Бабушка, хочешь, мы передохнем?»

«Нет, я хочу досказать».

В процессе моей далеко не блестящей карьеры я работала и в качестве исследовательницы материала для довольно большого количества документальных фильмов. Я снова и снова видела интервьюируемых, как они стоят перед этой дилеммой: открыть ли им темную тайну своей жизни или навек сокрыться во лжи. Поразительно, как много было таких, что решили открыть свою тайну, — в основном людей на предсмертном одре, — только потому, что они чувствовали: в каком-то месте мира правда долж-

на сохраниться.

«Что ты хотела спросить, Гили?» — говорит Вера.

Я собираю все силы, которых у меня нет. «Скажи, бабушка, что значит «останется на улице»?»

«Не знаю».

«Ну все-таки, попытайся сказать».

«Я не знаю».

Я пробую в другом направлении: «Ты сказала, что попросила их не вмешивать в эти дела Нину?»

«Верно».

«Ты не думаешь, что, скажем, может, должна была попросить понастойчивей?»

«Я попросила, насколько смогла, это наибольшее, что я смогла».

«Да, но, может, если бы ты еще капельку…»

«Умолять я не умею».

Она сжимает губы. Отводит от меня глаза.

«Прости, пожалуйста, бабушка, но я обязана спросить. Ты когда-нибудь слышала про девочек, которых УДБА выбросила на улицу?»

«Нет».

«Ни об одной?»

«Не знаю. Может, что-то говорили про одну или про двух. Может, все это слухи. Это было время

слухов».

«И что с ними случилось?»

«Не знаю».

«А что говорили слухи?»

«Не слышала».

«Бабушка…»

«Может, я продолжу?» Она почти кричит. Ее губы дрожат, она уже не ждет разрешения, и вдруг до меня доходит, как ей важно рассказать эту историю — пусть хоть раз прозвучит и станет известна всем на свете.

И именно потому, что сейчас все столь обнаженно и открыто, я чувствую, что совершается гигантская ошибка: почему мы снимаем эту беседу за Нининой спиной? Почему даже сейчас, за минуту до того, как мы вступим на этот остров, чтобы наконец чуть-чуть очиститься от того, что, блин, измазало в грязи уже три поколения нашей семьи, — что мы вместо этого делаем? Что мы ей делаем?

«И они мне сказали: «Новак Вера, хорошенько подумай еще раз. У тебя есть минута на раздумья». И я снова сказала: «Даже секунды не нужно».

И полковник медицинской службы сказал: «Вы мертвого мужчину предпочли живой девочке? Что вы за мать? Что вы за женщина? Что вы за

человек?»

И я ему сказала: «Я уже не мать, я не женщина, я не человек. Я ноль. Мать, и женщина, и человек Новак Вера умерла. Вы убили причину ими быть. Ничего я вам не подпишу. Делайте что хотите».

«Подпиши им!» — снова, не владея собой, рычу я. На сей раз Вера меня услышала. Она откинулась в кресле и впилась в меня долгим и мрачным взглядом. Кивает с горечью и разочарованием, будто обнаружила, что под всеми моими чистоплюйскими слоями в моей крови течет предательство. Будто всегда она знала, что в решающую минуту я ее сдам.

А я вспоминаю про то, что она мне сказала, когда я была подростком: «Не позволь им исказить мою историю, обернув ее против меня».

Эта минута…

Как из этих черт, знакомых и любимых, вдруг складывается лицо чужака? Врага? Потому что мы на войне, я и бабушка Вера. Это ясно. И она предостерегает меня глазами, чтобы я не переходила за некую грань. За этой гранью — хаос. И человек человеку волк, и для внуков снисхождения нет. Но на сей раз я не уступаю, я смотрю ей прямо в глаза и вижу, как черты ее лица вытягиваются и заостряются, и это впервые с той

минуты, как она начала свой рассказ, и, может, с тех пор, как я ее знаю, я чувствую, как ею овладевает паника.

Будто какая-то строптивая толика ее души, которая почти шестьдесят лет прожила в кандалах и с кляпом во рту, вырвалась из-под ее власти и вопит ей в мозг: «Что ты наделала, господи, Вера, что ты наделала?!»

«Полковник медицинской службы подошел к двери, что справа, и открыл ее, а там стоял тот, в черной кожанке, и я сзади получила удар по голове — кто стукнул, не знаю, и я пошла к тому, в кожанке, и он так крепко схватил меня за руку, — она обхватывает свою руку и показывает ее камере, — и я хочу, чтобы он отвез меня к Нине — рассказать ей, что случилось, и чтобы она несколько дней побыла у Йованки, а потом Йованка отвезет ее к моей сестре Мире или к моей сестре Рози…»

Она задохнулась. Попыталась заговорить и задохнулась снова. Сидела и глотала слезы.

«Но тот, в кожанке, сказал водителю: «Вези эту шкуру прямиком в тюрьму».

Она утонула в кресле, сидит, ссутулив плечи. «Ниночка моя нежная, — шепчет она камере, Нине-что-в-будущем, которая снова вдруг возник-

ла. — Как я могу это подписать? Как я могу всем сказать, что твой папа был предателем?»

«Потому что он мертв, — отвечаю я, — а Нина жива».

«Милош не был предателем, Гили».

«Как ты могла, бабушка?»

«Любила его».

«Больше, чем любила свою дочку?»

«Больше, чем любила собственную жизнь».

Все, не могу. Я встаю, расхаживаю кругами по пустому лобби. Когда я останавливаюсь возле папы, он мне быстро шепчет: «Спроси ее, сделала ли бы она то же самое и сегодня».

Я возвращаюсь и сажусь напротив нее. Она наклоняется ко мне, прикрывает рот рукой и шепчет: «А сама-то ты разве не пыталась покончить жизнь самоубийством из-за мужчины?»

«Но я не убила никого другого».

Она отпрянула, будто я дала ей пощечину. Закурила еще одну сигарету и предложила сигарету папе. Мне — нет. Она приказала ему заканчивать съемку, и он подчинился. Ее пальцы дрожали. Что я ей учинила! Господи, если она признает, что сотворила, она раскрошится тут в кучу опилок. Рафаэль делится со мной сигаретой. Оба мы уже годы как не курим, со времени его инфаркта, но

сейчас мы схватились за возможность опалить себе язык и нёбо.

«Я не врунья, — бормочет Вера сама себе из сигаретного дыма. — Не врунья. Я ни разу в жизни не соврала! Ну, может, один-единственный раз в жизни не сказала Нине всю правду, но это только ради ее же блага, чтобы она не… Смотрите, кто пришел! — кричит она и закашливается дымом, который окутывает нас троих. И машет рукой: — Привет, Нина, зайка, а мы вот туточки! С добрым утром, как спалось?»

Нина выскакивает из лифта в конце лобби. Растрепанная, малость не в фокусе, зевающая. «С каких это пор вы здесь?» Подозрительность пробуждается гораздо раньше ее самой, глаза сужаются.

«Да просто маленько пощелкали перед Гоголи, — по-дурацки лыбится Рафи. Выражение лица, которое просто его уродует. Мы все трое ухмыляемся от беспомощности. От нас несет ложью. — Бабушка рассказывала всякие байки перед тем, как поднимемся на остров».

«Ага». Ее ноздри раздуваются. Она в воздухе ловит и просеивает ситуацию, но сейчас еще слишком сонная, чтобы ее расшифровать. Берет сигарету из Вериной руки. «Но когда вы спусти-

лись? Я ничего не услышала. А тут кофе получить можно? Голова от виски трещит».

Мы с Рафи кидаемся к пустой стойке ресепшена, звоним в настольный колокольчик. Заспанный служащий говорит, что попытается что-нибудь сделать, но что, в общем-то, шансов мало, потому что кухня открывается только через час. Мы с Рафи стоим, облокачиваясь на стойку, смотрим оттуда на Веру, которая болтает с Ниной. «Что за виски?» — спрашивает Рафи. А я оставляю его вопрос без ответа. Нина что-то говорит, Вера смеется, откидывает голову назад и смеется.

«И я не успела ее спросить, сделала ли бы она и сегодня…»

«Заметил».

«Жаль, что ты не напомнил мне раньше».

«Ага».

«И ты знал, что так все было, да?»

«Как это так?»

«Что они дали ей право выбора».

«Да».

Он собирает все силы, чтобы не уклониться от моего взгляда.

«Так, в общем-то, ты знал, что Нину просто кинули».

«Что… Не понял».

«Что ее и кинули, и предали».

Это слово глубоко его пронзает.

«Понимаешь? Она не только что бросила свою дочку, она еще и предала ее, свою дочку, мою маму, предала ее».

«Да. Так оно и есть, — бормочет он. — Брошенная и преданная».

Обе окутаны дымом, который поднимается к висящей над ними лампочке. Вера делает короткие, частые затяжки. Нина курит медленно, с наслаждением. Обводит нас троих бесхитростным взглядом. Мы с Рафи сигналим ей, что с кофе проблема. Она делает знак: «Может, выйдем, поищем какую-нибудь кафешку на набережной». — Мы киваем: — «Давай». Она показывает: «Вот только докурю». Нина втягивает дым с удовольствием. Мы с Рафи и Вера едим ее глазами.

Все такая же странная, с этой своей неуловимостью.

Она здесь и не здесь. Ты ее видишь, но и о ней вспоминаешь.

Во вторник или в среду, а то через неделю, кто разберет, кто может такое запомнить, ее забирает новая надзирательница. Тянет ее за собой на веревке, и ходьба с ней почти терпима. Без столкновений и без падений, будто обе научи-

лись двигаться согласованно. Судя по голосу, та совсем молодая, а судя по произношению, тягучему, смешному, она из Монтенегро. Трудно поверить, до чего она болтлива. Она уже прошла перевоспитание. Прошла все его стадии. Начала, как Вера, с «бойкотируемых», таких, которых все игнорируют и которых за человека не считают. Перешла в «бандитки», члены шаек, являющиеся отбросами человеческого общества, и вот добралась до «бригадирш», которые сознались в преступлениях, совершенных и несовершенных, согласились стать доносчицами и вернулись под крыло товарища Тито.

Надзирательница веселится: скоро она выйдет отсюда домой. Выучится на портниху и выйдет замуж. У нее уже есть жених, который ждет ее в деревне. Толстоват, но парень хороший и с толковой специальностью — бондарь. У них будет пятеро детей. Вера ее слушает. Красивые звуки. Она вся обратилась в слух: не может быть, чтобы надзирательница так с ней разговаривала. Вере бы лучше, чтобы помолчала, чтобы даже не обращала на нее внимания. Чтобы какая мысль случайно не выскочила у нее изо рта.

Когда они поднялись на вершину, молодуха радостно расхохоталась при виде огромного моря

и открытых просторов, и от звуков ее голоса у Веры перехватило дыхание.

«Как девчонка», — подумала Вера.

«Пошли, шкура, посмотрим, — говорит надзирательница почти ласково, — ты уже знаешь, где утром стоять?»

Вера кивает, показывает на свои глаза. Девчонка хохочет: «Забыла! Вот же я тупица. Стой тут. Сейчас не шевелиться!»

«Начальница, — шепотом спрашивает Вера, — зачем я здесь?»

«Что зачем?» — спрашивает надзирательница и бьет ее в грудь, но не сильно. Просто по долгу службы.

«Что здесь со мной делают? Что я здесь делаю?»

Молчание. Теперь уж точно перешла все границы.

«А тебе что, не сказали?»

«Нет».

«Никто не сказал?»

«Нет».

Та изумленно хохочет. Можно представить себе, какие у нее крепкие белые зубы и красные десны.

«Так с чего *мне-то* тебе говорить?»

Вера идет ва-банк: «Потому что ты человек».

Она слышит, как на мгновение прервалось девчонкино дыхание. Словно твой младенец перед тем, как внезапно зайдется плачем. В этой девушке есть что-то, что в Голи-Отоке почти невероятно. «Понимаешь… это не… мне нельзя… — И потом быстро, шепотом Вере на ухо: —Тут есть растение начальницы Марьи, знаешь, да?»

«Нет».

«Даже этого тебе не сказали?»

«Нет».

«Начальница Марья привезла его из своего дома».

«Из дома?» Вере в голову не приходило, что начальница Марья, она из какого-то дома. От этого просто сносит крышу. И что значит растение? Что здесь делает растение?

«Она из какой-то деревни возле Риеки».

«Но зачем?»

«Что зачем? Чтобы выросло».

«Кто?»

«Растение. Ее саженец».

«Не понимаю», — в отчаянии бормочет Вера.

«Здесь ничего не растет, верно?» — произносит девушка то, что Вера и так знает. В голых валунах ни один саженец не может пустить корни.

Она слышит, как открывается пробка фляжки. Вода льется в изобилии. Брызги летят с земли на ее руки. Она жадно их слизывает, знает, что эта надзирательница не станет больно избивать.

«Оно большое?»

«Кто?»

«Растение».

«И вопросы же у тебя… хватит, заткнись, шкура». Вера представляет себе, как молодое лицо надзирательницы кривится от раскаяния, что по доброте душевной язык распустила.

«Пожалуйста, начальница, только это мне скажите, я обязана знать».

«Да малюсенькое оно, — бурчит надзирательница. — Я тебе чайной ложкой глаза вытащу, если кому расскажешь про то, что говорили. — И хохочет: — Ладно. Глаз у тебя так и так уже нет. А теперь не шевелись, выполняй свою работу как положено и заткнись, поняла меня?»

«Но что у меня за работа?»

Девчонка удаляется. Вера даже не ждет, пока ее шаги затихнут вдали, и спешит быстренько наклониться. От запаха голова идет кругом. Мокрая, богатая земля, земля из другого мира. Она не осмеливается воткнуть в эту землю пальцы, помешать ее, в ней поваляться. Она тут же

выпрямляется, напуганная и счастливая. Вытягивает руки. Кто думал, что может быть такой голод на земле? Она слышит собственный смех. Как давно не слышала этот звук.

Здесь есть маленькое растеньице. Эта мысль так радует и волнует ее, будто ей положили в руки ребенка.

Ночью к ней на нары протиснулась какая-то женщина. Вера пробудилась от ужаса. Видимо, пришли ее забирать. Допрос или что-нибудь и похуже. Женщина, приложив ей руку ко рту, велит ей молчать и шепчет: «Я знаю, что ты делаешь наверху, на горе».

«Ты кто?»

«Неважно. Не ори».

«Откуда ты знаешь?»

«Надзирательницы говорили. Там есть какое-то растение, верно? Саженец? Что-то Марьино?»

Вера молчит. Она не сомневается, что эта баба — доносчица. Из тех, кто хочет ее запутать и получить несколько баллов для реабилитации.

«Вали отсюда! — шипит Вера. — Я сейчас закричу».

А та быстро шепчет ей на ухо: «Когда я прибыла на остров и меня прогоняли между двумя рядами, вы единственная, кто в меня не плюнул».

Вера связывает голос с лицом и фигурой. Женщина высокая, по виду аристократка, худая как щепка, с глазами синими, безумными и устрашающими. Она пробегала между рядами, прижимая к груди какой-то закругленный музыкальный инструмент, судя по всему, мандолину. Все видели, что она пытается защитить этот инструмент, и это почему-то распаляло их еще сильней. Они били ее, пока она не выронила мандолину, лягали ее ногами и колошматили. Вера тогда получила хлыстом по полной за то, что только делала вид, что избивает эту женщину.

«Она пригрела себе там место, — шепчет женщина ей на ухо. — Марья устроила там частный бордель с видом на море. Приводит туда по ночам девиц».

Эта беседа могла обойтись в сорок хлыстов. После сорока хлыстов никто не выходил живым или в своем уме.

«И сказала, мол, хочет, чтобы у нее там перед глазами было немного зелени».

Вера не понимает. «Ночью?»

«А почему бы и нет? Или, может, от него приятный запах? Вы нюхали?» Глубокое дыхание, теплый пар на ее ухе. Женщина вздыхает. Верино тело немножко расслабляется. В этом вздохе

— забытое ощущение гостиной. Женщина шепчет: «Гольдман. Профессор музыкологии, Эрика Гольдман, очень приятно».

Вере до смерти хочется сказать, что и ей очень приятно. Подержать на языке слова вежливости. Она молчит.

«Как только я услышала, что на острове есть растение, — говорит новая женщина, — мне сразу как-то полегчало. Будто появилась надежда, что мы отсюда выберемся».

Вера пытается понять, что она слышит. Произнесенные женщиной слова не всегда складываются в понятное предложение. После проведенных на горе недель трудно вести логичный разговор. Логика — это вообще дело требовательное, изнурительное. Нужно приводить цепочку фактов, чтобы они следовали в определенном порядке. Вера поворачивается к ней лицом, ищет ее ухо.

«Но что я-то там делаю?»

Снова танцы лиц, ей нужно отвернуть лицо к стене, чтобы та могла шепнуть ей на ухо: «Вам не сказали?»

«Нет».

Кто-то в конце барака, на койке возле параши, плачет во сне. Обещает, что это в последний раз, больше не будет опаздывать в школу. Обе жен-

щины не шевелятся. Вера чувствует спиной, как стучит сердце ее собеседницы.

«Только скажите мне, — шепчет женщина, — вы к нему прикасались?»

Вера потрясена. Ей и в голову не приходило к нему прикоснуться. Или его понюхать. Так велик страх перед надзирательницами.

«Прикоснитесь разок от моего имени. Пообещайте мне». Жар, исходящий от этого шепота, говорит ей, что, может быть, только ради этого пожелания женщина подвергла себя такому риску. Вера старается не думать, до чего же сама она трусиха. Даже понюхать его не осмелилась. В ней все сильней знакомая горечь совершенной ошибки. Неверного выбора. Страшного несоответствия реальности. Реальности, какой ее знают все остальные. Эрика Гольдман внезапно целует Веру в мочку уха, в щеку — мягкий поцелуй и еще один, сладкий до боли, и в мгновение ока гладким движением зверька она соскальзывает с Вериной койки и исчезает.

На рассвете следующего дня после того, как надзирательница его полила, поставила Веру на место и исчезла, Вера попыталась сфокусировать на нем взгляд, но увидела лишь тьму и кое-где трещинки белизны. Двигаться ей запрещено, и

она пытается унюхать его с того места, на которое ее поставили. Но запах мокрой земли силен и заполняет собою воздух. Она случайно касается мочки уха, щеки, тех мест, куда ее поцеловали, и вдруг в ней вспыхивает Милош, на один лишь миг, но и этого ей довольно. Наконец-то пришел! У него и правда ушла куча времени, пока удостоил ее визитом.

Она тут же нагибается, встает на колени, быстро проводит вокруг руками, пока не натыкается на маленькую пирамидку из камней. Она кладет на нее обе ладони, будто благословляет головку ребенка. Она изучает росу, что на пальцах. Роса расположена по кругу. А растение, похоже, стоит в центре. Она все еще не решается его коснуться. Ей довольно и того, что она знает — оно здесь. Она осторожно вводит пальцы в кружок и касается влажной земли, и тут же будто сходит с ума, всовывает все пальцы целиком. Ее охватывает чувство волшебного счастья. Эта земля — сплошное богатство и изобилие. Кто к ней прикоснется, получит защиту от всякого зла. Она подносит выпачканные пальцы к лицу и вдыхает их запах. Она кладет комочки земли на язык, их рассасывает, и, не задумываясь, их глотает, и давится ими, и хохочет. Ее пальцы вновь тянутся внутрь, в этот

кружок, и порхают теперь над чем-то тоненьким, мягким и нежным.

Маленькое растеньице, низкое, с крошечными листьями. После месяцев пребывания среди острых валунов ее пальцы грубы и шершавы. И она почти не способна ощутить прикосновение листьев. Поэтому она трогает их внутренней стороной руки. Нежность, какой не бывает…

Она гладит, не мнет, не губит, боже избавь, но прикасается так, чтобы что-то от него, тонкий, незнакомый запах пристал к ее пальцам.

Она нюхает, вдыхает в себя. Почти невозможно вынести это изобилие. Вера вскакивает на ноги. Ложная тревога. Внизу, в пропасти, в море, деревянная балка ударилась о дерево.

Маленький саженец. Крохотные листики. Листочки, полные жизни, может, есть и стебелек, она вдруг засомневалась, и ей срочно нужно узнать: есть он, стебелек, или нет? Может, больше, чем только один стебелек? И как они расположены, листочки эти? Растут теснехонько, друг возле друга? Или реденькие? А то по парам, один напротив другого? Как же она не обращала внимания на такие вещи? Она не осмеливается нагнуться и снова к нему прикоснуться. Но это прикосновение в ней живо: как тонкий бархат,

потому что на листьях есть пушок. Все такое нежное, в томлении вздыхает Вера, такое тонкое и хрупкое, и ей понятно, что нет у него шансов, у этого маленького росточка, в таком месте, под таким солнцем, без капельки тени.

И потом кратчайший миг, как толика времени, что между затрещиной и болью или между страшным сообщением и его попаданием в мозг, и в эту толику времени Вера не чувствует ничего и не размышляет, но уже знает.

И потом из нее вырывается хохот, уродливый, грубый, блевотный хохот, и тело отшатывается от растения, и ей хочется одного — без оглядки бежать, не быть нигде, идиотка поганая, слепая корова. Потому что ей вдруг открылось, что она делает здесь, на вершине горы, что они делают с ней и как они используют ее здесь, используют ее тело от рассвета до заката.

Вчера в четыре часа дня буря наконец-то утихла, и мы отплыли на остров. Прогнозы погоды, которые мы проверили на нескольких сайтах, сказали, что она возобновится только ночью. А ночью, так мы решили, уже будем сидеть в самолете, летящем в Израиль. Мы заплатили целое состояние владельцу рыбацкого суденышка, единственному, кто согласился в такую

погоду плыть с нами на остров. Он потребовал предоплату и когда получил от Рафи деньги, матерился и плевался в воду. Он ненавидел себя и собственную алчность, а больше всего ненавидел нас. Он сказал, ткнув пальцем в свои часы, что будет ждать нас один час и ни минутой дольше, а потом поплывет обратно на берег, с нами или без нас. Мы прикинули время: час на острове, сорок минут для возвращения на сушу. Еще два с половиной часа быстрой езды до Загреба — мы укладываемся, видимо, с натяжкой, но к самолету успеваем.

Я пытаюсь все рассказывать по порядку, так, как это происходило, придерживаясь последовательности событий.

Бо`льшую часть плавания мы стояли близко к носу. Нас раскачивало вместе с суденышком, ветер и морская вода в нас хлестали, и воздух вонял дохлой рыбой. Хозяин суденышка прорычал, что приближается «бора», сильный северный ветер. Полиция уже перекрывает дороги, потому что этот ветер сносит машины.

И тут я увидела в тумане силуэт острова, и у меня подкосились ноги. Я зашла в защищенную внутреннюю каюту. За секунду до того, как мы попадем на остров, мне захотелось побыть одной.

Дождь преподнес нам сюрприз и полил снова. Проливной, могучий.

Я написала: «Уже можно разглядеть остров. Какое ощущение? Страшновато. И некое благоговение».

Выхожу наружу.

Нина что-то мне говорит. Понять невозможно. Она орет мне в ухо, насколько этот остров напоминает ее остров в районе Арктики. Оба похожи на голову огромного кита, который лежит в воде.

Суденышко входит на маленькую якорную стоянку. Гнилой деревянный мост. Вокруг него плавают доски и балки. Раздутый труп кролика, запутавшийся в клубке водорослей. Ветер сумасшедший, сбивает с ног. Трудно говорить и трудно слушать. Дождь пляшет иголками по всем открытым участкам кожи. Хозяин суденышка привязывает его к каменному столбику, что на берегу, и припирает к бетонной стене якорной стоянки. Спуститься на берег он нам не помогает. Рафаэль вскарабкивается на каменный причал острова и протягивает нам руку. Сначала поднимается Вера, за ней — Нина, потом я.

Я на острове, я на Голи.

Пустом и безлюдном. На острове мы одни. В такую бурю только идиот сюда заявится. Хозя-

ин суденышка отвязывает канат и быстренько отплывает. Хочу надеяться, что он просто ищет более защищенное место, где можно бросить якорь на ближайший час.

Мне все еще трудно осознать, что мы на Голи-Отоке. Холод и дождь не позволяют ощутить торжественности момента. Разумеется, никому из нас не пришло в голову захватить зонтик, да в нем бы и проку не было, при таком-то ветрище. Вера с открытым ртом носится среди луж. Я боюсь, вдруг упадет, и что тогда? Рафи бегает за ней со своим «Сони». Я от них отхожу. Снова хочу в одиночку пережить свою первую встречу с этим местом.

Меня удивляет, что здесь немало каменных строений. Двухэтажных бараков. Не так я себе это представляла. Есть и железная дорога, видимо соединяющая лагеря на острове. Я где-то читала, что хорватское министерство туризма собирается превратить этот остров в туристическую достопримечательность. Но больше всего меня поразила растительность — деревья, кустарники. При Вере здесь не росло ничего, и я делаю предположение, что изменения произошли после того, как «лагерь для перевоспитания» закрыли и остров превратили в тюрьму для уголовников.

Вера указывает на то и на это, хлопает обеими руками по щекам, здесь было так, а здесь этак. Глаза ее сверкают: «Тут мы в первый раз сошли с корабля «Фонат», и заключенные ветераны выстроились в две шеренги, сделали нам «шпалир»[41], как бы почетный караул, и мы должны были пробежать между этими двумя рядами. Ветераны орали на нас как звери, плевались в нас, били руками и палками с гвоздями и хлыстами, и были девчонки, которые потеряли здесь глаза, потеряли зубы, чуть не умерли. Такой вот нам устроили прием, а через месяц после этого мы уже и сами выстраивались в две шеренги, и новые девчонки пробегали посредине. А вот здесь был барак начальницы Марьи, видите, еще и пол сохранился. Потом они уже строили все дома из камня. А где Гили? Иди сюда, посмотри…» Она тянет меня за руку, здесь она движется легче, чем я, почти порхает в своей незастегнутой куртке. «Когда прибывали на корабле новые девчонки, Марья стояла здесь и, бывало, кричит: «*Вывали-вай! Наружу*!» Так что девчонки от страха клали в штаны. Тут вот стояла начальница, а здесь шел дренажный канал для кухни и туалета, который

[41] Примечания: 41
Шпалир (македонск.) — ряд.

мы вырыли собственными руками, и, смотрите, можно даже увидеть линию, которая спускается к морю. — Вера говорит быстро, хватая ртом воздух. — А здесь шла колючая проволока, которой все обнесли, как будто кому-то захочется залезть внутрь или у кого-то есть силы на побег. «Алькатрас-адриати» — так это называется по сей день». Рафи спешит угнаться за нею, снимает на камеру, а также подает для поддержки руку.

Нина все еще в трансе. Ощущение, что для нее шок от этого острова тяжелее, чем для нас всех. Она оглядывается по сторонам, будто не понимая, куда попала. Я подхожу и беру ее под руку. Мне тяжко от мысли, что единственный час благодати, который нам выпал, она растратит попусту.

«А вот здесь был склад рабочего инструмента. — Вера всплескивает руками. — Здесь нам по утрам раздавали молотки, чтобы разбивать камни. Здесь держали и носилки, на них тоже клали валуны, чтобы тащить их на гору, а здесь был плац, на котором тебя наказывали, ты должен был перед всеми сознаться в содеянном и получить удары плетью. А здесь бараки, в которых мы жили. Вот наш ряд, вон мой барак. Здесь стояла моя койка. Доска, на ней чуть-чуть соломы и блохи. Смотрите, вот следы от койки на полу».

Все уродливо, как уродлива любая жестокость. Сорванные с петель двери. Вещи, которые так сожжены и растерзаны, что узнать их невозможно. Пепел и ржавчина. Бетонный прилавок, из которого торчат кривые железные кочерги, в разбитых окнах извивается колючая проволока. Вера быстро идет вдоль стен, и показывает, и бормочет имена заключенных, кто из них спал на какой койке, ноги ее легки, будто здесь им снова тридцать. Она перешагивает через бугры холодных углей, доски с торчащими из них гвоздями, рваные шины и ржавые консервные банки.

Дождь утих. Бледное солнце блеснуло на секунду и скрылось за тучами. Свет серый и мутный. Что мы вообще успеем увидеть за оставшиеся полчаса и зачем впихнули себя в эту жуть? Такая уж мы гребаная семейка. Такая уж мы идиотская семейка. Что бы случилось, если бы мы еще денек пробыли на суше и попытались отплыть сюда завтра, когда все сайты обещают почти весеннюю погоду? Иными словами, почему все, что связано с Ниной, выходит криво-косо?

И вдруг первая волна возбуждения отступает, будто себя исчерпав, сникает. Мы продолжаем крутиться по этому месту, но помедленней, и каждый сам по себе. Глядим на развалившиеся

строения, проходим через дырявые стены. Вера указывает на небо: оно снова почернело. Тучи внезапно с огромной скоростью и со всех сторон налетают на остров. Кажутся толпами, летящими на побоище. Плавание назад обещает быть тяжелым.

Я иду по дорожке, мощенной отесанными камнями. И испытываю странную опустошенность. Будто была у меня безумная страсть, но я утолила ее слишком быстро. Я подхожу к той точке, с которой можно увидеть вершину горы. Верину вершину. Утес, на котором она пятьдесят семь дней простояла под палящим солнцем, теперь окутан туманом. Я ищу место, где тропа начинает ползти в гору, но она утонула и исчезла в огромных лужах. Совершенно ясно, что взобраться на вершину я не успею и не смогу постоять хоть пять минут над обрывом. И не смогу поставить свои ноги на то место, на котором стояла она, и не расскажу там то, что она рассказала мне о тех днях.

Из окна одного из бараков я вижу странную картину: посреди широкого поля стоят несколько десятков валунов, больших, почти в человеческий рост. Все немного закругленные и будто отесанные. Стоят мрачно, стоят *вместе* — не просто один возле другого, — есть в них нечто

гнетущее, будто какой-то замысел.

И папа мой тоже их видит и к ним бежит. Я не помню, чтобы когда-либо видела, как он так бежит. Он фотографирует эти валуны со всех сторон. Потом кладет обе руки на один из них, что-то проверяет и переходит к другому. Пробует и его и переходит к третьему. Он кладет руки прямо на валун, глубоко вдыхает и пытается столкнуть. Я бегу ему помочь. Он освобождает для меня место.

И в тот миг, когда мои ладони прикасаются к валуну, во мне будто замкнулся какой-то круг. И я начинаю плакать. С трудом себя останавливаю. По чему я плачу? По всему, по чему приходится плакать. Рафи средь ветра и дождя тут же все уловил и меня обнял. Стал медленно гладить по голове, пока я не успокоилась.

И потом мы снова пытаемся вместе столкнуть этот валун. А он не шевельнется. Вера выходит к нам из барака, идет на помощь. Я уверена, прямо не сомневаюсь, что, как только Вера подойдет к одному из валунов, он начнет катиться наверх. Она стоит возле меня и кладет на него руки. Мы все трое стонем и тяжело дышим. Валун бесстрастен. Я кричу ей на ухо: «Как ты это толкала?» И она кричит: «Нина ждет лекарства!» Я закрываю

глаза и толкаю изо всех сил. Нина ждет лекарства, Нина ждет лекарства!

«А где Нина?» — пугается Вера. Нина стоит вдалеке от нас, на груде серых валунов, неподалеку от кромки воды. Она подает нам знак, чтобы мы повернулись к ней спиной. Ищет, где бы попи-сать. Проходит минута, проходят две минуты. Мы осторожно поворачиваемся, а Нины нет. Одни валуны. Место, пустое от Нины, вызывает в нас ужас. Рафи начинает двигаться, а потом пускается в бег по берегу. На секунду и он исчез, а потом возвращается, карабкается по валунам, спускается на землю и машет нам, чтобы не беспокоились: она здесь. Мы подходим ближе. Она лежит за валуном со спущенными брюками и трусами, улыбается, малость испуганная, вся мокрая.

«Я облажалась, — объясняет она. — Нога застряла в камнях».

Он кутает Нину в свою куртку. Проверяет валуны, где она зависла. «Больно?» — «Нет. Может, капельку». Нога вроде в порядке, но изогнута в такой позиции, что мне не понять. Нина тянет Рафи за бороду: «Эй, на что ты так загляделся?» — «Ноги у тебя как у девчонки». «Рада, что тебе нравится». — «Пойду чего-нибудь раздобуду». Рафи бежит. Из него вдруг выскочил бегун. Я с трудом

его догоняю. Вера ковыляет следом за нами. Явно начала уставать. Нина снова одна на берегу, а мы как обычно. Всегда и неизменно. Протечка в нашем четырехугольнике всегда с Нининого бока. Рафи криками и жестами объясняет мне, что мы ищем. Палку или какую железяку, чтобы снять с ноги валун. Я проверяю время: осталось четверть часа. Не успеваем. Видит бог, не успеваем. Мысль: может, пусть Рафи с Верой побегут на якорную стоянку и на суденышке вернутся на берег? А мы с Ниной переночуем здесь. Утром они за нами приплывут. Я нахожу ржавый железный прутик, часть развалившегося проволочного забора. Рафи удается, не поранившись, его выломать. Вот это да, давненько я не видела, чтобы мой папочка так по-мужски себя вел.

Эта идея вдруг начинает мне нравиться. Забавно провести эту ночь здесь, с Ниной, в эту очистительную бурю и со всеми семейными призраками. Мы слышим гудки, раздающиеся с маленького якорного причала. Хозяин суденышка тоже смотрит на небо и все видит. Рафи мчится к Нине с железным прутом. Она лежит, совершенно поникшая. Я уже заметила, порой, в какие-то секунды из нее вдруг утекает жизнь. Вера всегда говорила, что Нина избалованная,

но это не избалованность. Что у этого общего с избалованностью? Как она вообще смеет…

Рафи ищет, куда воткнуть этот прут. Он что-то произносит, и она пробуждается, смеется, лежит с голой задницей под проливным дождем. И вся эта ситуация ее веселит. Потрясающе, как ее изысканности не мешает даже то, что она в таком дурацком положении, ей-богу, было бы даже интересно несколько лет расти у нее, пройти такой тренинг, научиться видеть мир ее глазами.

Хозяин суденышка нервно гудит. Мы не обращаем внимания. Сейчас в головах у всей нашей четверки носятся вихри безумного, преступного веселья. Рафи втыкает прут возле ее лодыжки. Его руки все в ржавчине. И он моет их в дожде. «Минутку! — кричит ему Нина. — Я бы в таком месте и минуты не выдержала! Как она пробыла здесь два года и десять месяцев?» Над нами прокатывается гром. Нина уже дрожит от стужи. Верхний валун ни с места. Ржавый прутик не производит на него ни малейшего впечатления. Рафи пытается всунуть прут под камень, который держит стопу, немного его пошевелить, чтобы нога смогла высвободиться. Ему трудно сосредоточиться. «Чувствуешь запах моей мочи?» — «Через секунду дождь все смоет». Гудки

хозяина суденышка становятся истерическими. И вдруг хлопок, в небо взвивается красная ракета и медленно опускается вниз. «Оставьте меня здесь», — говорит Нина как раз в ту минуту, когда я собралась предложить им оставить меня здесь с ней. «Ну а как же-с! — говорит Рафи и орудует железякой. — Именно за тем мы тебя сюда и привезли». — «Рафи, я серьезно, сделай милость, остановись на минуту!» Она двумя руками бьет его в грудь, и он прекращает толкать. Он куполом навис над ней, качается на железяке, которая разделяет их между собой. Их тела не соприкасаются. Они глядят друг другу в глаза. «Послушай меня, подумай логично». — «Оставить тебя тут одну? Это то, что тебе кажется логичным?» — «Мне это кажется логичным. Оставь меня здесь на одну ночь. Последнее благодеяние, Рафи».

Хозяин суденышка включает новую сирену, длинную и угрожающую. Вера возле меня нервничает. Ее рука нащупывает мою руку и хватается за нее. Ветер совсем обезумел, и Верины губы посинели. Я протираю пальцем стеклышки ее очков. Тяну-толкаю ее против ветра в ближайший барак. Все окна разбиты, и стены рассыпались по кускам, но есть хотя бы полкрыши. Я усаживаю ее в уголке, между двух стен, будто так она более

защищена. «Господи, — думаю я. — Как это мы притащили девяностолетнюю старуху в такое место?» Снаружи, на берегу, Нина ухватилась обеими руками за рубашку моего папы. Ветер доносит до меня крики. «Скажи, чего мне ждать от этой жизни?» Мой папа качает своей бычьей головой. В подобные минуты у него этакое сжатое, поросшее мехом рычание. Нет, нет и нет!

«Возьми камень, Рафи, я освобождаю тебя от всего. Если ты и вправду меня любишь, возьми большой камень и ударь меня по голове». Он жмет всей своей массой на железяку. Она кричит и обеими руками царапает ему лицо.

Он встал с нее и снова побежал к полю с валунами. Она изгибается всем телом, чтобы за ним наблюдать. Я выхожу из барака ему навстречу. Дикий порыв ветра почти сбивает меня с ног. И новый порыв. Она, Нина, пришла умереть здесь, в этом месте, где прожила всю свою жизнь. Она пришла, чтобы сплестись со своей смертью, которая поджидает ее здесь с тех пор, как ей исполнилось шесть с половиной лет. С тех пор, как ее бросили и предали. Рафи машет мне руками и кричит, чтобы бежала к причалу. Я жестом показываю, что суденышко уже отплыло. Он орет: «Сейчас!» Я не понимаю почему, но он в этот момент вла-

деет силой, которая передвигает вещи. По пути я заглядываю в барак. Вера сидит на земле точно в той же позе, в которой я ее оставила. Взгляд остекленевший. Выглядит как некое существо, что-то среднее между человеком и птицей. Рафи рычит, чтобы я спешила. Я бегу. Вспоминаю, что на съемочной площадке он был как сама стихия. Актеры были как куклы в его руках, и им это не нравилось, они против него восставали. И из-за этого тоже все рухнуло. Я шарю под всеми слоями одежек и в кармане кофты нахожу его спрей изосорбида динитрата от стенокардии и аспирин, который нужно рассасывать. Я бегу, взбираюсь на какой-то холмик. С него я вижу удаляющееся суденышко. Черная точка на сером горизонте. Я фотографирую своим смартфоном, но ничего, конечно, не видно. Глупость, что не взяла у Рафи камеру. Со своей точки наблюдения я вижу и Рафи, который бегом возвращается к Нине с другой железякой, которая, как мне отсюда видится, вроде помассивней. Он снова укрывает ее своей курткой. «Чтобы ты, зайка, себе попку не простудила», — уж точно шепчет он ей. И она в ярости его бьет. Может быть, надеялась, что мы и правда смылись и ее бросили — к чему ей не привыкать. Он с ней говорит. Гладит ей волосы, а я продол-

жаю их фотографировать своим смартфоном. На таком расстоянии ничего не выходит. Но я не способна это бросить, это фильм моей жизни.

Я спускаюсь со своей точки обзора и мчусь вниз, на якорную стоянку. Рафи был прав. На деревянном мосту, на самой верхней ступеньке — большой пакет, оранжевый, блестящий, завернутый в матовый нейлон, и на нем красный крест и еще какой-то знак, видимо, хорватской береговой охраны. Для своих габаритов пакет на удивление легкий. Я машу двумя руками — благодарю хозяина суденышка, но он, конечно, уже далеко и не видит. Я бегу обратно в барак, где Вера. Разрываю нейлон и открываю пакет. Из пакета я вытаскиваю большое одеяло и плотно-плотно укутываю Веру со всех сторон. И помню, что у меня тут же пронеслась мысль: я и младенца сумею запеленать. И сумею о нем позаботиться. И с ним останусь. Что бы ни случилось. У меня полно недостатков, но я не из тех, кто бросает, и не из тех, кто предает. «Сходи посмотри, что там с ними», — говорит мне Вера, и я бегу. На берегу Нина гладит обеими руками лицо моего папы, приводит в порядок его бороду, которая вся взвихрилась на ветру. Он что-то говорит, она смеется. Она снова пытается вытащить свою ногу, но

ничего не получается, и я начинаю тревожиться. Что будет, если ей и правда не удастся выбраться? Я недалеко от них, но они так заняты друг другом, что меня не видят. С моего места это выглядит так, будто остров смыкает на ней свои клыки. Еще минута, и начнет ее пожирать… Я хочу подойти и забрать у Рафи, из его рюкзака камеру, чтобы их заснять. Это сильные мгновения, и я не вправе встревать в эту их близость. Мой отец борется с драконом: он деликатно подсовывает железяку под ее стопу и надавливает на нее с осторожностью. Вчера в гостинице я на минутку взяла в руку эту ее тонкую стопу. Нина снова перехватывает его взгляд. «Рафи, милый мой, бедный мой, — говорит ее лицо. — Как бы здорово, если бы я могла освободить тебя от этого. От меня самой». — «Если кто сейчас и застрял, так это ты». Обеими руками она притягивает к себе его лицо. Они целуются. Они безразличны к дождю, и к ветрам, и к серому морю. У меня не хватает слов, чтобы описать красоту этого мгновения.

И тут внезапно что-то срабатывает. Валун, лежащий на Нининой стопе, чуть поддался. Рафи давит мелкими движениями. Поразительно, какую деликатность проявляет это грузное тело. Эти двое под проливным дождем сосредоточе-

ны лишь друг на друге. Они совершают точные движения вперед и назад, так что ее стопа помаленьку высвобождается, и вот уже она в его ладони, и он падает в сторону, на спину, лежит на валунах и хохочет над небом и дождем. И Нина хохочет вместе с ним. Есть полоски крови вдоль ее икры и на лодыжке, но ее это не волнует. Она натягивает брюки, обувает освобожденный ботинок, и вместе, обнявшиеся и промокшие, под курткой Рафи, как под зонтиком, они входят в барак и спешат к Вере, укутанной по самую шею в красное одеяло, новое и мягкое.

Рафина догадка сработала. Кроме набора для выживания от Красного Креста и береговой охраны Хорватии хозяин суденышка оставил нам еще несколько своих яблок, фонарь, а также свечи, спички и спальные мешки. Оставил даже ракетницу. Такая человечность и щедрость этого противного мужика, да еще здесь, в Голи, совершенно меня растрогали.

«Идите сюда, — говорит Вера Нине и мне с Рафи и поднимает края одеяла. — Залезайте, детки, на всех места хватит».

Полдевятого вечера. Мы сидим на бетонном полу, малость обалдевшие от того, что наделали, сидим, прислонясь к наименее сгнившей стене.

Слева направо: Нина, Рафи, Вера (я — справа от Веры). Все закутаны в одеяло. Два из трех яблок мы уже съели, передавали их из рук в руки, изо рта в рот и сгрызли со всеми косточками. Дождь то стихает, то начинается вновь, как и все в Голи. Разумеется, мобильники не ловят сеть, а значит, и невозможно связаться с гостиницей и сообщить о том, что мы застряли на острове. Да и все равно в такую бурю никто не выйдет в море нас спасать. Впрочем, и нам не хочется, чтобы нас спасали.

«Наш самолет сейчас вылетает», — говорит Рафи. Вера проверяет, вернут ли нам хоть какую-то часть денег. «Но как же! — возмущается она, и голос уже на взводе, уже скандалит с этим идиотским бюрократом из «Хорватия-Эйр-Лайн». — Разве наша вина, что мы застряли на этом острове? Ведь какая непогода! Носа не высунуть!» Нина тут же вскипает: «А кто виноват, что мы решили выйти в море за минуту до шторма?» И Вера: «Разве это наша вина? Это форс-мажор!»

Эта парочка…

Картинка полета в Загреб: Вера, Рафаэль и Нина сидят в ряду, что за мной. Рафаэль посередке, с открытым ртом, храпит что есть мочи. Вера с Ниной тесно к нему прижимаются. Их головы у него на плечах. Глаза обеих пробудившиеся ото сна.

Не полностью открыты. На четверть прикрыты веками. Видны только полоски белков. Честно говоря, страшноватое зрелище. Сделала кадры и сняла на видео.

Позже, в гостинице, я просмотрела свой фильм и кое-что для себя обнаружила: у них у обеих раз в несколько секунд глазное яблоко медленно опускается из-под века, выглядывает до половины на фоне белка и потом поднимается и снова исчезает за веком. Я не смогла сдержаться. А побежала с камерой в номер к Рафаэлю. «Эта парочка, — засмеялся он, — не позволяет себе закрыть глаза даже во сне».

Перед тем как я вышла из номера, он меня остановил: «Ну что, Гили, так вот я и выгляжу?» Я сказала, что в качестве компенсации ему дана красота внутренняя, разглядеть которую способны лишь отдельные избранники. Он бросил в меня подушку и прорычал: «Время человеку враг…»

Час и еще час. Солнце проходится по ее телу, как медленная струя огнемета. Голова, затылок, шея. Все пылает. Пот градом. Губы трескаются и кровоточат. Над ней туча мух. Блохи откормились ее кровью. Она не чешется. И их не прогоняет. Пусть допьют до конца. Это тело не ее. Ни оно, ни

его боль. Она уже не человек, не зверь и вообще ничто. Со вчера, с тех пор, как Вера поняла, что она здесь делает, в ее органах и ее суставах все окаменело. Ноги-палки. Она ходит на них как на ходулях.

День и еще день, неделя, две недели. Еще до рассвета ее гонят на вершину горы. Есть надзирательницы, которым нравится, когда у нее руки по швам. Есть другие, которые требуют, чтобы стояла руки вверх. Иногда они раздвигают ей ноги, приказывают согнуться и голову вперед. В полдень она обнюхивает жестяную тарелку и не ест. Кишечник почти прекратил работать. После обеда ее переводят на другую сторону каменного круга, спиной к морю и к солнцу, которое медленно заходит, пылает до той самой минуты, когда уходит в море. Потом Вера стоит в отключке еще час или два, бесцельной штуковиной, пока кто-нибудь в лагере внизу не вспомнит, что нужно ее вернуть.

Там-сям встряска: дикое, строптивое сердцебиение. Почти всегда это известие о Нине: идет в школу, ранец на спине, прыгает среди опавших красных листьев. Возникают воспоминания, словечки, которые произнесла, «жемчужинки», те, что Милош записывал в особом блокноте, тоже

конфискованном УДБА («Почему, когда меня подружка щекочет, мне смешно? А когда я саму себя щекочу, мне не смешно?»; «Правда, что даже самый плохой в мире человек раз в жизни сделает что-то хорошее? Правда, что даже самый лучший в мире человек раз в жизни сделает что-то плохое?»). Но даже эти жемчужинки воспоминаний становятся все более редкими, тонут в трясине ее существования.

В последние дни именно Милош стал вдруг появляться чаще обычного. Стоит ей перевернуться на колючей соломе, устилающей ее койку, и, привет, он тут как тут. И она начинает стонать. «Зачем ты это сделал, Милош? Почему я уже два с половиной года могу так держаться, а ты сломался после одного дня побоев? Почему не взял хоть капельку любовной силы, которую я тебе дала?» Ей хочется прекратить эти жалобы. Но слова сами из нее вылетают: «Может, ты не настолько любил меня и Нину и потому смог уйти так вот, с легкостью? Так скорехонько, Милош? Будто только и ждал случая, чтобы слинять?» Милош слушает. У него лишь пол-лица, неизвестно, то ли это из-за темени в бараке, то ли таков он сейчас. И тут он начинает говорить, и это вовсе не то, что Вера от него ожидала. «Как ты такое сделала

с нашей Ниной? — шепчет он. — Как отдала им ее вместо того, чтобы отдать меня?» Вера машет руками перед своим лицом, стереть, уничтожить жуткое впечатление от того, что он сказал. «Как ты можешь такое сказать, Милош? У меня не было выбора, ты же знаешь. Ты бы и сам ради меня сделал подобное!» Милош молчит. И она вдруг пугается, что он уже забыл, какова была их любовь. Озноб начинает вползать в нее от ног к голове. Только если Милош забыл, только если он глядит на нее и на себя со стороны, как чужак, как смотрят обыкновенные люди, трусы, не знавшие такой любви, как у них, только тогда он может сердиться на то, что она сотворила. Но если он любит ее, как она любит его, если он в самом сердце их любви, их единственной в своем роде любви, он не будет сердиться. Ведь и сам сделал бы точно то же, у них одно тело и одна душа. Те же мысли и та же логика… И она кричит, и сердце рвется на куски: «Я любила тебя больше всего в целом свете! Любила тебя больше собственной жизни!»

Некоторые женщины в бараке просыпаются. Шлют проклятия. Она съеживается. Ничего она не боится. Но может умереть от страха при мысли, что он уже думает про нее по-другому, что он ее не понимает, и если это так, может, вся их

любовь была ошибкой или, что еще страшней, иллюзией; а вдруг она не была абсолютной, чистейшей правдой, самой рафинированной из существующих материй, открытых лишь им да ею, нет, не открытых: они ее творили, создавали всякий раз, когда его разум соприкасался с ее разумом. Когда его тело входило в ее тело. Она лежит помертвевшая, беспомощная. «В конечном итоге, — как-то раз в минуту отчаяния сказал он ей, — любовь любит только саму себя». Такие ужасные слова. Маленький мускул на его щеке дрожит, может быть, от огромного усилия сказать ей, что и он ее любит. А может, от желания сдержаться, не сказать ей чего-то другого, того, что, если он это произнесет, она в тот же миг перестанет жить, как свеча, которая погасла от движения двух пальцев. Милош не говорит ничего, только глядит на нее одним жутким глазом, смертельно перепуганным. Будто увидел какое-то чудовище. Вера борется, пытаясь пробудиться от страшного сна, если это действительно сон. Пол-лица Милоша становится сплюснутым, и длинным, и оттянутым назад, и тьма всасывает и заглатывает его, и тут она просыпается вся в холодном поту.

В бредовом состоянии от жары, не размышляя,

она встает на колени и прикасается к растению. И вслух считает. Листков уже больше двадцати. Оно выросло. Сосет землицу и развивается. Она царапает ногтями один из листиков. На нее брызжет запах, более острый, чем обычный. Может, это запах страха от растения, ощущающего, что нечто происходит? Что его верная стражница становится опасной? Она захватывает пальцами пару листиков. Осторожно с ними играет: еще чуть-чуть потянуть к себе? Или, может, схватить корень стебелька, все вырвать из земли и швырнуть в море? «Больно, лапочка? — ухмыляется она желтым от ненависти ртом. — Ты мой кошмар, почему я должна отдавать за тебя свою жизнь, свое тело?» Она ждет. Оно не отвечает. И вдруг она из ненависти бьет изо всей силы рукой с растопыренными пальцами по земле, что его окружает. Почти раздавила его. Она чувствует, как оно вздрогнуло. Завтра или послезавтра она уже не сможет собою владеть. Близится его конец.

И ее тоже.

Она видела, как Марья приказывает убить женщин, совершивших проступки и полегче.

День и еще день. Сегодня Вера измотана и издергана больше, чем всегда. В полдень ее не

отвели оправиться. До заката еще по меньшей мере два часа. Она переступает с ноги на ногу, проклинает этот лагерь, Тито, проклинает в голос, чтобы Марья услышала. И растение тоже сводит ее с ума своей прохладой и буржуазным спокойствием среди этого пылающего ада. Стоит себе, блин, в ее тени и расцветает, будто оно и вправду совершенно не знает и не понимает, что она тут день за днем сгорает ради того, чтобы оно жило. В ней клокочет ненависть. Типажей вроде него, паразитов вроде него она знает прекрасно. Она с ними боролась с тех пор, как себя помнила. Она начинает прохаживаться мелкими слепыми шажками вокруг его клумбы. До сегодняшнего дня не осмеливалась. Но сейчас… пусть этот барчук почувствует, что это такое, пусть почувствует, что значит стоять под солнцем. Пусть поймет, что его ждет, если она затеет против него классовую войну.

Тишина. Чего она от него хочет? Ведь всякий раз, убегая от него на два шага туда или сюда, она чувствует, как его листья колышутся, будто дрожат. Даже ничего не видя, она знает: оно ее ищет. Глубиной живота она ощущает, что оно ищет ее, нуждается в ней, и тогда она спешит к нему вернуться. Почему-то ей даже минуту труд-

но вынести его страх. Но что это значит? Что оно задумало против нее? И как это случилось, что маленькое и глупое растеньице превратилось в центр ее жизни? Как случилось, что все ее существование уже несколько недель струится в него, как кровь струится к ране? Вера встает на колени. Окружает его своими ладонями. Гладит, гладит и от имени женщины с безумными глазами. За мандолину, которую ей сломали. Забывает себя, надзирательницу, которая вот-вот придет и поймает ее на том, что она сидит и его гладит. Она переносит пальцы на листья, на нежный пушок. Никогда он не был таким мягким, как сегодня. Может, оно и правда немножко ее узнает? Она смеется. У тебя, девочка, совсем крыша поехала. Она быстро проверяет, сколько почек прибавилось у него со вчера и утолстился ли стебель. Она уже давно не толкает валуны на вершину горы, и пальцы у нее стали чуточку гибче и чувствительнее. Ей нужно рассказать Милошу, как она разговаривает с растением, как она произносит ему политические речи. Пусть увидит, что и у нее есть чувство юмора. А то он всегда говорил, что у нее его нет. Она рассмешит Милоша, и он ее простит. Нет-нет, прощать-то не за что: он просто ее поймет.

День и еще день. Или, может, это все тот же день? Или спустя неделю? Сегодня, например, часы начинают возвращаться назад. Она чувствует, как они сворачиваются назад, кто-то забыл прийти и поставить ее так, чтобы двигалась вокруг растения. Она ставит себя сама. Солнце сегодня раскалено добела. Море — стальная плата, которая перебрасывает на нее пылание солнца. Нет, ты не спятишь. Это всего лишь росток, а ты еще чуть-чуть человек. И помни, есть кто-то, кто снаружи тебя дожидается. Есть Нина, и нужно отсюда вернуться и ею заняться. Нина, думать про которую нельзя ни секунды, ни о том, что с ней происходит, ни где она, ни с кем, ни какой девочкой она станет, когда ты освободишься и придешь забрать ее оттуда, где бы она ни была.

Потому что истории ходят разные. Были девочки, которых похитила УДБА. Именно девочек. Примерно не старше десяти лет. Видимо, кто-то заказал именно таких. Иногда их возвращали, а иногда — нет. Говорили, что те, что возвращаются, уже не такие, как раньше. Рассказывали про одну, которую вернули через три месяца с запиской, приколотой к кофте: «Скажите ей, что ей это приснилось».

Она слышит шаги надзирательницы. Выясняет-

ся, что Вера не стоит в том месте, где ей положено стоять по отношению к солнцу. Видно, малость лишку обогнула растение. И за это ей отвешивают двух лещей. Умоляет надзирательницу отвести ее облегчиться. Грозится, что у нее это вывалится здесь, прямо возле Марьиного ростка. Надзирательница уступает. Отводит Веру на обычное место и говорит, что она, надзирательница, побудет пока наверху, возле ростка, малость подышит воздухом, а Вера пусть ее позовет, когда закончит. В том, что надзирательница сказала, есть пара лишних слов. И это настораживает. Если бы хоть тени могла разглядеть. У нее странное ощущение, будто надзирательница что-то делает там, наверху. Может, трогает его? Или с ним разговаривает? Вера умирает как хочет облегчиться, но ей неспокойно. С какой стати эта сюда явилась и захватывает ее место? И нехорошо так его морочить, к Вере он все-таки привык. Она быстро встает и ищет дорогу назад. Надзирательница издает вопль ужаса, когда Вера вдруг возникает среди валунов с лицом осиротевшей медведицы. Она отвешивает Вере несколько оплеух, швыряет ее на землю с воплями: «Говно! Жидовское говно! Погань!» и тащит ее по скалистой земле.

И потом надзирательница ее оставляет. Отхо-

дит на несколько шагов. Быстро переводит дух. И нетвердым голосом начинает ругать Веру: «Слушай, шкура, когда ты здесь совсем чокнешься, тебя сменят. *Я* тебя сменю!» Почему она это ей сказала? Может, что-то услышала в штабе? Что ее собираются сменить? Вера душит в себе крик: никто не способен ее заменить. Никто не знаком с этим ростком лучше нее, не знает точно, в чем он нуждается каждую секунду.

Потом, через неделю или пару недель, снова приходит та самая надзирательница и устанавливает ее на посту. Вера узнает ее шаги и вся съеживается, защищает руками свою голову. Сегодня надзирательница не орет. Не колотит. Не проклинает. Только поправляет Верины ступни, которые разъехались в разные стороны. Легкими движениями выпрямляет ей спину. Прикасается к растению и приподнимает ему головку. И тут, когда Вера уже точно вросла в положенное место и еще перед тем, как надзирательница примется за полив, она протягивает фляжку Вере.

«Попей».

Вера вся съежилась. Ждет подвоха.

«Пожалуйста», — говорит ей надзирательница.

Вера издает странный звук — реакция тела на слово. Она водит руками, ищет фляжку, наты-

кается на руку надзирательницы и… что сейчас будет? Что делают с тем, кто трогает надзирательницу? Но ничего не происходит. Ничего плохого. Та берет Верину руку, направляет ее на фляжку, охватывает ладонями и вторую Верину руку и смыкает ее руки на фляжке. Вера ждет. Наверно, сейчас и столкнет в пропасть. «Пей», — говорит надзирательница. Вера пьет. Залпом выпивает чуть ли не полфляжки.

А та говорит: «У тебя не бывает чувства, что он все время на тебя смотрит?» — «Товарищ Тито?» — осторожно проверяет Вера. «Нет, — смеется та тихим, глубоким смехом. — Этот росток. Тебе не кажется, что он будто понимает?» — «Понимает что, начальница?» — «Эту дикость, — говорит та. — И то, как нас превращают в зверье». Вера молчит, ждет с опущенной головой, как ждут особо вероломного удара. Как человек с веревкой на шее ждет, когда под ним распахнется люк. Но ничего не происходит. Как изнурительно быть там, где возможно все. «У меня один такой дома, в Белграде, — говорит та. Ее голос настолько отличается от воплей, которые она издавала в прежний приход. — В горшке на балконе. Ему много воды не нужно. И кстати, из его листьев можно заварить чудесный чай». Вера

молчит. Видимо, и правда решила свести ее с ума. Ей прислали особо одаренную актрису, чтобы ее разговорить. Ведь только от звука ее голоса, сегодня такого мягкого, человек может сдохнуть от тоски по прошлому. «Я тебе завидую», — шепчет надзирательница Вере на ухо. «Чему тут можно позавидовать, начальница?» — «Тому, что тебе есть ради чего жить». Вера едва дышит. Это слова, которые до того запретны, что почти и нет сомнения в том, что она из УДБА. Она не осмеливается спросить надзирательницу, кого она имела в виду, когда сказала, что ей есть для чего жить. Это она про растение? Или ей что-то известно про Нину? Может, она видела Нину?

Надзирательница шепотом говорит: «Я знала тебя и твоего мужа».

«Где?» — спрашивает Вера.

«Ну не то чтобы знала. Но, бывало, смотрела на вас в парке Калемегдан, вы там гуляли по выходным с малышкой».

«Пожалуйста, пожалуйста. Перестаньте, умоляю!» Надзирательница берет Верины руки. Лицо ее очень близко. И она быстро говорит: «Твой муж был худой как щепка. Но лицо хорошее». — «Да». Вера борется с удушьем, которое, извиваясь, перехватывает горло. «И глаза у него были… Не

боялась смотреть ему в эти глаза?» — «Нет, не боялась. Хотела, чтобы эти глаза все время на меня смотрели». — «Приятная вы были пара. Немножко как дети. Даже и при том, что у вас уже дочка». Вера ждет. Слово дочка взрывается в ней еще раз и еще…

«Ее звать Нина, и где она, я не знаю», — говорит Вера. «И вы все время разговаривали, — говорит надзирательница. — Ты и он, и спорили, и смеялись. Помню, что раз ты прямо танцевала вокруг своего муженька, я такого от своего супруга не знавала и подумала: о чем они могут столько говорить?» — «Обо всем, — говорит Вера. — Не было ничего в мире, о чем бы мы не говорили». — «А малышка все время тянула вас за руки, и тебя за сумку, и твоего мужа за брюки, чтобы обратили на нее внимание, бывало, разговаривает с белками, с воронами, серьезная такая девчушка…»

«Да, да».

«А иногда вы вместе подбрасывали ее в воздух. Лети высоко, самолетик…» Надзирательница говорит, будто не в силах остановиться. Вера стоит, повесив голову. С опущенными руками. Еле сдерживаемые рыдания сотрясают ее тело. Если это хитрый ход УДБА, то, браво, им удалось ее сломать. «А моего супруга, — говорит надзи-

рательница, — они убили из-за ничего, просто так. И у нас не было детей. Ничего не успели. Я его любила, так мне кажется. Но как будто еще не знала. Надеюсь, что твоя дочка жива и что ты ее найдешь».

Надзирательница легко прикасается к Верино-му плечу и уходит. Земной шар, полный, легкий, и пронизанный светом, медленно парит перед Верой в воздухе, и она делает шаг, и открывает в нем маленькую дверцу, и обратно в него входит. Наклоном головы она приветствует Ягоду, свою лучшую подружку, которая сидит с ней за одной партой в Чаковце, улыбается поварихе Мими с ее передником на бедрах. Она проходит мимо полицейских оркестров, которые в уик-энды играют в парках, и лакомится теплыми каштанами, вытаскивает их из кулечка, свернутого из газеты, который ей протягивает продавец на углу улицы. Вон там папа, сидит возле звенящей кассы фирмы, подмигивает ей, когда она проходит мимо, а вот и мама читает в кресле, поднимает голову и улыбается Вере. А там главная улица, приближается, открывается взору. Кирпичные дома, белые и красные, клены. Совсем скоро, вот-вот, Вере уже семнадцать с хвостиком, еще немножко, и она будет танцевать на выпускном

балу по случаю окончания гимназии и встретит Милоша, и ей откроются жизнь и любовь. «Жизнь еще впереди», — внезапно думает Вера. С высоко поднятой головой она выходит из парящего земного шара и возвращается на остров, на гору, к ростку. Она встает на колени и ищет пальцами. Окружает его ладонями. «Не переживай! — говорит она беззаботно. — Ты не бойся, я здесь! Я тебя охраняю». Солнце сегодня палит еще яростней, чем обычно, может, чувствует, что Вера сегодня сильней, чем всегда. Вера стоит, как и прежде, спиной к солнцу. Находит эту знакомую ей точку горения в центре солнечного круга, ту, что сильнее всего обжигает. Она занимает знакомую позицию, луч направлен на середину спины, и поднимает руки по бокам, будто разводит пару, которой не поладить между собой. Благодаря ей, благодаря тени, которую отбрасывает ее скукожившееся и иссохшее тело, солнце и росток становятся почти равносильными. Благодаря Вере он так долго здесь живет. Жжение все сильней. Солнце вспучивается. Ярится против Веры. Вера глубоко дышит. Набирается сил против пламени. Пот катит по лицу и по туловищу. Чует ли он, росток, — ну, скажем, загадочной чуйкой выживания, какая может есть у растений, — что это

она спасает его день за днем? И после всех этих дней и недель, что она здесь стоит, опознает ли он хотя бы ее запах? Связывает ли через какую-то свою нервную сеть ее присутствие с чем-то хорошим? С ощущением приятности, которая от нее исходит? Из всех сотен женщин, содержащихся в лагере, она, возможно, единственная, кто сейчас приносит добро.

Эта мысль, эти забытые слова. Она выпрямляется, и ее руки распахиваются все шире и шире, как в танце.

И тут она поворачивается и с этакой отвагой храброй семилетней соплячки в упор глядит на солнце и получает в глаза весь разряд его бликов. Она все солнце может утопить в черноте своих глаз. Потом она отвешивает солнцу маленький поклон, поклон победительницы.

И непонятно почему, но откуда-то ощущение, будто между ними троими существует странный союз: вот солнце, вот росток и вот Вера, которая на минуту ощущает себя одним из небесных явлений.

И вдруг в тишине, которая опустилась на нас в бараке, голос Нины как крик во время страшного сна: «Но как ты там выдерживала?»

«Где?»

«Ну там, на Голи. Как ты не…»

«Когда надо, так надо».

«Нет… Ты сильная… — бормочет Нина. — Ты гораздо сильнее меня. Ты из другого теста».

«Но ведь и ты выстояла, — мягко говорит Вера. — Не забывай… И у тебя это заняло ровно столько же времени, сколько я пробыла здесь».

«Я не «выстояла». Я рассыпалась».

«Нет, Нина, не говори мне…»

«Именно что скажу! Тебе это трудно слушать, но я скажу. Потому что ты отсюда вышла и сразу нашла работу в Белграде, а потом уехала в Израиль. И тут же построила себе новую жизнь и новую семью, и достаточно быстро у тебя появились Тувия и Рафи, и весь кибуц, только посмотреть, что было на вечеринке в субботу…»

«И у тебя тоже есть своя жизнь и, конечно же, свои друзья…»

«У меня? Ты посмотри на меня. У меня есть четверть одеяла от Красного Креста».

И она воет и смеется, и мы осторожненько смеемся вместе с ней, с ней надо осторожненько, еще подумает, что мы смеемся над ней, и наш осторожный смех, видимо, ее смешит, потому что она тянет носом и смеется еще сильней, может быть, от отчаяния, и мы вместе с ней, Рафи — ба-

сом, от которого дрожат бетонные стены, Вера — дребезжащим хихиканьем, а мы с Ниной — со скрипом и одышкой, и звучит все это как квартет, настраивающий инструменты перед концертом.

«Рафи, — говорит Нина, когда мы утихаем, — обо мне позаботишься ты». Это не вопрос и не распоряжение, это установление факта.

«Конечно, — рычит он сквозь гущу бороды. — Договорились. Но для этого тебе придется остаться в Израиле. Я не могу за тобой ухаживать на расстоянии, и я ненавижу полеты».

«Я буду в Израиле. Мне идти некуда».

«Вообще, Ниночка, — говорит Вера, — не сердись на то, что я скажу, но я, ей-богу, тоже немножко могу вспоминать для тебя…»

Я застыла. Я не верю, что она ей это сказала.

«Ты о чем? Что ты сказала? — тихо спрашивает Нина. — Что ты можешь?»

«Не сердись… Я подумала, что мы вместе, вдвоем вспомним все, немножко вспомнишь ты, а немножко — я. И построим такую «общажку», общую кассу, как считаешь? Ничего, что я это говорю?»

Молчание. Я угадываю, что реакция Нины заставит Веру искать убежище в объятиях УДБА.

«Мама, — говорит Нина мягко, смеется и гло-

тает слезы, и берет Верину руку, — мама, мико, мама…»

Выходит, я все время ошибаюсь во всем, во всех.

Вера вытирает глаза, спрашивает, что это за проект, над которым Нина работает на Северном полюсе.

«Не совсем на полюсе, — говорит Нина, — но близко к нему. Это проект по сохранению семян съедобных растений, вымерших во всем мире. И я в нем уже не работаю. Мой договор истек год назад».

«А-а», — говорит Вера.

Снова молчание. Мы обдумываем новую информацию. Боимся произнести что-то неверное.

«Понятно, — говорит Вера. — Что же ты все время с тех пор делала?»

«В деревне есть угольная шахта. Я рассказывала Гили. Так я немножко для них варила. Немножко работала там в прачечной. Потом кое-какие отделы шахты закрылись, и оказалось, что я и там не нужна».

«Так что же ты… чем ты сейчас занимаешься?» — заикаясь, спрашивает Вера. Не способная принять хоть один день без работы.

«В деревне всегда найдется кто-то, кому нуж-

на пара подсобных рук. Укладывать черепицу или сушить тюленьи шкуры. Или мыть полы в церкви. — И смеется. — Если есть что-то, чему я научилась в кибуце, так это мытью полов… всякой черной работе. Не каким-то интеллектуальным выкрутасам. Пять-шесть дней в месяц. Довольно, чтобы не помереть с голоду».

«Но мы говорили о целой неделе, — слабым голосом говорит Вера. — И ты даже не сказала…»

«А что говорить про ничего?»

«Ты сказала, что работаешь на какой-то спутниковой станции…»

«Ну сказала».

«Просто соврала?»

«Не просто. — Она подыскивает слова. — Честно говоря, мне не хотелось тебя расстраивать, мико. Ты от меня довольно всего наглоталась».

«Значит так? Ничего?» — Вера выглядит сейчас очень древней.

«Ничего», — говорит Нина.

«Ничего и вдруг, — думаю я, — вдруг и ничего. Две груди, из которых я и сосала».

Рафи все расспрашивает про деревню, в которой она живет. Я вижу, что это место его привлекает, и, если честно, меня тоже. Нина с удовольствием расслабилась под одеялом.

Рассказывает про глубокий снег, про клетки с десятками ездовых собак, которые день и ночь лают на время, на само время, которое в месяцы вечной тьмы приобретает совсем иное значение, «потому что какая разница, десять ли сейчас утра или вечера, темень все та же, и тогда ты начинаешь открывать свое частное внутреннее время». Она рассказывает про людей, которые дотуда докатились, вроде нее, каждый по собственной причине, каждый из-за собственного секрета. «Это место, где тебе не задают вопросов и в то же время непрерывно перемывают тебе кости». — «Как в кибуце», — смеется Вера, и мы вместе с ней, смеемся, звучим голосом семьи. Дурацкой, но все-таки семьи. Я обращаю внимание, что у Нины не было никаких ошибок в словах, ни одной забывчивости в том, что она сказала, с тех пор, как мы залезли под одеяло. Она рассказывает, что на острове есть интернат для детей, которых забрали из неблагополучных семей. Она и там несколько месяцев работала поварихой. «Я, мама, готовила им все твои кушанья». — «И им нравилось?» — с изумлением спрашивает Вера. «Пальчики облизывали. Знаешь, какой это смак — баклава из юфки в курином бульоне, когда за окном минус тридцать?»

«А после трех-четырех месяцев тьмы восьмого марта каждого года солнце возвращается, — рассказывает она. — Вся деревня пробуждается в честь этого дня. Детей наряжают в желтые одежды, красят им лица в желтый цвет, украшают их разными медальонами и коронами в виде солнца». Ее голос теплеет, и мы подкармливаем пламя вопросами. Нам приятно ее спрашивать. Приятна музыка вопроса, который знает, что на него будет получен ответ. В бледном лунном свете я вижу или воображаю, что вижу биение нежных голубоватых жилок на ее шее. Сорок пять лет назад мой папа его увидел и в него влюбился.

«И тогда все струятся в церковь, и большие, и малые. Идут рядами по глубокому снегу. И стоят на ступеньках церкви и ждут точно одиннадцати часов. И вот пробивается бледный свет — по краям, непрямое солнце. Мы поем Песнь благодарения солнцу, которую написал кто-то из жителей деревни. И тут наступают несколько минут абсолютной тишины, никто не говорит, даже дети чувствуют, что происходит нечто особенное. И тогда священник смотрит на часы, подает знак, и все мы кричим хором: «Вот приходит солнце! Вот приходит солнце!», и на третий раз солнце и впрямь возникает собственной персоной, и его

первый луч касается наших лиц».

В почти темном бараке ее лицо светится. Я вижу, как она стоит среди детей, закрыв глаза, раскинув руки, и подставляет себя солнцу, чтобы оно к ней прикоснулось. Я шепчу ей: «*Я будто дерево в тоскливом мраке леса, что встрепенулось вдруг от беглого луча*». Это Леа Гольдберг[42]. Она этого не знает и повторяет слова губами, как молитву.

Я все время за ней наблюдаю. За работой тела, за мимикой лица. Нерешительное топтание вперед-назад, и вдруг как бы внезапный напряженный рывок в попытке прорваться, и следом замешательство и колебания, и снова отступление. Мой родной язык.

И вокруг нее будто непрерывная нервная пульсация, как дрожь карандашных штрихов, которые без устали обрисовывают ее контуры. Несколько раз я ловила себя на том, что жду ее мимики. Это невольно. Я, видимо, ее изучаю — с опозданием в тридцать шесть лет, — как любая нормальная трехлетняя девочка изучает свою мать.

---

[42] Примечания: 42

Леа Гольдберг (1911–1970) — израильская поэтесса, переводчик, литературовед и критик. Лауреат Государственной премии Израиля.

«Я слышала, ты хотела, чтобы я пришла».

«Это начальница? Начальница Марья?»

Кончик хлыста проходится по ее лицу, поднимает плотно сжатые, горящие веки.

«Мне сказали, что тебе надо срочно что-то мне рассказать».

Только сейчас Вера соображает, что она натворила: видимо, опасения за растение лишили ее разума. Заставили ее действовать в противоречии с инстинктами, которые есть у каждой женщины на острове, — от Марьи следует держаться как можно дальше.

«Слушаю».

«Это про растение, начальница».

«Какое еще растение?» — «Растение, которое тут, начальница». — Она специально указывает на точку в нескольких сантиметрах от того места, где оно посажено.

«Хочу понять. Из-за какого такого растения ты погнала начальницу Марью на вершину?»

«Оно погибнет, начальница. Оно уже несколько дней не в форме».

Вокруг нее движутся медленные шаги. Она ощущает на своем лице, на затылке дыхание Марьи. «Надзирательницы слишком сильно его поливают, начальница. У него корни загнили.

Разрешите мне поливать его, когда нужно. Я его знаю».

«Ты его знаешь… — Марью это явно позабавило. Ее хлыст щекочет Верин лоб, и она пугается. — А я-то думала, что ты наконец-то решила подписать нам пару бумаг, назвать имена нескольких сотоварищей…»

Вера молчит. Глупость собственного поступка наполняет ее ужасом. До того прилипла к растению, что позабыла, как работает мир снаружи.

«А на самом деле, бандитка, неужели не хочется наконец-то скинуть с души груз предательства?»

Ее трясет. «Какого предательства, начальница?»

«Совесть не хочешь маленько очистить?»

«Моя совесть чиста, начальница».

Марья хохочет медленным хохотком, который наводит на Веру ужас. «Та, что предала Тито, предаст кого угодно!»

Вера сглатывает слюну. «Да, начальница».

«А вот скажи, бандитка, — Марья говорит с удовольствием, — сколько дней ты здесь, наверху?»

«С ним?»

«Ага, с ним». Марья медленно обходит круг из камней, конец ее хлыста сбрасывает почерневшие листья.

«Несколько недель, начальница. Я не считала».

«И сколько времени ты не видишь?»

«Примерно месяца два, начальница».

«И тебе, конечно же, рассказали, что это растение, которое принесла начальница Марья?»

«Да, начальница».

«Растение, которое начальница Марья принесла из своего дома». — Марья говорит странным тоном, медленно, будто рассказывает Вере сказку. А у Веры кожа на спине идет мурашками.

«Начальница, пожалуйста, разрешите мне о нем заботиться, начальница. У меня инстинкт, я чую, что ему нужно».

«Ин-стинкт! — крутит Марья это слово на языке, посмеивается. — Пошли проверим твои инстинкты. Посмотри на солнце». — «Что вы сказали, начальница?» «Погоди, дай понять. Ты ведь сейчас не глухая?» — «Нет, просто не расслышала, что вы сказали, начальница».

«Я сказала: посмотри на солнце широко открытыми глазами».

Вера опускает голову. «Что, трудно?» — спрашивает начальница Марья сочувственно и с печалью. Вера кивает головой. Грубая рука ложится ей на затылок, гладит его. «И сколько же

времени ты уже видишь?» — мягко спрашивает начальница Марья, и ее пальцы впиваются в тонкий Верин затылок. «Это вернулось только сегодня утром, начальница». Марья смеется. «Ей-богу, бандитка, ты же знаешь, что мы здесь ищем правды». — «Может, со вчерашнего вечера, не дольше, начальница». — «И ты решила держать эту маленькую тайну про себя, да, бандитка?» Боль в затылке ужасная, нечем дышать. «Нет, нет, начальница, я подумала… только пока оно немного придет в себя». — «Надо же, какая святая душа!» — «Но, начальница, оно еще может жить, я правда знаю, как за ним ухаживать». — «Мило, до костей пронимает. — Марья смахивает с глаз клоунские слезы. — А теперь выдери его с корнем».

Каким-то образом она знает, что так оно и будет. С самой той минуты, когда увидела, как Марья проходит между двумя валунами и к ней приближается, она знала, что она или оно из этой встречи не выйдет живым. В первый раз в жизни она умоляет не за себя, а за него. На этот раз умоляет до слез. Она получает ленивую затрещину по затылку и еще одну в висок. Возражать смысла нет. Растение вырвано с легкостью, будто у него и корней не было. Листочки пристают к ладоням

рук. Они почти что черные. Как может быть, что в растении так мало жизни?

Марья двумя пальцами берет его из ее руки и через плечо бросает в пропасть. Вера видит. Она видит уже по меньшей мере неделю. Вернулись свет, краски. Виды. Она не осмеливается поверить и не осмеливается порадоваться. Вид маленького пучка из листьев, летящего над морем и над пропастью, приводит ее в трепет. Очередь за ней.

«Завтра утром ты возвращаешься к работе с валунами».

«Да, начальница».

«Скажи спасибо Богу и товарищу Тито за то, что ты сейчас не внизу, в море».

«Спасибо, начальница».

Вера пошла следом за Марьей в канцелярию лагеря. Несколько часов она простояла возле кабинета Марьи. Никто к ней не подходил и с ней не заговаривал. Потом появилась надзирательница и приказала ей испариться. Ее не наказали, не исхлестали кнутом. На следующее утро она снова присоединилась к женщинам, которые катят валуны на вершину горы и обратно. Их болтовня, шум, рыдания и крики, а то вдруг и хохот были для нее почти так же тяжелы, как таскание валунов. Однажды утром на остров прибыла баржа, и

на ней — десятки женщин, которых прислали для перевоспитания. И тогда главная надзирательница стала перечислять по громкоговорителю имена женщин, которые завершили свой период заключения и теперь отплывают на свободу. И вдруг произнесла ее имя. Вера не поверила своим ушам и осталась стоять. Ее имя снова выкрикнули. Кто-то постучал ей по спине и прокричал, чтобы бежала в канцелярию. Никто ей не объяснил, почему вдруг решили ее освободить. Она не призналась ни в каком преступлении и ни в чем не раскаялась. Она не сообщила им ни одного имени. Она никого не предала, и все равно было решено ее освободить.

Она получила назад свою одежду и свои вещи — часть из них — те, что были у нее конфискованы два года и десять месяцев назад, по прибытии на остров. Получила она также тридцать четыре письма, которые были посланы Ниной и ей не переданы. Там были также два письма от сестры Миры. Из них она узнала, что один из офицеров УДБА, который знал Милоша и хорошо к нему относился, позаботился о том, чтобы в день Вериного ареста Нину отправили к Мире. Кстати, в день ее освобождения надзирательницы Марьи в лагере уже не было. Через несколько недель

после их встречи на вершине горы Марью перевели в другой лагерь и на другую должность. Ходили слухи, что даже в УДБА были поражены ее кровожадностью. «В конце концов, — сказал Вере кибуцник из югославского движения через тридцать лет после того, как все случилось, — целью лагерей на Голи-Отоке было перевоспитание, а не уничтожение». Но и через тридцать лет Вера считала, что там нечто было уничтожено.

Ночь. Почти два часа после полуночи. Буря с громом и молниями, как в день Страшного суда. Мы говорили, боже, сколько мы говорили, сколько спрашивали и отвечали, сколько сказали, в жизни столько всего не выразили, в любых комбинациях и словосочетаниях. Пока сон не скосил нас всех, или так мне казалось, потому что вдруг слышу, как Вера шепчет, видимо, чтобы не разбудить Рафаэля и меня:

«Ты мне еще не рассказала, как тебе было у тети Миры».

«Может, тебе не захочется слушать?»

Я чувствую, как ступни Вериных ног начинают тянуть на себя одеяло. Рафи переворачивается и как-то так вылезает из-под одеяла, включает «Сони».

«Зачем ты снимаешь?» — сердится Вера.

«А пущай будет».

«Не мешай ему снимать, мама».

«Если тебе не мешает…»

Рафи бурчит, что в такую темень он все равно может записать только голос. Я злюсь на себя, что не настояла и не привезла с собой вспышку. Все не как у людей.

«Минутку, — вскакиваю я и присоединяюсь к Рафи, — коли так, я записываю».

«В темноте?» — удивляется Нина.

«Что выйдет, то выйдет».

«Хотите пишите, хотите снимайте, — брюзжит Вера. — Нет у меня сил тут с вами спорить».

«Оставь их, мико, это сейчас не важно».

Вера приехала в Белград ранним утром и сразу отправилась к сестре. Постучала в дверь. На часах было полвосьмого. Сестра Мира ей открыла, закричала и кинулась ей на грудь. Вера рассказала, что через плечо сестры она увидела сидящую на табуретке Нину, которая, уставившись в никуда, пила молоко из стакана. По рассказам Веры, Нине тогда было девять с половиной. Она бросила на Веру холодный, совершенно взрослый взгляд и сказала в воздух: «Вера приехала. Как ты выглядишь!» Вера хотела объяснить, что работа с валунами очень раздула ей мышцы и до ужаса

ее изуродовала, но что-то в Нинином взгляде остановило ее и заставило замолчать.

Нина запомнила их встречу совершенно иначе. Она помнила, что, увидев свою мать в дверях, она вскочила с табуретки и закричала: «Мама, мико!», и Вера бросилась к ней, и обе они стояли обнявшись и плакали от счастья. Вера уперлась, что Нина не поднялась ей навстречу и уж точно ее не обняла. Да и она, Вера, почему-то не осмелилась подойти и обнять Нину. Нина закончила пить молоко и пошла в школу. После обеда вернулась, сделала уроки и вышла во двор поиграть. И тут тоже рассказ Нины был совершенно другим: она в тот день в школу не пошла, она весь день провела с Верой. Они вместе сходили в кино — она не помнит, что был за фильм, — а потом в кафе, и там они «часами говорили» и время от времени пели песенки из Нининого детства. Весь этот первый день они почти не упоминали имя Милоша. Так с удивлением сказала Нина, и Вера это подтвердила. Еще по поводу одной вещи они пришли к общему согласию: Верина сестра Мира не поверила ни единому слову из Вериных рассказов про Голи-Оток. Она сказала Вере, что, если та не заткнется, им с мужем придется удалить ее из их дома.

Рафи снимал, я записывала.

Рассказ снова раскололся, когда заговорили про ночь: Нина сказала, что они спали в одной кровати, валетом, и она не могла перестать говорить, и смеяться, и плакать, пока Верин зять Драган не пришел в трусах и не стал кричать на них, чтобы замолчали. И тут на них напал истерический смех. Вера помнила все иначе: время шло, а они лежали без сна в кровати, в жутком молчании. Вере это было невыносимо. Она спросила: «Ты хорошо учишься?» Нина не ответила. Вера спросила: «Сколько будет четыре помножить на четыре?» И Нина сделала вид, что спит. Вера снова спросила. Нина сказала: «Шестнадцать». «Хорошо. А пять помножить на семь?» Нина ответила. Так вот они прошлись по всей таблице умножения. Нина действительно помнила про таблицу умножения, но была убеждена, что Вера проверяла ее, когда они сидели в кафе.

По поводу дальнейшего — струйки их воспоминаний соединились. Они лежали в узкой кровати, дядя с тетей уже заснули, и Вера спросила: «Нина, тебе бы хотелось о чем-то меня спросить?» И Нина сказала, что нет. Вера помнила, что Нинин голос был холодным и чужим. Она чувствовала, будто ту девочку, которая была Ниной, окутал мороз.

Вера снова спросила: «Ты о чем-нибудь хочешь меня спросить?» И Нина сказала: «Почему вы с папой в один прекрасный день меня бросили?» — «Потому что полиция посадила нас в тюрьму», — сказала Вера. — «А вы освободиться не могли?» — «Нет», — сказала Вера, и в известном смысле это было правдой, но это было и началом лжи, которая разрасталась, и разветвлялась, и в конце концов задушила нас всех.

Теперь, после долгого молчания, Вера спрашивает: «Тебе там было плохо, Нина, у тети Миры с мужем?»

«Да, можно сказать, что так».

«Что там было, девочка?»

И я — мы — выслушиваем рассказ, уже не в первый раз: тетя с дядей были людьми бездетными, а она не была девочкой особо желанной. Они били ее за любую провинность, запирали на часы в подвале, не пускали с собой за общий стол, а сажали есть в сторонке, на табуретке. Она, бывало, убегает из дома и «болтается», по ее словам, с сербскими солдатами, которых держали в военном лагере, неподалеку от их дома. Вера чертыхается: «Мира и твой дядя Драган, мир их праху, все еще не могут мне простить, что я родила девочку от серба».

А также выясняется — чудесам нет предела, — что в те годы, когда она жила у дяди с тетей, Нина и правда связалась с шайкой малолетних воров, сербов. Была она маленькая, худенькая и шустрая, и, судя по всему, совсем бесстрашная. Через форточки влезала в квартиры и открывала отморозкам двери. И ни разу не попалась. Случалось ли с ней еще всякое-разное — об этом она не говорит. А мы и не спрашиваем.

Дождь перестает быть явлением метеорологическим. У него есть явно выраженные желания. У него есть цель. Изо всех дыр в крыше хлещут водопады. Мы жмемся в кучку среди потоков. Время от времени прокатывается гром, как поезд с кучей вагонов, и он сотрясает наш барак.

«Но есть кое-что еще, что я до сегодня не вполне…» — говорит Нина.

«Что? Спрашивай!»

«Ты так много рассказывала мне про Голи, и про другие лагеря, и про остров женщин, на котором была, Свети-Гргур[43]…»

«Лучше бы, конечно, рта не открывать, но не могла молчать. Разрывало изнутри…»

---

[43] Примечания: 43

Свети-Гргур (букв. Святой Григорий) — необитаемый остров в Хорватии, в Адриатическом море между островами Рабом и Крк.

«Но знаешь, что я думала?»

«Когда?»

«Да так, иногда».

«Что ты думала?»

«Что есть вещи, про которые ты в жизни не говорила».

«Вещи, про которые не говорила? Но я тебе сказала все, девочка. Слишком много всего сказала».

«Например, ты никогда не рассказывала, как вообще сюда попала. Что у тебя было перед тем, как…»

«Я тебе рассказала. Я приплыла на барже, открыли большой люк внизу, и все мы, как мертвые рыбы, вывалились в море».

«Но что было перед этим, мико? Перед Голи, перед баржей?»

«Что ты имеешь в виду? Была наша жизнь, обычная, хорошая, пока однажды…»

«Но когда тебя забрали в УДБА, они тебя допрашивали? В чем-то тебя обвинили? Был суд?»

«Допросы были, а суда не было».

«И тебе позволили что-то сказать?»

«Что значит «сказать»?»

«Объяснить, себя защитить? У тебя был адвокат?»

«Адвокат? С ума ты сошла, девонька? Они без

всякого суда и следствия кинули пятьдесят тысяч человек, как собак, в концлагеря Тито. Только здесь, в концлагерях на Голи, умерло, может, пять тысяч человек. Их или убили, или они сами покончили с собой. А ты говоришь «адвокат»?»

«Расскажи мне с самого начала. Все».

Вера вздыхает, выпрямляется во весь свой маленький рост. Они все еще под одеялом, сидят теснехонько, почти щечка к щечке и все еще не смотрят друг на друга. Рафи снимает. «Что там рассказывать? Это было утром, после того, как твой папа, ты же знаешь, повесился. Пришел человек в кожанке, забрать меня на допрос. Еще пока были в квартире, он начал допрашивать, сказал, что про нас все известно. Что твой папа и я были поклонниками Сталина и врагами югославского народа. И какие у нас связи с НКВД? И кто к вам приезжал из русских друзей? И вы слушали Москву? Слушали Будапешт? Даже спросил, с какой стати мы вдруг назвали тебя русским именем, всякие такие глупости. И потом он забрал меня в черной машине в военный госпиталь, и там, ну, там, все пошло как по маслу».

«Что пошло? Я хочу знать!»

«Так тогда эти дела и шли. Им не то чтобы нужно докопаться до правды. Они только хотели

вытащить из меня подпись, что твой папа был врагом народа. А я не согласилась. И все, шагом марш на Голи».

«Но кем они были? Ты их помнишь? Их лица?»

«Эй, — шепчу я Нине про себя, — это неверный вопрос! Кому сегодня дело, кем они были?»

Вера тоже удивлена. «Кем были? Да какое… Были три полковника. Одного из них я помню, с такой круглой лысиной, и у него как раз симпатичное человеческое лицо. Говорил со мной вежливо».

«А ты… Погоди, что я хотела… Ты хоть раз попыталась узнать, где он сейчас?»

«Господь с тобой, Нина! Мне даже тень их видеть противно! Останься они последними людьми на Земле, я бы не стала с ними разговаривать!»

«Видишь, я полная тебе противоположность. Я бы их искала, и достала хоть из-под земли, и пришла бы и… и…»

«Ну, и дальше? Выстрелила бы в них из нагана? Что?»

«Нет, но я бы швырнула им это в лицо».

«Что именно?»

В окне молния из трех-четырех сплетений судорожно рассекает небо.

«Что именно, Нина?»

«Себя».

Молчание. Вера быстро и тяжело дышит.

«Что… Что это значит «тебя», Нина?»

«Еще и Гили, — говорит Нина. — И все, что с ней случилось из-за меня».

Она это сказала. И Рафи заснял.

«Враги народа! — Вера с яростью хлопнула себя по бедру. — Что бы я им подписала, что мы были сталинскими шпионами? Что хотели убить Тито? Лжецы!» На стене над головой Рафи выгравированы слова: CON TITO. Вера показывает подбородком: «С Тито построим социализм!» А как же! У меня в заднице!»

«И ты им не подписала…» — бормочет Нина и вдруг выглядит совершенно обескровленной.

«Как я могу подписаться под чем-то, что не является правдой?»

«Да подпиши ты им наконец! — снова шепчу я про себя. — И все мы вернемся домой, закроем ставни, устроим траур по Милошу и по нам самим, и все вместе, потихоньку исправим то, что еще возможно исправить».

Нина вылезает из-под одеяла. Вера наваливает на себя еще и еще складок. Нина встает перед ней на колени, держит ее руку в своей руке. «Но ведь

папа был уже мертв… — Голос у нее снова тонкий, дрожащий. — И если, допустим, ты бы попыталась, скажем… им предложить… может, они бы… нет, это идиотская мысль». Она слабо улыбается. Прямо на наших глазах она отступает, превращается в выцветший черновик самой себя.

«Но иногда, мама, я думаю…»

«Думаешь что, Нина? Выскажи вслух, не оставляй это внутри».

«Почему ты так сердишься, мама?» — Голос глухой.

«Я не сержусь, Нина. Просто у меня от этих разговоров лопается голова. Как будто меня снова допрашивают».

Нина сидит на холодном полу, рассеянно поглаживает одеяло, которое прикрывает миниатюрное Верино тело. «Никто тебе допроса не устраивает… к чему тебя допрашивать? У кого вообще есть право тебя допрашивать… Никто не прошел через то, через что прошла ты».

«Нет, Нина, ты не понимаешь, все наоборот! Допрашивай, спрашивай все что хочешь. Это хорошо. Мне нужно высказаться».

«Но ты пойми, я тебя не допрашиваю. Просто пытаюсь что-то сделать… понять, малость исправить задним числом».

«Задним числом ничего исправить невозможно. Это ты уже и сама знаешь».

Нина смотрит на меня, а я на нее.

«Что было, то было, — бормочет Вера. — И с тем живем».

«Но допустим, мама… я просто спрашиваю, если бы они все же, например…»

«Что ты подумала, говори прямо, Нина».

«Нет, я просто подумала: если бы они…»

«Что, что бы они мне предложили? — горько кричит Вера и стучит кулаком по своему бедру. — Что я могла им отдать, чтобы не предать твоего папу? Чтобы не дать им вымазать его в дерьме, чтобы им доказать, что я говорю правду? Что я вообще могла им отдать?»

Молчание. Вера с Ниной смотрят друг на друга истерзанными, потрясенными глазами. Кончиками нервов я ощущаю, как их несет к слепой, потонувшей во мраке точке, которую только они сами способны увидеть в глазах друг у друга.

«Уф!» — издает Нина странный звук, легкий как перышко, будто где-то там, внутри, что-то с невыразимой мягкостью встало на место.

«Голова», — бормочет Вера и обеими руками сжимает виски.

Нинины глаза закрываются, и голова падает

назад. Тонкие веки мигают с угрожающей скоростью. Будто она в мгновение ока погрузилась в сон, глубокий, абсолютный и полный видений. И во сне кто-то медленно проводит ей рукою по лбу.

И тут она открывает глаза. «Нет, я обязана отсюда выйти».

«Там дикий ливень, — говорит Рафи. — Я пойду с тобой».

«Нет-нет, никто со мной не идет! Мне нужно побыть одной. Вдохнуть воздуха. Я обязана вдохнуть воздуха. Скажи мне только одну вещь». Она встает, бесцельно носится по комнате, и я не могу не подумать про курицу с отрезанной головой, какой я ей желала стать. Как я могла быть такой жестокой!

«Скажи, мама, — почти кричит она, — а нельзя было хотя бы их попросить, чтобы разрешили взять меня с собой?»

«Что?»

«Нельзя было попросить, чтобы мне разрешили поехать с тобой?»

«Куда?»

«Сюда, на Голи».

«Чтобы я попросила у УДБА взять и тебя тоже? Ты спятила? Здесь, на острове, в жизни не было

ребенка! Да я бы и сама ни за какие сокровища не взяла тебя в этот ад!»

«Но зато мы бы не разлучались», — говорит Нина и идет к выходу.

«Что?»

«Так бы мы в жизни не разлучались».

«Как это?»

«Потому что были бы вместе, здесь».

«Но с какой бы стати они согласились… Этого не могло быть, Нина, нет, это не… на Голи детей вообще не брали».

«Я знаю. Я про Голи все книги прочитала».

«Я даже в воображении не хочу представлять, что ты бы… это для меня самое страшное. Еще страшней, чем то, что я сама здесь побывала. — Она в ужасе смотрит на Нину. — Я снова обязана тебя спросить и ответь мне честно, Нина, и без экивоков: тебе было так плохо у моей сестры и ее мужа, что ты бы лучше спустилась в эту *преисподнюю*?»

«Ты правда не поняла, а?»

«Я знаю, как они к тебе относились, но…»

«Это с ними вообще не связано».

«Нет?»

«Все время, каждую минуту, что тебя со мной не было, я хотела быть с тобой».

«Даже если бы меня убивали, Нина, я бы у них не попросила…»

«Вместе с тобой я спустилась бы даже в Шеол[44], — шепчет Нина, стоя на выходе из барака, — только чтобы быть с тобой каждый день и каждую ночь. — Она нащупывает рукой дверь, которая висит на одной петле. — Я думала только об этом. Быть с тобой, быть с тобой».

Вера склоняет голову. Это выше ее сил.

«За мной, пожалуйста, не ходить», — говорит Нина и выходит.

Воздух будто втянуло, и он вышел вместе с ней.

Нечем дышать.

Дождь и ветры безумствуют, словно им скормили новую добычу.

«Она не хочет знать, — говорит самой себе Вера, — она не хочет знать».

«Я выхожу».

«Папа, нет. Ну пожалуйста! Дай ей побыть одной».

«Еще что-нибудь с собой сделает», — бормочет Вера.

Мы с Рафи сидим на мокром бетонном полу,

---

[44] Примечания: 44

Шеол — царство мертвых в иудаизме.

каждый в своем углу. Я с ума схожу от страха за нее.

И вдруг Вера говорит: «Они похоронили его под номером на кладбище под Белградом, и я, когда вернулась с Голи, писала письма Тито, чтобы дал мне похоронить моего мужа. Может, двадцать писем ему написала, и в конце концов Тито спросил Моше Пияде, своего заместителя, еврея, кто, мол, эта женщина, которая не боится Тито? Отдайте уж ей наконец ее мужа, но пусть все сделает сама».

Всякий раз, когда гром или новый поток дождя обрушиваются на барак, лицо Рафи искажается от боли. Снимать он перестал. Я даю ему знак продолжать.

Тут есть голоса, которые послужат мне войсовером[45], и есть рассказ Веры.

«И вот я отправилась вместе со свекром и свекровью, родителями Милоша, — они приехали из своей деревни на лошади с телегой и с гробом, который сами сколотили, и моя свекровь соткала красивый яркий ковер килим[46]. Приехали мы

---

[45] Примечания: 45

Войсовер (voiceover) — разновидность озвучивания, предусматривающая создание дополнительной речевой фонограммы фильма.

[46] Примечания: 46

Килим — тканый гладкий двусторонний ковер ручной работы.

на кладбище неизвестных. Искали, пока не нашли его, под номером 3754, и я мотыгой скинула камень, что на нем, и тут же узнала его по зубам и по челюсти, той, из-за которой все всегда думали, что он улыбается. Нашего обручального кольца у него не было. — Разговор ее стал прерывистым, слово не вязалось со словом. — Там были кости, и куча листьев, и слякоть. Я все это с него счистила, положила его в простыню, отнесла в телегу, положила в гроб на килим, и так мы отправились в деревню. За всю дорогу слова друг другу не сказали. Может, через час поездки моя свекровь говорит: «Из чего ты, Вера, сделана, из железа или из камня?» А я про себя подумала, что из любви к Милошу, но не сказала ничего. И больше мы не разговаривали, пока не приехали и пока не положили его в землю его деревни. Я была обязана это сделать. Не могла оставить его под номером. И еще я знала, что кроме меня этого не сделает никто. А так у Милоша есть могила с именем, которую Нина сможет посещать, и Гили тоже, если захочет. И Гилин мальчик или девочка, которые, может быть, у нее когда-нибудь будут. Я была обязана это сделать, чтобы все в мире знали: был такой Милош, был такой человек — худой и больной, и телом не силач, но с душой героя и

идеалист, и человек самый чистый и глубокий на свете, и мой друг, и моя любовь…»

Когда нам было уже невмоготу и мы решили выйти на Нинины поиски, она вернулась. Ввалилась внутрь, мокрая, замерзшая, с трудом держащаяся на ногах. Мы кинулись к ней, закутали ее в одеяло, принялись в шесть рук растирать ей спину, и грудь, и шею, и живот, и ноги. Каждый из нас что-то ей пожертвовал: сухие носки, кофту, шарф. Она стояла среди нас с закрытыми глазами, дрожащая, почти валящаяся с ног. Я теплым дыханием дула на ее ладошки, на ее длинные, тонкие пальцы, стала массировать сзади ее шею и плечи. Рафи со страшной силой ее месил. Я видела, что ей больно, но она слова не сказала. Он молча глотал слезы.

Потихоньку она в наших руках оттаяла. Открыла глаза.

«Поплачь, — тихо сказала она Рафи, — поплачь. Есть по чему».

Я пишу это через восемь лет после той самой ночи. Я пытаюсь представить себе, что с ней было, когда она оказалась в одиночку за пределами барака. Я вижу, как она быстро идет, а потом бежит, поднимается и спускается по тропам брошенного

лагеря, входит в бараки, бежит к берегу, трогает черную воду и возвращается на поле с валунами. Она знает здешние повороты, может быть, лучше, чем в любом городе и доме, в которых проживала и оставила их или сбежала из них. Дом ее здесь, это ясно. Дом в преисподней. Но ему отданы все годы ее тоски, и молений, и обид. Сюда заложена ее душа. Здесь, так мне кажется, была Нина, когда ее не было.

Она устает. Идет под дождем и уже к нему безразлична. Спотыкается о камни и встает. Снова и снова бормочет Верины слова: «Что я могла им отдать, чтобы не предать твоего папу?» — «Меня, — задыхаясь, говорит Нина. — Меня она им отдала, чтобы не предать папу». Каждый раз эта мысль прошибает ее, как удар током. Непереносимая боль скручивает все тело, до кончиков пальцев. Она снова бежит. Не в силах устоять на месте. Конечно, Вера и себя им отдала. Почти три года каторжных работ и пыток. «Но меня она принесла в жертву», — бормочет Нина, пробует на вкус эти слова, и я вместе с ней. Внезапно мы с ней вместе там, за бараком. И обе уносимся бурей как два листка, брошенные девочки, горькая кровь которых никогда не загустеет. «Она могла выбрать, — кричит Нина ветру, — они предло-

жили ей сделать выбор, и она выбрала, выбрала свою любовь, и я это знала, кожей своей ощущала. Я не сумасшедшая. Я знала».

Я представляю себе, как она вдруг застопорилась, остановилась. С изумлением огляделась вокруг, как новорожденный, попавший в совсем не тот мир.

На секунду остров возродился. Будто с ревом включили огромные прожекторы, и все затопило светом. Женщины в тюремных робах бегут, кричат, воют от боли на допросах. А то вдруг смеются. Иногда даже перешучиваются с надзирательницами. Выкрики приказов, и громкоговорители, и удары хлыстом, и женские хоры, распевающие гимны во славу Тито.

Когда Вера возвращается в барак после допроса, Нина занимается ее ранами. Когда надзирательницы заставляют Веру ночь напролет стоять у «параши», ведра, в которое заключенные отправляют свои нужды, Нина стоит рядом с ней. Когда Вера колет поленья, привезенные им на остров для отопления и строительства, Нина бежит за гусиным жиром, чтобы смягчить ей горло. Остатком жира они тайком смазывают губы, потрескавшиеся от сухости и холода.

«Будь бы я лет на тридцать помоложе, — сказа-

ла Нина после того, как мы закончили растирать, массировать и размораживать ее, — я бы от этого дождя забеременела».

Мы осторожненько посмеялись. Не очень-то поняли. Из всех вещей в мире именно это выбрала нам сказать? Она смотрит на меня. Улыбается. «Ужасно проголодалась. Умираю с голода».

Я дала ей последнее яблоко и несколько рисовых лепешек. Вера порылась в своей сумке и достала для всех бутерброды, один бог знает, когда она их приготовила, откуда знала, что нужно их придержать до этой минуты. Мы их тут же умяли. И похохотали над собой и над собственным голодом. Нина смеялась вместе с нами. Ее глаза сияли. Что с ней случилось снаружи? Я так и не смогла понять. Она другой человек, так я почувствовала. Что-то в ней изменилось, в мгновение ока распуталось.

Потому что все здесь вдруг стало открытым, обнаженным, сильным. Ее глаза сияли. Я не увидела в ее лице ни гнева, ни желания отомстить. Я искала. Ни злобы, ни обиды. Я увидела огромное облегчение, просветление.

«Ой, — сказала она ртом, набитым моцареллой и помидорами, — какой чудненький бутербродик!»

«На здоровье, — сказала Вера, — можешь взять и мой тоже».

Ветер улегся. Да и дождь кончился. Уже несколько минут снаружи было тихо. Ощущение, что буря утихла. Нина в сытости и тепле, плотно укутанная в одеяло, сидела в почти сухом углу барака. «Ну и ночка…» — улыбнулась она Рафи.

Он подошел и встал перед ней на колени. Они тихо о чем-то поговорили. Она засмеялась. Он обнял ее и притянул к себе. Честно говоря, меня слегка достало, что вдруг, после всей этой ночи, у них еще обнаружились и секреты. Ее рука что-то начертила на его колене. Его огромная лапа деликатно погладила ее по голове.

«Пошли, Гилюш, — сказала Вера, сложила салфетки и убрала их в сумку. — Покрутимся маленько. Тут есть еще места, где мы не бывали».

Я заупрямилась: «Но почему бы нам не пойти всем вместе? Я думала, может, взберемся вместе на хребет…» Вера на меня уставилась: «Гили, зайка, тебе на все нужны объяснения?» И только тогда я поняла, дура я несчастная.

Мы оставили их в бараке и пошли на берег. Встали у моря. Было темно, но среди туч светила луна. Мы пересекли поле с валунами. В темноте их жуткое присутствие давило еще чудовищнее.

Перед нами были три дороги: к мужскому лагерю, к каменоломне, к горе. Я спросила Веру, согласна ли она взобраться вместе со мной на утес, что на вершине горы. Она засмеялась. «Девяностолетняя старуха отправилась в горы!»

Но ей было тяжело. И из-за трудностей пути, и из-за того, что она ослабела. Я освещала дорогу фонарем Красного Креста. Обойдя огромную лужу, мы нашли тропу. Она оказалась более узкой и извилистой, чем я предполагала. Там, где это можно, мы шли в связке, а порой по-настоящему обнявшись. В более узких местах она шла впереди меня, и я все время гладила ей спину и затылок. Я старалась сделать путь как можно более легким. Через каждые несколько шагов мы останавливались и ждали, пока не придет в норму ее дыхание. Дважды я предлагала вернуться. Она отказалась.

Она помнила все, что с ней случилось на этом пути пятьдесят четыре года назад. Сказала, что может идти здесь с закрытыми глазами, и не только из-за тогдашней слепоты. В какую-то минуту она снова наполнилась силой и буквально тянула меня за собой, эта девяностолетняя женщина. Ее миниатюрное тело будто летело вперед. Ее тело и все, через что оно прошло.

И внезапно мы оказались на вершине горы и

вздохнули полной грудью, точно, как она это описывала. Нас окружал студеный мрак. Внизу был шум моря. Вера шепнула мне, что она никогда не была здесь ночью.

Она вдруг притихла, прижала ко рту кулачок. Плотно прижалась ко мне и показала место, на котором стояла почти два месяца. Она пальцем начертила кружок, в центре которого было растение. Я поставила ноги за пределы этого кружка, в одну из точек, на которой она стояла, чтобы создать для него тень. Не просто было влезть в ее шкурку.

Море внизу било по валунам. Вера сидела на большом камне. И снова выглядела очень старенькой. Я сказала: «Давай не будем сейчас разговаривать, мне хочется так вот постоять, пока не взойдет солнце, и еще немножко».

Я простояла, может быть, час, а то и больше. Медленно-медленно, как в молитве, я прокручивала в голове рассказ про мою бабушку и про растение. Всякий раз, как я открывала глаза, я видела, что она смотрит на меня ровным и сильным взглядом, будто что-то в меня вселяет.

Потом мы услышали, как Нина с папой кричат нам снизу. Мы позвали их к себе на вершину горы. Они поднялись, отдуваясь, но тоже слегка

сияющие, и присели на валун рядом с Верой. Нина наклонилась к Рафи. Рюкзак с кассетами, которые мы наснимали, был у нее на спине, и я видела, что ее это радует, почти вызывает в ней гордость.

Даже и когда они вскарабкались наверх, я не оставила своего поста на вершине утеса. Я чувствовала, что Вера этим довольна. Один раз она встала, поправила меня, чтобы заняла верную позицию. «Именно здесь я обычно стояла после обеда», — объяснила она. «О чем это? Что вы делаете?» — спросила Нина, и Вера сказала: «Здесь у меня было такое маленькое растение, за которым я ухаживала, поговорим об этом внизу». И Нина с напряженной улыбкой ответила: «Вижу, что есть еще истории, которых я пока не слышала». И снова удар в сердце, как и всякий раз, когда Нина натыкается на не замеченную ею колючую проволоку.

Небо постепенно светлело, и Рафи снова начал снимать. Нина встала, начала крутиться, подошла к краю обрыва, глянула вниз, на море, отпрянула назад и снова поглядела вниз. «Не думаю, чтобы хоть раз была так рада», — сказала она обрыву.

А потом она посмотрела на меня: «Гили-Гили,

здорово, что ты приехала побыть здесь со мной, Гили».

«Да, и я рада, что приехала», — ответила я.

И она сказала: «Здесь все же чуть-чуть мой дом». Вера отрицательно покачала головой и предложила спускаться. «Поговорим обо всем внизу, — сказала она. — Мне уже хочется оказаться внизу». Но Нина будто ее не услышала.

«Я хочу вас сфотографировать, — сказала Нина. Она подошла к удивленному Рафаэлю, взяла у него «Сони» и засмеялась: — Позволь почувствовать, что это и мой фильм тоже». Она спросила, на что нужно нажимать, и он ей показал. Я видела беспокойство в его глазах. Она спросила, что это за лампочка, которая мигает красным светом. И он сказал, что батарея почти закончилась. Что у нее осталось две-три минуты, не больше. У меня будто свело тело. Я хотела подойти к ней и не смогла. Не было сил сдвинуться с места. Она посмотрела на нас через маленький дисплей камеры, обошла нас по кругу и сняла.

Она шла легко, как парила. Я вспомнила рассказ Веры про то утро, когда ее забрали на допрос, и она увидела, как Нина идет по улице, будто танцует, скачет по «классикам», которые нарисованы мелом на панели и наполовину уже

стерлись.

Нина прошлась камерой по Вере, Рафи и мне. Каждого из нас она охватила с головы до кончиков ног, со странной медлительностью, будто производила сканирование. И может быть, именно это она и делала.

«Видишь, Нина, — вдруг сказала Нина Нине-что-в-будущем, — сейчас мы здесь все вместе, твоя мама, твоя дочка Гили и Рафи. И ты тоже была с нами в этой поездке».

В небе нарисовались тонкие полоски света, будто растопыренные пальцы. Нина сняла и их.

Вера снова сказала, настойчиво и нервно, что пора спускаться. «Здесь солнце как взойдет, так и сожжет дотла. Еще пять минут, и начнется пекло». В наступающем свете ее лицо становилось каким-то серым и безжизненным.

«Еще минутку, мико, — сказала Нина, продолжая снимать. — Рафи, милый мой, любовь моя. — Она улыбнулась ему через «Сони», и он возвратил ей сконфуженную улыбку. — Вся любовь, которая была у тебя ко мне… правда ведь, что ты это знаешь?..» — «Знаю что?» — «Что это самый большой подарок, который я получила от кого-то в жизни». Он склонил голову и тяжело сглотнул.

Она выглядела веселой, излучающей радость. Ее светлое лунатическое счастье смутило и меня. «И ведь ты точно это знаешь?» — продолжала она его спрашивать. «Что знаю-то?» Она остановилась, встала у края обрыва. «Что лучше этой минуты ничего больше не будет». И Рафи сказал: «Еще как будет, Нина!» И я услышала, как она тихо говорит, про себя: «Мне вдруг хочется времени. Много-много времени».

Ее лицо внезапно изменилось. Я увидела борьбу и жуткие колебания и молча выкрикнула ей одно слово, и она посмотрела на меня, будто его услышала.

Быстрым движением она скинула с плеча рюкзак с кассетами, закрыла глаза, протянула вперед руку и швырнула рюкзак и камеру в пропасть.

Я услышала, как камера стукнулась и раскололась о скалы. Наступила тишина, и за ней — шелест отступающих волн. Нина рухнула мгновенно, упала на одно колено на краю утеса, потрясенная тем, что сделала, или тем, чего не сделала, а я кинулась к ней в тот же миг, что и мой папа, и вместе мы вытащили ее обратно к нам.

Уже когда мы спускались с горы, испуганные и держащиеся друг за друга, я знала, что ни за что не соглашусь на то, чтобы все случившееся с

нами в этой поездке ушло в никуда. Потом, в течение лет, всякий раз, когда я начинала страдать по своему утраченному фильму, я говорила себе, что коли нет картины, будут слова.

Но пробежали годы, прежде чем я смогла сесть и приняться за текст.

Другие дела пришли и заполонили мою жизнь.

Малышку мы назвали Ниной. Ей пять с половиной лет.

Она — зерно души моей.

Наших душ.

Благодарности

Эва Панич-Нахир, ставшая в книге прототипом Веры, была в Югославии фигурой известной и почитаемой. О ней написаны монография и биографическая повесть, а писатель Данило Киш[47] посвятил ей серию передач на сербском телевидении, где она рассказала правду об ужасах острова Голи-Оток. И тогда впервые перед широкой публикой предстала действительность, до этого времени скрываемая и замалчиваемая, — действительность ГУЛАГов Иосипа Броз Тито. Эва

[47] Примечания: 47

Данило Киш (1935–1989) — югославский и сербский поэт, прозаик и драматург, переводчик русской, французской и венгерской литературы.

стала почти эмблемой сверхчеловека, символом способности сохранять человеческое лицо в самых нечеловеческих условиях.

Мне историю своей жизни Эва впервые рассказала более двадцати лет назад. С тех пор она возвращалась к этому рассказу не раз и не два. Нас с ней связывала преданная дружба. Не любить ее было невозможно, невозможно не восхищаться ее силой и ее человечностью. А порой трудно было и не взорваться от принципиальной и непробиваемой жесткости, которая ее отличала.

Это было ее желание, чтобы я написал ее историю и историю ее дочери Тианы Вейджес. Одним из драгоценнейших подарков, полученных мною от этой книги, было знакомство с Тианой, с ее жизненной мудростью, оптимизмом и отвагой. Обе женщины были достаточно щедры, чтобы дать мне полную свободу в описании этой истории, а также придумывать и изображать ее такой, какой она на самом деле не была.

За это, за данное мне право фантазировать и придумывать, я благодарю их от всей души.

И еще мои благодарности писательнице и переводчице Дине Катан Бен-Цион, которая помогала мне во всем, что касается сербского и хорватского языков, а также их влияния на иврит — иврит, на

котором говорит Вера.

Благодарности кинорежиссерам Дану Вольману и Ари Фольману, режиссеру сценария Элиноре Нахмиа. Сердечное спасибо моему другу режиссеру и кинокритику Анару Фрамингеру за его преданную помощь. Спасибо моим добрым друзьям и членам семьи за то, что прочли мою рукопись, внесли свои замечания, предложили свои варианты и улучшили текст. Все они щедро поделились со мной своим временем и своим опытом. Любая ошибка из любой области, которая мелькнула в этой книге, — это лично моя ошибка.

Я благодарен тем, кто помог мне сорганизоваться с поездкой в Арктический район, тем, кто присоединился к моей поездке в Голи-Оток, а главное — моему другу, знатоку и пытливому историку Харойе Классич.

Семья Рады Панич, первого мужа Эвы, приняла меня в его родной деревне очень тепло и сердечно. Белградская группа поклонников Эвы, тесный, но очень спаянный кружок — Таня и Александр Краус, Ваня Дробнович и Планинка Ковчивиц, — приняли меня очень радушно и подняли ради меня в памяти былые времена.

Спасибо прекрасной Эвиной семье, Эмили Вей-

гис, Ихудит Нахир, Смадар (она же Смади) Нахир, Меире. Глубочайшая благодарность режиссерам доктору Макбиту Абрамзону и профессору Авнеру Файнгларенту за их трогательный фильм «Эва».

За щедрую помощь, которая была мне оказана, я благодарю Сеида Сердаревича, хорватского издателя книги, и Гойко Бозовича, моего сербского издателя.

Спасибо Жени Лебл за ее прекрасную книгу «Белая Фиалка» («Ам Овед», 1993). И Александре Личанин, которая написала об Эве документальную книгу «Two Loves And One War of Eva Panič Nahir» (Matica hrvatska, 2015) («Две любви и одна война Эвы Панич-Нахир»), книгу, которая провела меня по улицам города Чаковца, города, где прошло Эвино детство.

И разумеется, моя благодарность доктору Ван де Велде, автору «Тайн брака» а также Прентису Малфорду с его «Теорией спаривания», в переводе на иврит М. Бен-Йосефа, издание народное, без даты, — названия, которые промелькнули на этих страницах.

Стоило мне во время этой поездки заговорить об Эве, как выражения лиц собеседников тотчас менялись. Ее яркий и воинственный дух, ее не знающая компромиссов личность, мягкая и одновременно несгибаемая, они и сегодня, через четыре года после ее смерти, помнятся и ощущаются каждым, кому выпало ее узнать.

Давид Гроссман
Февраль 2019